

Звезда Востока

Ежемесячный литературно-художественный журнал писателей Узбекистана

7—8

ИЮЛЬ —
АВГУСТ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

Сабит
МАДАЛИЕВ
главный
редактор

Шамшад
АБДУЛЛАЕВ

Карим
ЕГЕУБАЕВ

Райхат
САДЫКОВ
ответственный
секретарь

Алексей
УСТИМЕНКО

Лейла
ШАХНАЗАРОВ

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ВОСТОКА

Амир Тимур. «Я знал, ценил и уважал народ...» Мысли, высказывания, изречения. Окончание 26

ПРОЗА

Эркин Агзамов. Закрой на мгновенье глаза. Рассказ 48
Вячеслав Аносов. Го-то-го. Рассказ . 56
Юрий Дашевский. Missent to Jakarta. Рассказ 95

ПОЭЗИЯ

Али Шер. Стихи 85
Сергей Завьялов. Стихи 88
Хайрулло. Стихи 90

ЭССЕ О ПОЭЗИИ

Александр Скидан. Поэзия и мысль 92
Шамшад Абдуллаев. Чтение 118

МИР ЕДИН: ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ

Фазыл Хюсюн Дагларджа. Стихи 40
Чарльз Симич. Стихи 41
Грегори Ор. Стихи 43

ИЗДАЕТСЯ
С 1932 ГОДА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ **ИЗ ОПЫТА МИРОВОЙ ПОЭЗИИ**

Дэвид Гаскойн. *Стихи* 46

Абдуманап
АЛИМБАЕВ

ПОЭЗИЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Малик
АРИПОВ

Чезаре Павезе. *Стихи* 115

Владимир
ВАСИЛЬЕВ

ЛОТОС

Мухсин
ГАНИЕВ

Нирвана. *Буддийское сказание* 3

Рустем
ДЖАНГУЖИН

КАРАВАН ВЕКОВ

Пиримкул
КАДЫРОВ

Владимир. *Путь святого апостола* 121

Сайдулла
КАСЫМОВ

ЭПОХА И ЛИЧНОСТЬ

Михаил
КОСТЕЦКИЙ

Анатолий Сагдуллаев, Шахиста
Улжаева. *Наследство* 138

Нина
ЛЫСАКОВА

Улугбек. *Зидж-и Джадид-и
Гурагани* 143

Борис
МАЦКИН

КОСМОС. ЖИЗНЬ. ЧЕЛОВЕК

Валентина
ПАВЛЕНКО

Маймонид. *Из трактатов* 153

Джура
ПАЙЗИ

ПУБЛИЦИСТИКА

Акмаль
САИДОВ

Валерий Германов. *Контрабанда* 183

Александр
САРКИСОВ

ДЕТЕКТИВ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

Валерий
ТАТЕОСОВ

Джеймс Боллард. *Рассказы* 199

Рахима
ТУЛАЕВА

Пулат
ХАБИБУЛЛАЕВ

Шакасым
ШАИСЛАМОВ

Бабахон
ШАРИПОВ

Сергей
ШАТАЛОВ

Геннадий
ШТЕРН

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА ИМЕНИ ГАФУРА ГУЛЯМА

НИРВАНА

БУДДИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ

Когда Будда Благословенный Учитель Татагата, великий мудрец из рода Сакиа, ходил еще по земле, вести о нем распространились по всей долине священного Ганга, и каждый радостно приветствовал своего друга, говоря:

— Слышал ли ты благие вести? Просвещенный, Совершенный, Святой Учитель Богов и людей появился во плоти и ходит между нами! Я видел его, я нашел убежище в учении его. Пойди и ты также и повидай его во всей его славе. Лицо его прекрасно, как восходящее солнце; он высок и силен, как молодой лев, только что покинувший свою пещеру. И когда он открывает свои уста, чтобы проповедывать, слова — как музыка, и все веруют в него. Короли из Магады, из Казалы и из многих других стран тоже услышали, приняли и признали себя учениками его.

Благословенный Будда учит, что жизнь есть страдание, но он знает также и причины его и выход из страдания и уверяет учеников своих, что нирваны можно достигнуть, идя по благородным путям праведности.

Судата — юноша брамин — за плугом

На полях Кударагары, около небольшого городка Аванти, работал высокий юноша брамин, по имени Судата, распахивая плугом поле Субгути, которого народ звал Мага-Субгути, потому что он был богат и царь назначил его правителем деревни, чтобы он судил народ и при тяжбе решал, кому надо понести наказание.

Судата, идя за плугом, запряженным быками, весело пел. И было чему радоваться, потому что Мага-Субгути, правитель, выбрал его своим зятем и, когда, согласно древнему обычаю, юноша дал своей невесте четыре куска: один содержащий семена, другой с навозом из коровника, третий с пылью от алтаря и четвертый с землей, взятой с кладбища, — невеста не коснулась куска с землей, что было бы дурным знаком, а выбрала кусок, заключающий пыль с алтаря и указывавший таким об-

разом, что ее потомки могут отличаться как выдающиеся священники и служители религии.

Это, по мнению Судаты, была благороднейшая и наиболее желаемая судьба. Богатая жатва и благополучие при разведении скота было великим благословением небес; но что значат все мирские приобретения в сравнении с блаженством религии! И вот эта-то мысль и заставляла Судату петь, и он был счастлив, очень счастлив, как сам Индра, могучий бог, когда он упивался сладким соком из сумы. Но вдруг плуг Судаты уперся в заячью нору, и оттуда выпрыгнул заяц и бросился бежать, беспокойно оглядываясь назад на своих детей. Судата размахнулся палкой, которой он погонял своих быков, бросился за зайцем, желая убить его, и, вероятно, успел бы в этом, если бы не был остановлен голосом человека, который проходил по дороге и закричал ему:

— Эй, друг мой, что дурного сделало тебе это бедное создание?

Судата остановился в своем преследовании и сказал:

— Заяц не сделал ничего дурного, кроме того, что он живет на полях моего хозяина.

Странник был человек с открытым лицом. Его выбритая голова указывала, что он был самана — монах, сделавшийся бездомным для того, чтобы получить спасение. Это был Ануруда*, ученик Благословенного. Увидев благородное и правдивое лицо пахавшего, Ануруда приветствовал его и, как бы пытаясь извинить поведение юноши, сказал:

— Тебе, вероятно, для еды нужно было тело зайца?

— О, нет, — отвечал юноша, — в это время года не годится есть заячье мясо. Я погнался за зайцем только ради забавы. Заяц быстры, и немного найдется людей, которые могли бы их нагнать.

— Дорогой друг мой, — продолжал Ануруда, — представь себя на месте родителей этого зайца. Что было бы тогда, если бы какой-нибудь могучий гигант лишил тебя твоих детей и погнался бы за тобою, чтобы убить тебя, как ты намеревался сделать это с бедным зайцем?

— Я бы дрался с ним! — отвечал быстро Судата. — Я бы дрался с ним, хотя он, разумеется, и мог бы убить меня.

— Ты храбрый малый, — ответил ему самана. — Но представь себе, что гигант убил бы всех любимых тобою: твоего отца и мать, твою жену и детей и оставил бы жить только тебя, смеясь над твоим несчастьем.

Юноша стоял в замешательстве. Никогда он не тревожил ума своего подобными мыслями. Никогда не думал он о том, что есть несчастье в этом мире. Никогда не заботился он о созданиях слабее себя самого и не задумался бы причинить страдание другим только ради своего удовольствия. Он был самолюбив,

* Ануруда был одним из великих учеников Будды. (Здесь и далее примечания к изданию 1901 г.)

старался исполнять все, что говорил, был хорошо одарен от природы, однако же не доставало ему одного.

Ануруда подумал про себя:

«У этого юноши благородная душа, но на него дурно влияли. Если он останется без просвещения, то его ничем не руководимая энергия может сделать ему великий вред. Если бы он понял религию Татагаты, которая славна как по проповеди своей, так и по духу своему, которая истинна в своих основаниях, сияет, как солнце, в своих учениях и любовна в своем применении, то мужество и храбрость этого юноши, которые иначе пропали бы бесплодно, можно было бы обратить к совершению великих дел».

И он обратился к Судате, говоря:

— Ты не знаешь, друг мой, слов Татагаты о том, как надо себя вести по отношению к животным? Благословенный сказал: «Наполняйте мир дружелюбием. Пусть все создания, — и сильные и слабые, — не видят ничего от вас, что могло бы причинить им вред. И все тогда узнают пути мира». Заяц этот, подобно другим созданиям в мире, имеет те же самые чувства, какие есть у тебя. Он, так же как и ты, испытывает боль, старость и смерть. Ты не всегда был здоров и силен. Много лет тому назад ты был слабеньким, беспомощным ребенком и не выжил бы, если бы не было нежных забот твоей любящей матери и защиты твоего дорогого отца. Ты думаешь только о настоящем, забывая как прошлое, так и неведомое тебе еще будущее. Точно так же, как ты не помнишь, когда тебя кормили грудью, тем более ты не помнишь своего состояния, когда был ты во чреве матери, еще более не помнишь ты прежних своих существований, в которых душа твоя постепенно развивалась до твоего теперешнего состояния.

— Почтенный муж, — сказал юноша, — ты хороший учитель, и я хотел бы поучиться у тебя.

Самана продолжал:

— Даже Татагата, наш Господь, прошел через все ступени жизни в правильной последовательности. Стремясь к истине, управляя собою, он так исправил сердце свое, что все поднялся по лестнице существ, пока не сделался Просвещенным, Совершенным и Святым Буддой и не достиг нирваны. Мириады лет тому назад он был червяком, точащим почву на земле, он плавал в океане, как рыба; как птица, жил он на ветвях деревьев и, сообразно своим делам, переходил из одной формы существования в другую. Говорят, что он также был и зайцем, влачившим свое случайное существование на полях.

Что такое нирвана

И сказал Ануруда Судате:

— Жить — значит умереть. Ни одно создание, которое дышит дыханием жизни, не может избежать смерти. Все, что сложно, подвергнется разложению. Ничто не может избежать

разложения. Но добрые дела не умирают. Они пребывают вечно. Это и есть суть Абидармы. Тот, кто осмеливается отдать смерти то, что принадлежит смерти, будет жить и достигнет, наконец, благословенного состояния нирваны.

— Что такое нирвана? — спросил юноша.

Ануруда отвечал словами великого учителя, говоря:

— «Когда огонь вождения исчезнет, тогда можно достигнуть нирваны».

«Когда пламя ненависти и заблуждения потухнет, тогда достигается нирвана».

«Когда волнения ума, происходящие от гордости, тщеславия и прочих грехов, прекратятся, тогда достигается нирвана».

Лицо юноши выдавало его неудовлетворенность новым учением, а буддист продолжал:

— Ни один цепляющийся за заблуждения о своем «я», если не испытает прелести нирваны, не может понять ее. Всякое временное существование проходит. Всякая сложная вещь снова разложится, и ничего не останется из нашего телесного существования. Все существующее приняло свой вид вследствие известных причин, и всякое более высшее существо явилось из более простого путем медленного постепенного развития, вследствие условий, которые определяют его историю.

Составные части существа находятся в постоянном развитии, и здесь нет ничего, на что можно было бы смотреть как на постоянное «я», как на бессмертное существо, как на некоторую суть, которая может оставаться тождественною сама себе.

Знай же, что то, что остается тождественным само себе, то вечно, то, что безусловно неизменно и постоянно, не есть конкретное существо, не есть какое бы то ни было материальное тело, не есть особенное личное существование, это не есть «я» какого бы то ни было рода.

И все-таки это нечто существует. Бессмертна, вечна, неизменна его действительность. Действительность эта самая значительная, самая важная в мире, но действительность эта духовная, а не субстанциональная.

Что же это такое? Бессмертная, неизменная и вечная действительность эта есть Боди, — гармония всех тех добродетелей, которые вовеки веков остаются теми же самими.

Та истина, на которую опирается мудрый, когда он начинает говорить, не есть особенная вещь, это не есть какой-нибудь единственный факт, это не есть конкретная сущность, это не есть «я» какого бы то ни было рода, это не боги и не одушевленные существа, это ничто, если ничто обозначает отсутствие представления о каком-нибудь особенном «я», и тем не менее это ничто не есть несуществование. Если бы бессмертное, вечное, неизменное не существовало бы, то тогда не было бы убежища от мирских страданий. Если бы Боди было бы одно заблуждение, то не могло бы быть просвещения, нельзя было бы достигнуть нирваны, и никакой Будда не мог бы явиться, чтобы указать путь к спасению.

Но Будда явился.

Он понял всю необоснованность веры в неизменность «я»; он открыл, что все несчастье состоит в нашей привязанности к нашему «я»; и он указывает путь к спасению через достижение Боди, ведущего всех тех, кто искренно ищет света, к восьмикратно-му благородному пути праведности, к славной и бессмертной нирване.

— Почтенный муж, — сказал Судата, — благородного Сакиа-Муни, того мудреца, которого ты изучил и которого, кажется, ты провозглашаешь великим учителем, не станут почитать в Кударагаре, потому что все мы хорошие правоверные брамины и нет между нами ни одного последователя Будды. Тем не менее я не должен скрывать от тебя, что есть у нас в деревне один человек, который высоко уважает Сакиа-Муни. Это Мага-Субгути, друг царя Бимбисары, судья и правитель деревни. Если ты будешь в деревне, пойдти к нему, и он примет тебя. Не потому, что он последователь Будды, но он личный его друг, он встречал Готаму на царском дворе и говорит: «Если бы когда-нибудь сам Брама-бог спустился на землю, то он был бы таким, как Готама, ибо наверно Брама не мог бы казаться более величественным, более божественным, чем благородный Сакиа-Муни». Когда ты встретишь Субгути-правителя, приветствуй его от имени моего, от имени Судаты, сына Раджи, и он пригласит тебя присутствовать завтра на свадьбе его дочери.

Ступай же теперь в дом Мага-Субгути, там я встречу тебя, потому что я и есть тот, за кого он выдает свою дочь».

За милостыней

Когда Ануруда вошел в Кударагару, браминскую деревню на склоне горы, он задумался на минуту и подумал про себя: «Что мне делать? Пойти ли мне к Мага-Субгути или пойти мне из дома в дом, согласно правилам саманов?»

И он решил:

«Следует подчиняться правилам. Я не пойду к Мага-Субгути, но пойду из дома в дом».

Выпрямившись и опустив глаза долу, держа свою чашку в левой руке, самана стал перед первым домом, терпеливо ожидая милостыни. И так как никто не явился у двери, его истощенная фигура двинулась дальше. Многие отказывали ему в подаянии, отправляя его вон с сердитыми речами. Даже те, кто подавал ему небольшую горсть рису, бранили его бродягой. Но так как он был уже свободен от личных побуждений, он благословлял дававших, и когда он увидал, что собрал уже достаточно для удовлетворения нужд своего тела, то вернулся назад, чтобы съесть свой скромный обед под зелеными деревьями в лесу. Когда же он переходил площадь деревни, появился важный брамин в дверях сельской думы и, скользнув взглядом по страннику, остановил его и спросил:

— Не ученик ли ты Благословенного Святого Будды?

— Я Ануруда, ученик Благословенного, — сказал самана.

— Хорошо, хорошо, — сказал брамин, — я должен с тобою познакомиться, потому что я встречал Благословенного в Раджагае и он говорил мне с восхищением об Ануруде, как искушившемся в метафизике, как о философе, который постиг учение Татагаты. Если ты действительно Ануруда, тот самый Ануруда, мудрость которого хвалил Благословенный, то я рад тебя приветствовать в доме моем. Сделай же мне честь, о почтенный самана, провести время в доме моем; удостой отобедать в моем помещении. Я был бы очень рад, если бы ты почтил завтра своим присутствием свадьбу моей дочери.

— Позволь мне, начальник Кударагары, — отвечал Ануруда, — съесть мой обед в лесу, а завтра я явлюсь и буду присутствовать на свадьбе твоей дочери.

— Пусть будет так, — сказал Субгути. — Мы рады будем тебе всегда, когда ты вздумаешь прийти.

Свадьба

Дворец Субгути был украшен флагами и гирляндами, и приемный шалаш для невесты был выстроен из бамбука во дворе за жертвенником. Жители Кударагары ждали у дверей, чтобы поглазеть на процессию. Судата, жених, торжественно появился со своими друзьями и почтительно приблизился к отцу невесты.

Почтенный правитель-брамин сердечно принял молодого человека и повел его к семейному алтарю в присутствии своей жены, матери невесты, и единственного сына своего Качеяны. Тут он предложил жениху напиток из меда и представил ему свою дочь в подвенечном платье с драгоценными украшениями на голове и ожерельем из драгоценных камней.

Обращаясь к жениху, он сказал:

— Следует, чтобы отец брамин избирал супругом своей дочери, чистокровной девушки браминки, и юношу брамина, законного сына браминов родителей, и следует, чтобы они женились согласно обрядам браминов. Я выбрал тебя, о Судата, ибо ты достоин невесты. Ты из касты браминов. Твои кости, колени, шея и плечи сильны. У тебя нет лысины, кожа твоя бела, поступь пряма и голос твой чист. Ты обучен Ведам* и хорошего поведения. Родители твои уважаемы в деревне. И я верю, что ты исполнишь все обязанности доброго супруга. Дочь моя должна быть тебе верной женой, как в счастье, так и в несчастье, и да будут дети, которые родятся от вас, и дети детей ваших достойными своих предков. Невеста ждет тебя в своем подвенечном уборе. Прими ее и живите в мире и согласии.

Обряды были выполнены согласно обычаям страны, и в то

* Священные книги индусов-браминов.

время как высший жрец деревни произносил молитвы, отец невесты совершал возлияние водой. Жених взял за руку невесту и ступил на камень твердости. Тогда молодая чета выполнила церемонию, обходя вокруг алтаря по семи ступенькам, указывая этим, что они будут отсель спутниками в жизни и готовы встретить все случайности судьбы, дурные или хорошие, в полном единении.

После этого женатая чета, сопровождаемая лучшим другом жениха — братом невесты, Качеяной, и подругами и гостями, отправилась в дом жениха, будущий дом невесты. Огонь с алтаря, на котором были сожжены приношения, нес в железном сосуде священник, сопровождавший невесту.

И когда свадебная процессия проходила по улице, народ приветствовал невесту и бросал горсти рису через нее, призывая благословение. В доме Судаты жених провел невесту через приемную.

Развели новый огонь, зажегши его от огня с невестиного алтаря, и, когда совершили полагавшееся жертвоприношение, молодая чета три раза обошла священный огонь Агни. Тогда сели на разостланную красную шкуру коровы, и родственник-мальчик расположился в складках невестиного платья, а брат покойного отца жениха, почтенный старик священник, молился над нею:

— Да защитит тебя Агни, который пылает священным огнем в очаге этого дома! Да будут жить дети твои в благополучии и достигнут полноты своей жизни! Да будешь ты благословенна, достойная девушка, как мать здоровых детей, и да узришь счастливые лица твоих мужественных сынов!

Тогда жених дал горсть поджаренного ячменя невесте и сказал: Да благословит Агни союз наших рук и сердец!

Проповедь Ануруды о счастье

По совершении брачной церемонии Субгути пригласил гостей на обед и, увидя между народом мудреца Ануруду, позвал его и усадил около себя. Гости были веселы и наслаждались обедом. А когда вечер становился все холоднее и луна поднялась и разлила свой мягкий свет, все уселись под ветвями широкого банана и стали беседовать о своих богах и о прошлой славе своей страны. Тогда Субгути, судья, обратился к Ануруде:

— Почтенный Ануруда, я испытываю высокое уважение к благословенному мудрецу из рода Сакиа, которого народ называет Татагата святым Буддой. Но мне кажется, что учение его не подходит к нашему народу. Это философия для угнетенных несчастьями жизни. Она доставляет убежище измученным, больным и печальным, но она не должна иметь успеха у счастливых, могущественных, здоровых. То, что может быть целебным бальзамом для раненных в сражении, то противно и кажется ядом для победителя.

И сказал Ануруда:

— Учение Благословенного, действительно, предназначено для тех, кто угнетен несчастиями жизни. Оно представляет убежище для измученных, потому что оно доставляет им здоровье и счастье. Счастливые, могущественные и здоровые не нуждаются в удобствах, не нуждаются в помощи, не нуждаются в лечении. Но кто эти здоровые, счастливые, сильные? Есть ли между вами кто-нибудь, свободный от печали, болезни, старости и смерти? Если так, то его действительно можно назвать победителем и он, действительно, не нуждается в спасении.

Правда, я вижу много счастья вокруг меня. Но хорошо ли обосновано ваше счастье? Будет ли ум ваш ясен и спокоен в минуты скорби и в час смерти? Только тот достиг истинного счастья, кто вступил в бессмертную нирвану, то состояние души, которое подымается выше мелких мирских искушений и освобождает нас от заблуждений о «я». Счастье, покоящееся на мирском благополучии, это опасное положение, ибо все меняется, и только тот воистину счастлив, кто отказался от привязанностей ко всему переменяющемуся. И нет действительного счастья, кроме того, которое основано на религии, на религии Татагаты.

Татагата открывает глаза тем, кто думает, что они счастливы, чтобы они могли видеть опасность жизни и ее ловушки. Когда рыба видит крючок с приманкой, она думает, что она счастлива. но она сразу увидит свое несчастье, как только почувствует острие у себя во рту.

Тот, кто ищет своего личного счастья, всегда должен быть полон боязни. Он может относиться безразлично к несчастью его собратьев, но он не может быть слеп к тому, что тот же самый конец ожидает и всех нас. Счастлив тот, кто воздаст смерти то, что принадлежит смерти. Он победил смерть, и какова бы ни была его судьба, он будет спокоен и будет владеть собою; он отказался от воображаемого «я» и вступил в царство бессмертия. Он достиг нирваны.

Судата посмотрел на невесту и сказал:

— Никогда не приму я учения Готамы, потому что не следует жениху оставлять свою невесту для того, чтобы достигнуть нирваны!

Ануруда, выслушав замечание Судаты, продолжал:

— Мой юный друг боится, что учение Татагаты отвлечет его от невесты, которой он сегодня поклялся в верности. Но не в этом дело. Ты слышал уже рассказ о том, что благословенный покинул свою жену и ребенка и отправился на бездомничество, потому что заблуждение господствует в мире и мир лежит во тьме. И достигнув бессмертной нирваны, он теперь старается только об одном — указать путь другим. И мы, его ученики, которые, подобно ему, оставили мир, посвящаем себя религиозной жизни не ради себя, потому что мы уже ясно поняли весь вред нашего «я», а ради спасения мира. Но не в этом дело.

Освобождение является не в расторжении уз жизни, а в том, чтобы отказаться от своего «я». Пустынник, который отрезал се-

бя от мира, но лелеет в сердце своем хотя бы малейшее желание свое, будет ли это ради счастья в этой жизни или в предстоящей, — не свободен еще. А смиренный отец семейства, если он отказался от всяких желаний, может достигнуть того славного состояния души, плодом которого является нирвана.

Тот, кто стремится к религиозной жизни, должен оставить за собой все мирские размышления и со всей своей энергией стремиться получить просвещение. Но тот, у кого есть обязанности в семье, не должен уклоняться от своей ответственности. Татагата говорит:

Помогать матери и отцу,
Ходить за ребенком и женою,
Следовать мирскому призванию —
Вот великое благословение.
Всякое добро, благочестивая жизнь,
Помощь, оказанная вашему соседу,
Поступки, которых нельзя осудить, —
Вот это величайшее благословение.
Строго следить за душевной своей чистотою.
Узнать четыре благородных истины
И достигнуть нирваны —
Вот это величайшее благословение*.

Спор

Ануруда видел, что Судата загорелся негодованием. Он перестал говорить и глядел испытующе на молодого человека. Судата встал на ноги и сказал:

— Совершенно отказаться от своего «я»! Так это-то и есть то освобождение, которое проповедует Готама? Отец мой называл его еретиком и неверным, и, действительно, он не ошибался, потому что освобождение Готама — это разрушение. Оно отрицает человеческое «я». Готама отрицает авторитет священных писаний. Он не верит в исвару, Господа всего создания, и он утверждает, что нет души. И он так кощунствует, осуждая обряды, как нечестие, высмеивает нашу молитву, как бесполезную, и желал бы разрушить все наши священные учреждения, на которых зиждется наш общественный порядок. Его религия — отрицание всякой религии. Она не божественное, а только человеческое измышление, потому что она говорит, что одного просвещения достаточно для того, чтобы осветить путь жизни.

Ануруда слушал страстное опровержение Судаты и, заметив, как он весь загорелся румянцем, подумал про себя:

«Как прекрасен этот юноша, каким благородным кажется он в своей благочестивой преданности религии своих отцов!»

Тогда он спросил:

: — Что ты разумеешь под «я»?

Судата отвечал:

* Из Сутты Мага Мангала.

— Мое «я» — неизменное, вечное «я», которое управляет моими мыслями. Это, одним словом, и есть то, что мы все разумеем под «я».

— Что же это в самом деле за «я»? — воскликнул Ануруда. — Бесспорно, есть нечто такое во мне и в тебе и во всяком человеке, что мы называем «я». Но то, что мы называем «я», это известный оборот речи, точно так же, как и все прочие слова и представления, которые населяют наш ум. Слово «я», правда, остается на всю нашу жизнь у нас, но оно обозначает перемену. Оно начинается в ребенке вместе с развитием его сознательности и отмечается сначала мальчика, потом юношу, потом человека и, наконец, впавшего в детство старика. Слово может оставаться тем же самым, но суть, которую оно обозначает, меняется. А потому то самое, что само говорит о себе — «я», не вечно, не неизменно, не божественно, — одним словом не то, чем философы называют действительно «я». Это то слово, которое обозначает всю личность говорящего, со всеми его ощущениями, чувствами, мыслями и желаниями.

Судата отвечал:

— Готама иногда отрицает существование души, противореча самому себе, так как говорит и о переселении души и о бессмертии.

— Не будем препираться из-за слов, друг Судата, — сказал самана, — а лучше пойдем правильно учение. Татагата смотрит на то «я», о котором ты говоришь, как на заблуждение, ошибку, мечту; привязанность к этому «я» производит себялюбие, себялюбие же стремится к счастью или здесь на земле или за пределами ее на небесах. Но в то время, как это воображаемое «я» является ошибкою твоей философии, существует действительное «я», действительная личность, действительная душа. Нет ни одной личности, кто бы мог вполне владеть своим характером, мыслями и поступками; но характер, мысли и поступки сами по себе составляют личность. Нет в тебе, Судата, этого «я», которое думает твои мысли и которое образует твой характер, но сами твои мысли и сам твой характер составляют то, что ты есть. Твой характер, твои мысли, твои стремления — вот твоя душа. Ты не имеешь идей, но ты сам представляешь идеи.

— Но кто же тогда хозяин этих идей во мне? — спросил Судата. — Хозяин моих идей — это и есть мое «я».

Ануруда продолжал:

— Идея «я» не есть хозяин, который обладает твоим телом и умом и направляет все движения и желания твоей души, но те твои желания, которые являются сильнейшими, — они — хозяин, они управляют тобою. Если вырастут в твоём сердце дурные страсти, ты, как корабль, который предоставлен милосердию ветров и течений на море; но если душою твоею обладает стремление к просвещению, оно повлечет тебя в небеса Нирваны, где все иллюзии прекращаются и где сердце твое будет спокойным, как тихое, гладкое озеро. Поступки совершенны, и

совершившееся отошло прочь, но то, что произошло от твоих поступков, остается; точно так же, как человек, который пишет письмо, прекращает писать, но написанное остается, по совершении нами нашего земного пути, мы должны мудро предначертать наше будущее существование. Надо откладывать в сокровищницу милосердия, чистоты и праведных мыслей. Тот, кто живет благородными мыслями и хорошими поступками, будет жить всегда, хотя бы тело его могло умереть. Он возродится к высшему существованию и, наконец, достигнет благовозвешенной Нирваны. Нет переселения нашего «я», но есть возрождение известной формы души, которое происходит подобно совершенным поступкам.

Вера Судаты в учение о своем «я», однакоже, не была поколеблена. Нет, больше, чем когда бы то ни было, он был уверен в его истинности, ибо вся душа его стремилась к нему, и он воскликнул:

— Что значат все мои поступки без моего «я», без того, что ими двигает? Какова может быть радость, если ею не радуюсь я?

Задумчивое лицо Ануруды стало серьезнее, чем когда бы то ни было.

— Оставь свою привязанность к наслаждению и свои мысли о своем «я», а живи своими поступками, ибо они и есть действительность жизни. Все существа таковы, каковыми они являются по поступкам в своих прежних существованиях. Они умирают, но возрождаются подобно своим делам. Поступки наши медленным путем увеличивают строение души нашей, и из этого возникает наша личность. И то, что ты называешь личностью, то, что наслаждается, твое «я», это только живущее воспоминание о прошлых делах. Совершенные в прошлых существованиях дела запечатлеваются на каждом создании в характере его настоящего существования. Таким образом прошлое рождает настоящее и настоящее есть чрево для будущего. Это закон Кармы, закон поступков, закон причины и действия.

Слова саманы были проникнуты глубокою значительностью. Там не менее слушатель его остался не убежденным, и Качаяна, сын Мага-Субгути, пробормотал про себя:

— Не может быть учение Готама истинным. Печальна была бы эта истина, если бы она могла быть когда-нибудь истинной. Нет, никогда не расстанусь я с самой милой для меня религией моего отца.

Самана отвечал:

— Выбирай не самое милое, но самое истинное, ибо истина и есть наилучшее.

Ката-Упанишад

Судата был слишком счастлив, чтобы его могло задеть учение еретического учителя. Он, пожалуй, совершенно позабыл бы о своем споре с Анурудой, если бы об этом не напоминали

ему время от времени его шурин Качеяна и его тесть, которые продолжали рассуждать о религиозных новшествах Татагаты. Они допускали, что кастовые различия были тяжелы для низших каст, но говорили, что это не может быть уничтожено без вреда для общества и что не могло быть сомнения в том, что разделение на касты — божественное установление. Однако и по их мнению представлялось правильным распространять любовь и жалость на все чувствующие существа, которые страдают, не исключая даже самые низшие создания. Конечно, не должно вызывать гнев богов пренебрежением богослужения, но истинные ли это были боги, которые довольствовались кровавыми жертвоприношениями на своих алтарях?

Таковы были вопросы, которые волновали умы Субгути и Качеяны. И когда они начали рассуждать о них, то стали сомневаться, но все-таки они не переставали быть правоверными браминами.

Однажды Субгути, правитель Кударагары, пришел к своему сыну с веселым лицом и сказал:

— Мальчик мой Качеяна, мне кажется, что я нашел решение задачи. Это явилось у меня тогда, когда я читал Яджур Веды по поводу установления огненных жертвоприношений. Теперь мне это совершенно ясно, и я расскажу тебе об этом. Собери побольше листьев с большого пальмового дерева в нашем саду, набели их, обрежь концы и приготовь для писания. Мне очень хочется придать окончательную форму моим мыслям, пока я не забыл их.

И сказал Качеяна пытливо:

— Скажи мне вкратце, в чем решение, которое ты нашел?

И брамин ответил:

— Слушай, я расскажу тебе. Смерть — это великий учитель глубочайших задач жизни. Тот, кто хочет узнать бессмертное, должен войти в чертоги смерти и узнать от смерти тайну жизни. Нет ни одного ребенка, рожденного в этом мире, который бы не был предназначен как приношение смерти. Но смерть не есть Брама. Она не есть руководитель и Господь. Она предзнаменует разложение, но не может уничтожить души, и челонок, который боится ее, не обладает тремя дарами. Смерть допускает для тех, кто вошел в ее чертоги, возвращение и возрождение. Она допускает дальше, что поступки людей не погибают, и, наконец, она открывает мужественному исследователю тайну жизни.

И сказал Качеяна:

— Глубоки эти мысли, отец; но главная вещь, чему же учит смерть?

Субгути собрался с мыслями и после некоторого молчания сказал:

— Учение Благословенного глубоко поразило мой ум, но я еще не достаточно убежден, чтобы признать основные положения нашей священной религии ни к чему не годными. Неужели великая огненная жертва только пустой обычай, ко-

торый не дает никакого плода? Если бы это было так, то наши мудрецы, действительно, только слепые вожатые слепых. Жертвоприношения наши бесплодны и служат только для того, кто не победил желания своего сердца и не развязал уз, связывающих его со всем происходящим.

И после некоторого молчания Субгути продолжал:

— И представление о неизменном «я» не может быть больше чем-то воображаемым. Я понимаю теперь, что это «я» не есть нечто созданное, оно есть единственный руководитель во всем, и оно, однако, не может быть видимо глазом, не может быть постигнуто умом или сказано речью; это «я» должно быть представляемо духом. Это «я» коротко выражается в восклицании «ом» и есть абсолютное существование, которое не рождается и не умирает.

— Тогда твое решение, отец, — сказал Качеяна, — есть защита старого браманизма?

— Да, это так, — сказал Субгути, — но отношение мое к браманизму значительно изменилось вследствие рассуждений нашего друга Ануруды. Я допускаю, что одно дело — то, что воистину хорошо, и другое — то, что дорого нашему сердцу; и хорошо привязаться к хорошему и оставить то, что дорого нашему сердцу, ради лучшего. Я не могу отрицать ту истину, которую Татагата запечатлевает в умах своих последователей, что все сложное разложится, но я чувствую в самой глубине своего сердца, что есть нечто, чего смерть не может разрушить, и это нечто есть то, что наши мудрецы называют «я». Я стремлюсь узнать, что это такое, ибо только тот, кто узнает это, найдет покой душе своей. Пусть Ануруда объяснит мне загадку этого «я», но он не должен говорить, что нет ничего, что я мог бы назвать моим собственным, что жизнь пустота и что не существует вечность.

Когда настало дождливое время, можно было видеть Субгути пишущим на своем балконе, и когда солнце прорвалось сквозь тучи и явилось во всей своей прежней красоте голубое небо, он окончил свое сочинение, которое назвал Ката-Упанишад, — рассуждение о великом вопросе «почему?», который является всем нам, всем, поглощенным решением вопроса о жизни.

В эти-то дни наступления хорошей погоды ученики Благоловенного Будды имели обыкновение отправляться в путешествие по стране, проповедуя славное учение спасения. Ануруда снова проходил через деревню Аванти в то время, как Субгути сидел у своего дома в тени деревьев, читая и размышляя о написанном им. Оба обменялись приветствиями, и когда Ануруда увидел рукопись, то они тотчас же начали рассуждать о великом вопросе жизни после смерти.

Субгути прочел Ануруде Ката-Упанишад. Почтенный монах был очень доволен ее глубокомысленностью и красотой изложения, но покачал головой и сказал:

— Действительно, существует бессмертное, но бессмертное

не есть «я». Бессмертным не может быть существо. Оно не есть та суть, то «я», которое является в нашем представлении сознания. Все существующее, все существа, все сущи, все оттенки существования сложны, а сложное подвергается разложению. Бессмертное не есть то, что ты имеешь, меньше меньшего и больше большего. Оно не мало и не велико. Оно не субстанционально и без всяких признаков телесности. Бессмертное состоит в вечных добродетелях, посредством которых оправдывается существование и познание которых образует просвещение. Высшие добродетели суть четыре благородных истины: о страдании, о происхождении страдания, о избежании страдания и о восьмеричном пути праведности, который ведет к избавлению от страдания.

И сказал Субгути:

— Я допускаю, что вечное не может быть материальной вещью; что вечное не может быть сложным; оно должно быть нематериально; оно должно быть духовно. «Я» не есть тело, ни чувство, ни ум. Это то, чем человек познает предметы как во сне, так и во время бодрствования. Сознание «я есмь» есть великое вездесущее «я», оно бестелесно в теле, как Агни-огонь, находящийся скрытым в двух палках, из которых его можно получить.

Ануруда с глубоким вниманием слушал рассуждения Субгути и быстро отвечал:

— Агни-огонь не находится в скрытом состоянии между двумя палками. Две палки, из которых получается огонь, деревянные, ничего больше из себя не представляют, как только дерево; и ни в одной палке нет скрытого огня. Огонь образуется через трение, производимое нашими руками. Таким же точно путем сознательность является производением условий и исчезает вместе с тем, как перестанут действовать условия. Когда дерево сгорело, куда уходит огонь? И когда условия сознательности перестали действовать, где будет оставаться сознательность? Мы привыкли говорить: «ветер дует», как будто бы существовал ветер, который совершал действие дуновения. Но нет ни того ни другого. Нет, во-первых, ветра, а, во-вторых, действия дуновения; существует только одно, что представляет из себя движение воздуха, называемое ветром, или, если можно так сказать, дуновение ветра. Таким же точно образом нет личности, которая помнит поступки, но воспоминания о поступках сами по себе суть личность.

— Когда человек умер,— продолжал Субгути,— некоторые говорят, что он существует, а другие, что его нет. Я так понимаю, что Благословенный учит, что его нет, что в свою очередь обозначает, если это точно понимать, что его и потом не будет.

— Нет, друг, — отвечал резко Ануруда, — нет, друг, твое решение задачи опирается на ложные основы. Если твое «я» не существует теперь, как же тогда оно может продолжать свое существование после того, как ты ушел? Тем не менее то, что

ты есть теперь, будет продолжать существовать и после окончания твоего телесного существования. Правда, ты прав, когда сравниваешь человека в твоей Ката-Упанишад с тем древним деревом, корни которого растут вверх, а ветви растут вниз. И как дерево появляется со всеми признаками этого рода, так и человек возрождается и его особенная Карма возрождается в новых существах. Нет «я» в фиговом дереве, которое переселяется из родительского ствола в новые отпрыски, но есть первообраз, который сохраняется в дальнейшем росте и развитии новых деревьев.

— Есть одно вечное мыслящее существо, — сказал Субгути, — мыслящее не вечные мысли, и это вечное мыслящее существо и есть «я».

— А не было бы твое утверждение правильнее, — прервал его Ануруда, — если бы его иначе повернуть: существуют вечные мысли, которые мыслятся не вечными мыслителями? Другими словами, то, что мы называем мыслитель, есть только произведение мысли; и произведение истинных мыслей — это и есть достижение вечного. Истина бессмертна, истина — нирвана.

Правитель-брамин чувствовал, что самые священные убеждения его опущены в этом утверждении, и он спрашивал не без некоторого дрожания в своем голосе:

— Разве нет во мне ничего неизменного, ничего, что вечно и бессмертно?

— Есть ли в тебе что-нибудь бессмертное или нет, — был ответ Ануруды, — исключительно зависит от тебя самого. Если ты состоишь из мыслей чистых и святых, — ты чист и свят; если ты состоишь из мыслей грешных, — ты грешен; а если ты состоишь из бессмертной истины, — ты бессмертен. Жизнь достигается только в бессмертии, и работа истины совершается в нирване.

Субгути покачал головою.

— Я хочу обладать истиной, но не хочу потерять мою тождественность с самим собою. Чем я стану после разложения моего тела? Я дрожу при мысли утратить мое «я». Неужели нет ничего, что я мог бы назвать своим собственным?

— Позволь мне ответить, — сказал Ануруда, — словами Благословенного, который сказал:

Ни зерно, ни богатства, ни склады золота,
Ни жена, ни дочери, ни сыновья,
Никто, кто ест свой хлеб,
Не может последовать за теми, кто покидает эту жизнь,
Потому что все должно оставаться позади.
Всякий поступок, который совершает человек, —
Телом ли, голосом ли, умом ли, —
Все это может называться его собственным,
Все это он возьмет с собой, когда пойдет отсюда,
Все это есть то, что следует за ним,
И все это, как тень, никогда от него не отстанет.

Пусть тогда все совершают благородные поступки,
Они сокровищница будущего богатства,
Ибо заслуга, приобретенная этой внутренней жизнью,
Вызывает благословение в будущей*.

Передав слова Благословенного, Ануруда продолжал:

— Поступки твои — твои собственные и будут оставаться твоими навсегда. Мысли твои, слова твои, действия твои не уйдут; когда они пройдут, они будут оставаться с тобою. Они живые камни, из которых выстроена душа твоя. И нет никакой силы ни на небесах, ни на земле, ни в аду, посредством которой ты мог бы отделаться от них. История твоей жизни это есть твое «я», твое истинное «я», и так как история твоей жизни продолжается и после смерти, то твое тождественное с самим собою «я» останется. И когда мы отойдем отсюда, из этой жизни, мы будем продолжать жизнь согласно нашим поступкам.

Эпидемия

У молодой четы родилось трое детей, и все три мальчика много обещали впереди. Мечты Судаты сбывались ярче, чем он мог на это надеяться. Но времена меняются, и несчастье застигает человека иногда в то время, когда он меньше всего этого ожидает. Появилась засуха, пересохла все колодцы, в стране распространился голод и заразительная болезнь. Народ молился богам, народ постился, каялся в своих грехах, священники приносили жертвоприношения, пели молебны, но дождь не являлся. Еще приносились жертвы, проливалась кровь убитых животных, а засуха продолжалась; боги оставались глухи к мольбам своих священников. Голод все увеличивался, и болезнь свирепствовала все с большей и большей силой. Правитель Субгути сделал все, чтобы облегчить тяжелую участь своего бедного народа. Он был богатый человек, но всего его богатства было недостаточно, чтобы накормить бедных.

Судата делал все, что мог, для того чтобы лечить больных. Выучившись от своего отца, деревенского священника, обязанностью которого было собирать священные травы для жертвенников и узнавать особенности разных растений, он приготавливал целебное питье, чтобы уменьшить страдания больных, и в его трудах ему помогали Качеяна и Субгути.

Когда, наконец, эпидемия стала уменьшаться, сам правитель Субгути сделался больным. Сначала казалось, что просто он устал от бессонницы и печали, но скоро сделалось ясным, что и он был заражен тою же болезнью, и положение его стало опасным. Родственники собрались у его изголовья и были безутешны. Он был так трогателен в своей любви к каждому, что всякий думал, что не может жить без него; но сам он оставался ясным, в полном самообладании. Благословив своих сыновей, свою дочь и внуков, он утешал их, говоря:

* Из Самиутты-Накаи.

— Перестаньте печалиться; нет никакой печали от потери этого тела; оно уже изношено старостью и болезнью, как старое платье. Если вы полюбите всем вашим любящим сердцем тот пример, который я даю вам, смерть никогда не в состоянии будет разделить нас.

Когда пришел вечер, Субгути отослал свою дочь и внуков, оставив при себе только Качеяну и Судату, и, когда страдания и боли на некоторое время прекратились, он сказал:

— Страдания, которые я испытал, открыли мне глаза, и я понял четыре благородных истины, провозглашенные Татагатай. Я чувствую, что моя жизнь угасает, но это нисколько не волнует меня, ибо смерть потеряла свой ужас для меня. Где бы я ни возродился, я уверен, что это будет высшая ступень, и что я ступеню ближе буду к святой цели — нирване.

— Правда, отец, — согласился с ним Судата: — после долгой жизни, проведенной в делании добра, ты заслужил высокой награды, которая будет не что иное, как благословение браминских небес.

Собрав еще раз все свои силы, Субгути отвечал:

— Не говори мне о наградах тогда, когда существует обязанность, которая должна быть исполнена. Небеса браминов созданы для тех, которые привязаны к мыслям о себе. Я уверен, что в предстоящем возрождении будет иметь покой мое тело, но не моя душа, не моя любовь к человечеству, не мое сострадание к тем, которые страдают, не мой ищущий истины ум. Пока есть страдания в мире, до тех пор я не приду в состояние покоя; никогда я не пожелаю подняться в небеса блаженства. Я хочу возродиться в глубочайших пропастях ада. Там несчастье самое большое и там больше всего нуждаются в спасении. Вот это-то и есть самое лучшее место, чтобы просветить находящихся в темноте, дать выход тем, которые затерялись, и указать путь тем, которые заблудились.

С этими словами Субгути опрокинулся назад, совершенно истощенный. Он пробормотал разбитым голосом отходную молитву буддиста, произнося:

Я нахожу убежище мое в Будде,
Я нахожу убежище мое в Дарме,
Я нахожу убежище мое в Санге.

Он изложил таким образом ту веру, которая теперь была в нем, и его глаза, сверкавшие до сих пор вдохновением, потухли, и он мирно опочил.

Святая тишина воцарилась в комнате.

И случилось так, что в тот самый вечер Ануруда проходил через Кударагару. И когда он пришел во дворец Субгути, то не нашел уже своего друга-правителя среди живых. Он поздоровался с Качеяной и Судатой и сел с ними в молчании.

Солнце зашло, и Качеяна зажег свечу, но никто не сказал ни слова.

И когда ночь наступила, Ануруда запел торжественным голосом:

Как преходящи сложные вещи!
Судьба их — родиться и умереть.
Являясь, они исчезают, они делают свою работу
И потом перестают и идут на покой.
Как реки, когда они полны, должны течь,
Чтобы достичь в свое время далекой реки,
Так добрые дела, которые мы теперь совершаем,
Разумеется, благословят предстоящую жизнь.
Пахарь вспахал и засеял,
Устал от работы и погрузился в отдых.
Он отдыхает, а семена его растут
И дают богатый урожай золотого зерна*.

Переписка рукописи

Качеяна присоединился к Ануруде. Когда он пошел к Раджагаю и увидел Благословенного и услышал, как он объясняет свое учение, то он сделался одним из саманов и стал известен между ними вследствие своей мудрости. Когда он вернулся домой, то удалился в лес около Кударагары в место, называемое Обрыв, и народ его деревни называл его Мага-Качеяна, так как хотя они, как брамины, и смотрели на него как на еретика, однакоже они уважали его и говорили:

— Он один из величайших учеников Благословенного, хорошо начитанный в писаниях и достигший высшей степени учености и святости.

Судата потерял веру в религию отцов своих, не приняв, однако, новой веры буддистов. Однажды, гуляя со своим шурином по деревне, он сказал:

— Разве не грустно потерять отца или кого-нибудь, кого мы горячо любим? Воистину нет такого учения, которое могло бы устранить боль и печали и принести неподдельное утешение.

— Дорогой мой брат, — отвечал Качеяна, — пусть боль от твоего страдания идет своим путем, и не пытайся освободиться от естественного закона, которому подчинены одинаково все смертные.

— Но подумай, — возразил Судата, — подумай об ужасной судьбе мертвого! Не ужас ли эта жизнь, когда все твоё существование сметено, как будто его никогда не было?

— В этом ты заблуждаешься, — сказал Качеяна. — Смерть — это разложение, но человеческое существование не сметено смертью, как будто бы его никогда не было: всякий поступок его продолжается во всей его неприкосновенной тождественности.

Печальная улыбка появилась на лице Судаты, когда он преувал своего шурина:

* Буддийская песня, которую до сих пор поют на Цейлоне и в Сиаме.

— Это не что иное, как игра слов. Если мертвый продолжает жить, то скажи мне, где теперь наш отец?

Качеяна отвечал:

— Разве он не с нами здесь? — И после некоторого молчания он продолжал: — С людьми то же самое, что с книгами. Ты можешь написать подлую вещь или изложить на листах хорошие благородные мысли. Книга состоит не из листов, но из мыслей. Листы — это материал, на котором пишут. И существуют тысячи листьев на пальмах, которые никогда не будут обращены в книги. Когда наш отец, почтенный Субгути, размышлял о смерти, он составил Ката-Упанишад, которая является для меня наиболее ценной книгой, о какой я когда-либо слышал или видел. Он написал ее на листьях большой пальмы в нашем саду. Когда листья побелели и были приготовлены для писания, наш почтенный отец начертал слова Упанишад на листьях и, когда умер, оставил их мне, как мое самое драгоценное наследство, ибо оно не сокровище мирских богов, а памятник размышлений, памятник, который содержит его бессмертную душу. Прежде я сохранял их потому, что я ценил их как образчик его почерка, а теперь я очень ценю и самые его мысли. Во время великой засухи листья были изъедены червями и теперь разлетелись в куски. Но я помню наизусть всю Упанишад, но думая о том, что если я умру, то мысли, изложенные в книге, будут утеряны, я стал переписывать их строку за строкой, с возможной тщательностью вспоминая каждый листок. Я передам новую копию другим переписчикам, и Ката-Упанишад будет известной в других землях и другим поколениям. Старая копия сделалась невозможной для чтения и частью обратилась в пыль, но мысли не умрут, ибо они заключены в новую копию. Таким же точно путем сохраняется и человеческая душа. Характер настоящего поколения отразится на грядущем поколении посредством наших поступков, наших слов, наших чувств, и когда мы умираем и уходим, то продолжают существовать наши поступки. Все, что сложно, разложится снова, и пальмовые листья разложатся также, будет жить только Ката-Упанишад.

— Гораздо лучше было бы, — сказал Судата, — если бы могло сохраниться и то и другое, и копия книги и мысли, заключающиеся в ней.

— Я подумал бы прежде, чем согласиться с твоей мыслью, — сказал Качеяна. — Помнишь ли ты прекрасные слова Ануруды, которые, как эхо, отразились в этой самой Упанишад? Он сказал: «Не выбирай самого дорогого, а выбирай самое истинное, ибо более истинное есть и лучшее. В то время я выбрал самое дорогое, но жизнь дала мне хороший урок; теперь я выбираю более истинное, и более истинное делается для меня и более дорогим.

— Так ли это? — спросил Судата, не будучи в состоянии скрыть свое удивление.

— Да, это так, — был ответ Качеяны. — Смерть не только необходима в жизни, как неизбежное последствие рождения, но

это самое спасительное явление. Нет никакой причины говорить об ужасах смерти, как нет причины говорить об ужасах сна. На самом деле есть прелесть в смерти, и это есть та прелесть смерти, которая ведет к просвещению жизни. Подумай только о том, чем была бы жизнь без смерти? Бессмысленной погоней за удовольствиями и ничего более. Смерть делает время драгоценным. Смерть заставляет нас думать и делает для нас религию необходимой. Смерть одна заставляет нас придавать ценность жизни. Если бы не было смерти, то не было бы и героев, не было бы и мудрецов, не было бы Будд. И потому смерть не только есть учитель, но она есть и благодетель.

Юный Субгути

Мальчики Судаты подрастали и стали заниматься землей, которую они унаследовали от дедушки. Помощь их дала возможность Судате больше пользоваться досугом, и он стал чаще удаляться на Обрыв, в уединенные леса, где продолжал жить Качеяна и просвещал себя занятиями и размышлениями. Хотя Судате было около сорока лет, он уже поседел, и его легко было счесть за старого человека, сохранившего для своего возраста необычайную силу и здоровье. Народ в деревне звал его при всякой болезни в семье, и он охотно помогал им при всех затруднениях и советом и личной помощью.

В те дни случилось, что Бимбисара-царь умер, и на престол вступил сын его Аджатасату. Аджатасату разослал послов во все города и деревни своего царства и во все соседние страны, которые были ему подчинены, чтобы убедиться в верности своего народа. И посланные царя, окруженные свитой советников и сопровождаемые военным отрядом, прибыли также в Кударагару. Когда они вошли в Кударагару, на вопрос о правителе деревни им сказали, что после смерти Мага-Субгути народ жил без правителя. Тогда посланные царя собрали народ и просили его избрать себе нового правителя, которого царь Аджатасату утвердил бы на место Мага-Субгути. Видя, что Качеяна покинул мир для того, чтобы предаться религиозной жизни и что Судата казался слишком старым, обратились к старшему сыну Судаты, которого называли Субгути, по имени дедушки, и избрали его правителем, и когда народ увидел его во всей его юной прелести, все закричали:

— Пусть будет молодой Субгути нашим правителем, пусть царь назначит его наследовать Мага-Субгути!

Некоторые старики в собрании были очень довольны новым правителем и говорили:

— Если бы Мага-Субгути мог появиться среди нас во всей силе своей юности, то он нисколько не отличался бы от этого благородного юноши. Мага-Субгути был совершенно такой же, как он, когда царь Бимбисара назначил его на должность.

Благословенный

Однажды странник проходил через Кударагару и, встретив Судату на улице, спросил его про дорогу в Раджагаю. Старик брамин указал по направлению к столице страны и сказал:

— Я и сам с охотой пошел бы в Раджагаю, потому что там живет Благословенный Святой Будда, учитель богов и людей. Он тот учитель, учение которого я исповедую.

— Почему же тебе не присоединиться ко мне? — сказал странник. — Я Чандра-игрок. Услышав о мудрости Благословенного Будды, я задумал идти в Раджагаю и пожать плоды познания, научившись от него.

Судата пошел проститься со своими друзьями, присоединился к Чандре-игроку на его пути в Раджагаю и, вспоминая о желании, высказанном когда-то его тестем, захватил с собою и пальмовый манускрипт Ката Упанишад.

Когда они шли вместе по дороге, Чандра и говорит:

— Глубока мудрость Совершенного. Он учит, что существование есть страдание, и моя жизнь подтверждает это учение. Безотрадность — вот истинное понятие о жизни. Мир подобен лотерее, в которой несколько выигрышных билетов на бесчисленное множество пустых. Мы сразу можем видеть истину этого, если представим, что богатый человек закупит все возможные билеты для того, чтобы получить выигрышные. Он, наверно, разорится. И жизнь везде есть банкротство. Она похожа на такое предприятие, которое не окупает своих расходов.

— Друг мой, — сказал брамин, — я вижу, что ты человек опытный. Прав ли я, если допущу, что некогда тебе очень легко жилось, пока ты не встретил другого игрока, более ловкого, который выиграл у тебя все, что ты имел?

— Правда, господин, — сказал Чандра: — именно так случилось со мною. И теперь я иду к Благословенному, который узнал великую истину, что жизнь подобна проигранной игре, в которой награда — это только приманка для легкомысленного. Когда я встречал человека, незнакомого с игрой, я всегда старался проиграть ему сначала, чтобы он стал играть рискованнее. Я тоже с успехом играл в игру моей жизни, но теперь я знаю, что те, кто выиграли сначала, потеряют потом больше, чем те, которые испугаются при проигрыше в самом начале. Жизнь употребляет те же самые обманы, как и мы. Я попал в ту самую западню, которую я думал, что сам изобрел. — И, обратившись к брамину, согбенному старостью и заботой, он продолжал: — Свидетельство твоей бороды и морщин на лице указывает, что ты также нашел сладость жизни горькой. Я думаю, что ты не менее безотрадно смотришь на жизнь.

Луч солнца заиграл в глазах брамина, и осанка его сделалась прямой и величественной.

— Нет, друг мой, — отвечал он, — я не испытал того, что ты. Я испытал сладости жизни, когда я был молод много, много лет

тому назад. Я бегал по полям с моими сверстниками, я любил и был любим, но я любил чистосердечно, и не было горечи в той сладости, которую я вкушал. Пробуждение мое началось тогда, когда я увидел страдание жизни. Мир полон страдания, и конец жизни есть смерть. И с тех пор я стал печален. Но когда я подумаю о Будде, который пришел в мир и учит нас, как избежать страдания, я радуюсь: я знаю теперь, что жизнь сладка для того, чья душа нашла покой в нирване.

И когда оба пришли к Вигаре в Раджагае, они приблизились к Благословенному Будде со сложенными руками, говоря:

— Прими нас, О Господь, в число твоих учеников! Позволь нам быть слушателями твоего учения, позволь нам найти убежище в Будде, в истине, в общении с последователями Будды.

И святой, который читает сокровенные мысли в умах людей, обратился к Чандре-игроку, спрашивая его:

— Знаешь ли ты, о Чандра, учение Благословенного?

Чандра сказал:

— Да! Благословенный учит, что жизнь есть страдание.

И Господь отвечал:

— Действительно, жизнь есть страдание, но Татагата пришел в мир, чтобы указать путь к спасению. Цель его — научить людей, как избавиться от страдания. Если ты стремишься освободиться от зла, выступай на этот путь с решимостью, отрекись от самолюбия, займись работой над собою и с прилежанием трудись над своим спасением.

— Я пришел к Благословенному, чтобы найти мир, — сказал игрок, — а не для того, чтобы начать работать.

Но Благословенный сказал:

— Только неустанною работою можно найти мир. Смерть можно победить только отказавшись от себя, и только ревностными усилиями достигается вечное блаженство. Ты смотришь на мир, как на зло, потому что тот, кто обманывает, будет когда-нибудь разорен вследствие своих же обманов. Счастье, которого ты ищешь, это удовольствие греха без злых последствий греха. Люди, которые не шли по путям праведности и которые не приобрели сокровища в своей юности, лежат и вздыхают за свое прошлое. Действительно, в мире есть зло; но зло, на которое ты жалуешься, есть только справедливый закон Кармы. Что человек посеял, то он и пожнет.

Тогда Благословенный обратился к брамину и сказал ему:

— Истинно, истинно, брамин, ты понимаешь учение Татагаты лучше, чем твой товарищ по путешествию. Тот, у кого печаль других делается его собственною печалью, быстро понимает призрачность своего «я». Он подобен цветку лотоса, который растет из воды, но вода не смачивает его лепестков. Мирские удовольствия не обольщают его, и у него не будет причины раскаиваться. Ты ходил по благородным путям праведности, и ты будешь наслаждаться чистотою твоих трудов. Если ты желаешь исцелить болезнь сердца так же, как ты понимаешь, как можно исцелить болезнь тела, то пусть люди уви-

дят плоды, которые вырастут из семян самоотверженности. И как только они узнают блаженство истинного направления ума, они скоро вступят на путь и достигнут того состояния готовности и покоя, в котором они будут находиться выше удовольствия и страдания, выше мелких влечений, мирских желаний, выше греха и искушения. Ступай же теперь назад к себе домой и возвести твоим друзьям, которые еще не вкусили страданий, что тот, чей ум освобождается от грешных желаний, преодолет несчастья жизни. Распространи везде благость словами и делами. Будь готов прийти другим на помощь, уча их в духе всемирной любви; живи счастливо между большими; между алчными оставляй свободным от алчности; между людьми ненавидящими живи свободным от ненависти, — и те, кто будут свидетелями твоей святой жизни, последуют за тобою по пути освобождения.

Глаза Чандры-игрока открылись, и мрачный безотрадный взгляд его на жизнь растаял на солнце учения Будды.

— О, Господи, — сказал он, — я хочу идти к той высшей жизни, к которой ведет благородный путь добродетели. Не скажешь ли ты брамину, товарищу моему по путешествию, чтобы он взял меня к себе домой, где я охотно стал бы его слугою, чтобы познать от него то, чем можно получить блаженство.

Благословенный отвечал:

— Пусть Судата-брамин поступит так, как он найдет нужным.

— Мудрый Ануруда учил меня пути Дармы, который говорит: «Пусть злые дела будут покрыты добрыми; тот, кто был безрассуден и делается разумным, засветит миру, подобно луне, когда она появится из облаков».

Благословенный сказал:

— Подобно тому, как Великий океан имеет только один вкус — вкус соли, также и учение Татагаты имеет только одно значение — значение спасения. И это будет знаком, что вы достигли предела спасения, которое есть славная Нирвана: не будет ничего, что было бы в состоянии нарушить покой вашей души, которая, несмотря на все мирские беспокойства, будет спокойна, как гладкое озеро. Ваше сострадание будет простирается на всякое существо, которое страдает, и вы не устанете в своей доброй работе. Всякая привязанность к своему «я» в вас умерла; она сделалась подобна сухой ветке, которая не приносит больше плодов. Но душа ваша распространяется и поднимается к более благородной жизни; ваше сердце бьется с особенной силой, ибо оно воодушевлено мыслями о Будде; ваш ум яснее, ибо он понимает теперь и длину, и ширину, и глубину существования, познав единственную цель, к которой должна стремиться жизнь для того, чтобы найти мир.

«Я ЗНАЛ, ЦЕНИЛ И УВАЖАЛ НАРОД...»

МЫСЛИ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ИЗРЕЧЕНИЯ

Поднявшемуся на вершину
кажется близкою даль.

* * *

Жизнь — это лестница в сорок пролетов:
сорок ступеней считаешь наверх,
сорок — считаешь вниз.

* * *

Коль чуть-чуть заколебался —
проиграл наполовину.

* * *

Будет унижен конем
тот, кто унизит коня.

* * *

С крупа летящего скакуна
кровь, а не пот струится.

* * *

В дом, в который вошло вино,
вторгается нищета.

Окончание. Начало в № 5-6.

* * *

Будешь приторно-сладким —
мухи облепят тебя.

* * *

Не сберег добро —
стал соучастником вора.

* * *

Что прошло — то прошло;
думай о завтрашнем,
а о будущем говори.

* * *

К животному, что кусается,—
не подходи спереди,
а к тому, что лягается,—
сзади.

* * *

Лучше прислуживать хабрецам,
чем у трусливых ходить в есаулах.

* * *

Посмешищем станет у зайца
веревками связанный лев.

* * *

Один глупец в колодец сбросит камень —
сто мудрецов достать его не смогут.

* * *

Лучше храбрая дочь,
чем семеро сыновей трусливых.

* * *

Из собаки бы вышел отличный мясник,
если б делу учились лишь глядя.

* * *

Жизнь свою освещал я при помощи двух свечей, одна из ко-
торых была свечой справедливости, другая — бескорыстия.

* * *

Покорность подданных государю — это их благодарность его справедливости.

* * *

Правда и справедливость спасут от любой беды.

* * *

Если кого-нибудь ты отправляешь во вражеский стан, то опасностей существует две, но если туда отправляешься сам — остается одна опасность.

*
* * *

Ко всем, кто тебе подчинен, богатым и бедным, будь одинаково справедлив.

* * *

В делах своих учись ты у пророков: смотри и наблюдай, чтобы в местах, подвластных тебе, ни кутежей, ни преступлений не было.

* * *

Подобно пророкам, любое дело начинай, посоветовавшись с людьми.

* * *

Бывали правители, которые вели дела, не советуясь ни с кем. Такая власть держалась недолго. Не поэтому ли говорят: «Без совета и плов не поспеет».

* * *

Учись у птиц: смотри, с каким терпением и осторожностью разбивают они яйца, из которых должны вылупиться птенцы.

* * *

Довольствуйся тем, что тебе посылает Всевышний. Благодарю за то, что ты имеешь, и имя Бога повторяй все время, и твердо верь в единственность его. Его велениям проявляй покорность, не ешь, не говори, не делай то, что сами небеса не одобряют.

* * *

Держись родных и близких, ведь без листьев
и дерево весною не цветет.

* * *

Будь ко всему живому милосерден —
из милосердья все творил Всевышний.

* * *

Небольшим отрядам хорошо подготовленных воинов, с позволения Всевышнего, под силу разбить целые армии.

* * *

На тьму ворон достаточно и камня.

* * *

Любая власть, подобно шатру, держится на опорах. Справедливость хакимов и является теми самыми опорами, которые поддерживают крышу власти. Без подобных опор не может быть справедливого государя.

* * *

Если не можешь одолеть более сильного врага — найди путь выхода из сражения, чтобы временно переждать.

* * *

Не отправляй в зиндан никого, прежде чем не предъявишь обвинение.

* * *

Несмотря ни на какую опасность, надо пытаться вырваться из зиндана, чтобы бороться за свою свободу. Если вырвешься — добьешься цели, а если нет, то, возможно, убьют. Но и тогда похоронят тебя не в темнице, а на свободе.

* * *

В этом мире все люди, вместе взятые, подобны одному целому тандыру. Если кто-то из них беспричинно нападает на другого и причиняет ему ущерб — это сродни тому, что он наносит себе самому раны. А значит, все враждебные наши старания по отношению друг к другу — пустая бессмыслица и война становится вовсе не нужной.

* * *

Противника, который превосходит количеством, в открытом сражении не одолеть, поэтому необходимо временно отступить, сделав вид, что испуган. А когда враг поверит в твою слабость — можно внезапно нанести сокрушительный удар.

* * *

Головы двух баранов в одном котле не кипят.

* * *

Не глядите с завистью на людей, дабы болезнью зависти не заразились чистые души.

* * *

Чтобы ярко горел вашей жизни светильник — избегайте всего, что порочно и грязно.

* * *

Воду от воды не отделить,
если воду колотушкой бить.

* * *

Чтоб подальше держаться от зла —
иди по стопам отца.

* * *

Мудрецы утверждают, что покой подданных связан с честью и рвением их государей.

* * *

Не разбудите интригана спящего.

* * *

Для умного радость, пришедшая после страданий,
дороже, чем та, что приходит в блаженные дни.

* * *

Радость — причина печали.

* * *

Льется Божья благодать на нас...

* * *

Всевышний дал мне власть над этим миром,
чтоб утеснил я тех, кто притесняет.

* * *

Ты — крепкий ствол народа своего,
и трутся люди, как верблюды, об него.

* * *

Чем иметь невежды власть —
лучше обойтись без власти.

* * *

Хочу удержать, но не чувствую рук,
хочу убежать, но не чувствую ног...
Разве не Божье провиденье это?

* * *

Чтоб вместе быть — необходимо
одной идеей всех увлечь.

* * *

К небу вскинувший нос
уронил свою честь.

* * *

Благодаря Всевышнему я всегда брал верх над теми, кто оказывал мне противодействие, и, благодаря Богу, тот, кто со мной разжигал вражду — был неизменно бит. Ты слышал об этом. И ты это видел. И будет правильным, если ты проявишь покорность.

* * *

Неправедно живущие да вспомнят:
в аду придется голыми руками
колючие деревья обдирать.

* * *

Не страдай от поражения,
от победы не ликуй.

* * *

Бог с теми, кто терпелив.

* * *

Чего не добиться острым мечом,
можно верною мыслью добиться.

* * *

Не ссорьтесь друг с другом — будете оба побеждены.

* * *

Не помогут в сраженьи слова. Как в пословице — у каждого слова свое единственное место, так и в каждом сражении — свой порядок и смысл.

* * *

На тебе нет вины. Возможно, вина на том, кто поручил тебе это дело. Но и на нем нет вины, потому что знания его и понимание ограничиваются лишь этим.

* * *

Будь правдивым, даже если
над тобой висит беда.

* * *

Только одним убеждением в этом мире невозможно решить всех его проблем.

* * *

По колено всего — удовольствия власти,
но по пояс сполна — пот, мученья и кровь.

* * *

Для того язык и существует,
чтобы правду им произносить.

* * *

Можешь сжечь Каабу и Коран,
пить вино иль поклоняться идолам —
только человеческой душе
понапрасну зла не причиняй.

* * *

Безумное и напрасное упрямство влечет за собой беду. Баязет был отчаянным и храбрым полководцем. И был человеком, слишком дорожащим своей честью. Это его и сгубило...

Девять частей государственных дел я решал,
обсуждая и советуясь с мудрыми,
и лишь одну — приводил в исполнение мечом.

АМИР ТИМУР

РАССКАЗЫ САХИБ КИРАНА

* * *

Однажды досточтимый и прославленный отец мой — Амир Тарагай доверил мне большое количество баранов, с тем, чтобы я отправился в Самарканд и продал их там. Удачно распродав стадо, я завязал в пояс вырученные тысячу золотых и решил пройтись по базару, когда услышал голос звонкоголосого дервиша:

— Кто оценит по достоинству эти несколько стихотворных строк,— кричал он, потрясая в воздухе листком бумаги,— и купит их за тысячу золотых, тот достигнет конца Вселенной...

И выиграло тогда во мне мое благородство, и вручил я тысячу золотых тому дервишу. Он пристально посмотрел на меня, а затем поинтересовался моим происхождением. Я ответил.

— Возвращайся домой,— сказал мне дервиш,— и прочитай это стихотворение отцу, а до тех пор в него не заглядывай...

И вернулся я домой и вручил эту бумагу досточтимому отцу моему. И он развернул листок и прочел рубаи, которое оказалось написанным на персидском языке, а смысл его сводился к тому, что силой зла невозможно оставить след на земле.

Джамшид, Сулейман, Искандер
запечатлели в веках свой след,
и теперь настал твой черед.
Коль пришел в этот мир —
след добра постарайся оставить...

Автором рубаи оказался тот самый дервиш, поэт Камол Худжанди, которого отец мой знал и очень высоко почитал.

— Молодец, сынок,— похвалил меня мой родитель,— на славное приобретение потратил ты свое золото. Теперь придется соблюдать верность этой мудрости, которую ты купил за тысячу золотых...

И мне оставалось только выполнить то, что пророчил мне дервиш и чем напутствовал меня мой отец.

* * *

Не сумев покорить Карши, с печалью в сердце возвращался я обратно. Переправившись через Кызылдарью, остановились мы в одном из кишлаков. Я выбрал себе жилище. Обитала в нем маленькая старушка, единственным богатством которой была коза.

И попросил я старушку приготовить мне что-нибудь поесть. Прошло немного времени, и на дастархане в деревянной чашке появилась мучная похлебка. Я был голоден. Торопливо зачерпнув варево деревянной ложкой, я жадно поднес ее ко рту и сильно обжегся.

И тогда старушка сказала:

— И ты такой же торопливый, как Амир Тимур.

— А откуда вы узнали о его торопливости?— поинтересовался я.

— Да слышала я: Амир Тимур не смог завладеть с налета городом Карши. Но если бы он сначала овладел близлежащими кишлаками, а затем, накопив сил, бросил их на штурм города — победа была бы за ним. А он вознамерился сразу овладеть крепостью, да вынужден был разочароваться... Вот так и ты — поспешил и тут же обжегся. Похлебку надо брать сначала по краям и пробовать не спеша, и лишь убедившись, что она остыла, можно набрать и полную ложку...

И тогда я осознал свою ошибку и сказал:

— Матушка, я и есть тот самый торопливый Амир Тимур. Полностью принимаю ваше замечание. Говорите свое желание...

Старушка попросила для людей кишлака провести воду из реки. Прошло немного времени, и мои люди провели воду в кишлак из реки Танкос.

* * *

После того, как был взят Самарканд и Мавераннахр вошел под мое влияние, дал я слово установить в стране справедливость. Вокруг престола желали свить себе гнезда многие порочные и гнусные люди. Все это я видел и слышал, потому и вынужден был издать следующее распоряжение: «Прежде должен быть нарисован портрет каждого просителя, ищущего аудиенции у меня, и показан мне, а я уж решу — принимать мне того человека или нет...»

Художники рисовали портреты всех, кто приходил во дворец и домогался со мною встречи, а я, внимательно изучив по рисунку лоб, нос, подбородок, глаза и другие части лица просителя, мог уже заранее делать предположения о его характере и умыслах. Людей злонамеренных и вероломных я старался всячески избегать.

В искусстве определять характер человека по чертам его лица неоценимую услугу мне оказали мои усидчивые занятия с шейхом Шамсиддином Паррандой и знакомстве с его книгой «Наука об облике человека».

Однажды занесли мне портрет одного просителя, и я, взглядевшись, определил, что человек сей имеет приверженность к сплетням и клевете. Я велел не принимать его. Однако, учинив скандал моим служителям, он сам рискнул ворваться ко мне.

— Сахиб Киран, вы абсолютно правы,— торопливо сказал он.— В последние годы я действительно имел грех клеветать и сплетничать, но, поверьте, в прежние времена совесть моя была чиста. Обстоятельства жизни заставили меня стать таким... Больше я уже не в силах терпеть. И суть моей жалобы сводится именно к этому. Не лишайте же меня возможности побеседовать с вами...

После этих слов я решил его выслушать. Служители отвели его в комнату для приемов.

Покорив Карши, с победою возвращался я обратно. Достигнув к вечеру Кокбулака, решили переночевать там. Распределив воинов по домам, раскинул я зеленый шатер свой на берегу реки.

Перед самым рассветом вышел я из шатра и посмотрел по сторонам. Неожиданно взгляд мой заметил в сумраке женщину, которая, держа коня на поводу, спускалась к реке, что вызвало у меня сильнейшее недоумение. И тогда я послал человека, и он отыскал и привел ко мне мужа этой самой женщины. И я спросил его:

— Почему вы отправляете жену свою с лошадьёю? Разве это не мужское дело?

— Сахиб Киран,— отвечал мне тот человек,— ухаживать за лошадьёю, поить ее и кормить должен мужчина — и я это знаю. Но в доме моем ты разместил четырех, подобных барсам, воинов. А что у них на уме, я не знаю. Поэтому я и вынужден был отправить жену свою напоить коня, а сам остался присматривать за двумя своими взрослыми уже дочерьми...

Я впал в размышления и, осознав допущенную мной ошибку, тут же отдал распоряжение: отныне и с этого дня больше не селить воинов по домам, а размещать их в шатрах, в местах, расположенных у пастбищ и близко к воде.

Еще и солнце не успело заглянуть в кишлак Кокбулак, а мои воины уже покинули дома поселян и разместились в шатрах. Таким образом было сохранено спокойствие народа...

Перед тем, как отправиться в дальний поход, остановились мы в Карабаге и надолго там задержались. Детально обсу-

дая предстоящие боевые действия, я провел некоторое время среди воинов и военачальников, а когда вернулся в шатер свой, то стал невольным свидетелем удивительного случая. Оказывается, в мое отсутствие, в шатер, через верхнее его отверстие, залетели два голубя и на моем походном стуле свили себе из трав и соломинок уютное гнездо, и теперь одна из них сидела в нем, высиживая птенцов.

Чтобы случайно не потревожить голубей, я разбил себе новый шатер в другом месте. На следующий день, прежде, чем отправиться в путь, я распорядился оставить у шатра с голубями четверых воинов и сам их напутствовал:

— До тех пор, пока по воле Всевышнего, не выведутся птенцы, останетесь здесь. И лишь после того, как голуби вылетят, разберете шатер и отправитесь вслед за нами...

Сами же мы, не медля, отправились в опасный путь. И, видимо, план боевых действий, продуманных заранее, благодаря Всевышнему и птицам, оказался верным — победное знамя не замедлило затрепетать над нами...

* * *

После того, как четырнадцать стран вошли под мое владычество, возвратившись в Самарканд, решил я отпраздновать это событие. Со всех краев были приглашены гости. В течение многих дней они ели и пили, и богатый мой дастархан был полон яствами.

Все были довольны. Праздник кончился. Но чтобы запомнился он надолго, велел я каждому гостю, в качестве подарка, привести по одному гиссарскому барану...

Но тут закралось сомнение: действительно ли гости остались довольны? Переодевшись и изменив свой облик до неузнаваемости, слился я с толпой расходящихся гостей.

На открытой дороге люди мучились, не в силах справиться со своенравными, привыкшими к воле баранами. Особенно тяжело было человеку, пытавшемуся сдвинуть с места пяти-шестипудового гиссарского барана. И тогда в сердцах у него вырвалось:

— Барана-то — дал, но чего же пожалел ты куска веревки, падишах ты наш скупой?..

Ему отозвались другие, поддержавшие и согласившиеся с ним. И тогда я понял, насколько это трудное дело — удовлетворить до конца каждого человека.

После этого случая я уже старался делать все, чтобы не давать никаких поводов для сомнений в искренности моих намерений.

* * *

Непременным долгом своим почитал я посещение святынь, мест захоронения пророков и чудотворцев, которым поклоня-

лись люди. Где бы на пути моем ни встречались святые места, я сходил с лошади, совершал омовение и, ступая босыми ногами, подходил к могиле, чтобы поклониться праху.

Сановники мои и другие служители следовали моему при-
меру.

* * *

Не заставляйте маленьких детей плакать, не доставляйте им страданий — это великий грех. Такие грехи не прощает Всевышний.

* * *

Я всегда повторял: богатый ты или бедный, но посади свой сад, даже если и не посчастливится отведать его плодов.

* * *

И говорил я лжецам: не раздувайте пламени гнева обман-
ными своими словами.

* * *

Создавая воинское подразделение и отбирая для него вои-
нов, я руководствовался следующими тремя правилами: во-пер-
вых, я обращал внимание на силу и выносливость юноши;
во-вторых, я обращал внимание на его умелое владение ору-
жием; в-третьих, на умственное и духовное развитие. Толь-
ко соединение всех этих качеств давало ему возможность стать
моим воином.

* * *

И старался я соблюдать наставление шейха Бахауддина
Накшбанди, который говорил: «Мало ешь, мало спи и говори
мало». И мои слова, обращенные к тем, кто находился у влас-
ти, были такими же: «Мало ешьте — и вы никогда не будете
знать бедности, мало спите — и придете вы к совершенству
духа и тела, мало говорите — и будете вы мудры».

* * *

Выбору невест сыновьям моим, внукам и близким родствен-
никам я уделял наисерьезнейшее внимание. И ставил я это де-
ло на один уровень с государственным. Расспрашивал и под-
робно выяснял происхождение и всю родословную будущих
невест. Через доверенных лиц допытывался об их физическом
и духовном здоровье. И если девушка была наделена всеми
требуемыми качествами, давал свое благословение и устраивал
свадьбу.

* * *

Сыновьям моим, внукам, а также родным и близким запрещаю я в состоянии опьянения вступать в связь с женами. Наставляю на путь благоразумия, ибо дети, сотворенные в состоянии опьянения, могут оказать влияние на продолжение рода.

* * *

В течение всей своей жизни я твердо был убежден в пяти вещах, которых и придерживался неизменно. Вот они:

АЛЛАХ — всесилен, и если ты искренне веришь в Него, то обязательно получишь то, чего искренне желал себе.

МЫШЛЕНИЕ — человек, наделенный способностью мыслить, умением наблюдать и обладающий сильной памятью, из всех самых трудных положений сможет найти достойный путь к его облегчению и выходу из него.

САБЛЯ — верный спутник воина, надежный страж спокойствия родины, оружие, которое удерживает врагов на расстоянии, сила, помогающая укреплять веру.

ВЕРА — качество человека, которым он отличается от животных. Верующий человек не вероломствует и всегда защищает честь своего народа и близких. Он наделен совестью и чистотой.

КНИГА — совокупность творческого созидания, ума и знаний, мудрый учитель жизни.

ЗАВЕЩАНИЕ АМИРА ТИМУРА

...Чувствую я, что птица души моей готова вылететь из тесной клетки своей. И я поручаю ее одному лишь Всевышнему. А всех вас оставляю под Его покровительство. Не проливайте слез и не печальтесь по мне — от этого пользы нет. Поминайте душу мою, благословляя меня и прославляя Всевышнего.

Слава Аллаху, благодаря Его помощи мне покорился мир, и сегодня полностью от Ирана и до Турана никто не посмеет вмешиваться в чужие дела, и не в состоянии поднять нечистых рук своих на беспомощных и беззащитных. И сколько бы ни было на мне грехов, прощенья вымаливая у Всевышнего, охранял я беззаветно Его достояние, освобождая угнетенных от безжалостных рук угнетателей. И все годы своего правления салтанатом я всячески пресекал любое насилие, кроме тех времен, когда мир еще был разрознен, и я не слышал и не мог знать о притеснениях.

И все равно мир не проявил мне преданности, и вам он ее не проявит.

Но промедление с пресечением любого злодейства ввергает страну в смуту и страх, жизнь населения лишает спокойствия, а людей приводит к безверию. В день Страшного суда за это с нас спросится...

Как уже известно, я объявил сына нашего Пирмухаммада Джахангира наследником своего престола. И да будут власть, право и независимость Самарканда в его руках. И да обеспокоится он спокойствием и благосостоянием народа, укреплением армии и другими важными делами государства. А вы проявите свою подчиненность и преданность, окажите ему поддержку, чтобы не нарушались мир и благоденствие...

Сыновья мои! Во имя сохранения спокойствия и счастья народа внимательно прочтите оставляемое мной — завещание и уложения. Помните их и во всем им следуйте.

Ваш долг — быть опорой народа и всячески облегчать его жизнь. Помогайте сирым и обездоленным, не отдавайте бедных во власть богатых. И пусть справедливость и милосердие станут для вас правилом. Если вы хотите так же долго, как я, управлять государством — прежде, чем вынимать из ножен сабли, крепко подумайте. Но если пришлось вынуть — используйте их с умом. И будьте настороже, чтобы никому не удалось вас рассорить. Завистники и враги ваши объединятся, дабы вызвать среди вас раздоры и распри, а затем воспользоваться самим. Я показал вам формы правления и его основы. Если вы будете верны им — власть ваша будет прочной и никто не кинет в вашу сторону камень...

Наследником престола и правителем каганата оставляю Пирмухаммада Джахангира. Служите ему вечно, как повинувались и мне. Полководцы мои, принесите сейчас клятву верности...

Собравшиеся военачальники и приближенные двора со слезами на глазах благословили его. Амир Тимур скончался 18 февраля 1405 года. И последними словами Рожденного под счастливой звездой были слова: «Нет Бога, кроме Аллаха!»

**Составители Бурибай АХМЕДОВ, Акрам АМИНОВ.
Перевод Сабита МАДАЛИЕВА.**

Фазыл Хюсню Дагларджа

Из «новой» турецкой поэзии

Понимание

Наш путь
К душе другого
Путешествие
В другую страну

Мечь

Ночь
Возьмет
Все свое
Из глаз

Жить

Птица
Раскрыла клюв
Она
Живет

Бог и поэт

Он на Своем пути
Поэт
Я на пути моем
Творец.

Осознание

Вода
Говорит об одном из нас
Воды
О нас двоих

Мысль

Отыскивал свою любовь
Бродя
Из кишлака в кишлак
Как от звезды к звезде

Вера

Солнце
Верит
Воде
Вода — тебе

Перевод Халиды АНАРБАЕВОЙ.

Чарльз Симиц

Чарльз Симиц (р. в 1938) —
известный американский поэт и переводчик французской,
русской и югославской поэзии.
Лауреат нескольких поэтических премий,
составитель нескольких антологий.

Из книги «Поколение 2000-го: современные американские поэты» (1984 г., составитель: Уильям Хайен).

Возвращение в дом, освещенный стаканом молока

Поздно вечером наши руки прекращают работать,
Они лежат открытые со следами зверей,
Бегущих по свежему снегу.
Им не нужен никто. Одиночество их окружает.

Когда же они сближаются, касаются,
Это похоже на два малых потока,
Что при слиянии с широкой рекой
Ощущают тягу далекого моря.

Море — комната далеко позади во времени,
Освещенная фарами проезжающей мимо машины.
Стакан молока горит на столе.
Сейчас только ты достанешь его для меня.

1974

Вундеркинд

Я рос склоненный
над шахматной доской.

Я любил слово «эндшпиль».

Все мои братья и сестры выглядели взволнованными.

* Тексты двух американских поэтов мы публикуем с любезного разрешения независимого журнала «Предлог» (гл. редактор Сергей Хренов).

Это был небольшой домишко
рядом с католическим кладбищем.
Самолеты и танки
сотрясали оконные рамы.

Отставной профессор астрономии
учил меня, как играть.
Это был, вероятно, 1944-й.

В наборе, которым мы пользовались,
краска почти слезла
с черных фигур.

Белый король был потерян
и чем-нибудь заменялся.

Мне говорили, но я не верил,
что в это лето я был свидетелем того,
как люди висели на телефонных столбах.

Помню, мать очень часто
закрывала мне глаза.

Она приспособилась внезапно
засовывать мою голову себе под пальто.

В шахматах тоже, как говорил мне профессор,
мастера играют с закрытыми глазами,
а гроссмейстеры — на нескольких досках
одновременно.

1980

Грегори Ор

*Грегори Ор родился в 1947 г.
Лауреат Премии Академии американских поэтов,
автор поэтических книг и исследования
о творчестве Стэнли Кунитца.
Препоает в Виргинском университете.*

Собирая кости

Питеру Ору

*Когда все комнаты в доме
полны дыма, недостаточно
сказать, что на трубе спит ангел.*

1. НОЧЬ В САРАЕ

Скелет оленя свисает со стропила.
Завернувшись в одеяла, мальчик наблюдает
с кучи сена. Потом он засыпает
и видит сон о приближающейся смерти:
внутри его есть косточки,
разбросанные по полю
среди лопухов и мертвой травы.
Он проведет жизнь, бродя по полю
и собирая кости.
Голуби шуршат под крышей.
У его ног овчарка
щелкает во сне зубами.

2.

Отец с четырьмя сыновьями
спускается по склону к оленю,
которого они убили.
Отец и двое сыновей несут
винтовки. Они смеются, шутят,
болтают наперебой.
Ружье стреляет,
и младший брат
падает на землю.
Мальчик с винтовкой
стоит над ним, крича.

3.

Я забиваюсь в угол комнаты,
уставившись в стеклянный колодец
своих рук; далеко внизу
я вижу — он тонет в воздухе.
Снаружи листья, похожие на рты,
образуют черный пруд
под деревом. Улитки скользят
по нему, маленькие лебеди-смерти.

4. ДЫМ

Что-то закрыло трубу,
и весь дом наполняется дымом.
Я выхожу из дома и смотрю на крышу,
но ничего не вижу.
Я вхожу в дом. Все плачут,
ходят из комнаты в комнату.
Им щиплет глаза. Этот дым
превращает людей в тени.
Даже после того, как он исчезнет, и слезы исчезнут,
мы почувствуем запах его на подушках,
когда будем ложиться спать.

5.

Он живет в доме из черного стекла.
Порой захожу к нему поговорить.
Отец твердит, он мертв,
но что это значит?
Прошлой ночью я нашел ребенка,
спящего на гнезде из костей.
У него был красный, в виде листа,
шрам на щеке. Я поднял его
и понес с собой, хотя даже
не знал, куда иду.

6. СТРАНСТВИЕ

Каждую ночь становлюсь коленями
на мраморную плиту и стираю их в кровь.
Я терся годами, она же все там.
Но этой ночью кости моих ног
загораются. Я встаю
и начинаю идти, а плита
возникает под ногами при каждом шаге,
белый путь, длиной с твое тело.

7. РАССТОЯНИЕ

Зимой, мне было восемь, лошадь,
поскользнувшись на льду, сломала ногу.
Отец взял ружье, канистру с бензином.
Я стоял в сумерках у дороги и смотрел,
как скелет горит на далеком лугу.

Мне было двенадцать, когда я его убил;
я чувствовал, мои кости рвутся из тела.
Теперь мне двадцать семь, и я иду
вдоль этой реки, ищу их.
Они стали мостом,
что перекинут к другому берегу.

1975

Перевод с английского Сергея ХРЕНОВА

Дэвид Гаскойн

Дэвид Гаскойн (р. в 1916) —
в тридцатые — сороковые годы лидер группы британских
сюрреалистов, ведущий представитель и пропагандист
сюрреализма в англоязычной поэзии,
поэт, критик и переводчик.

«Правда слепа»

Свет пал с окна и день был сделан
Еще день раздумий и размышлений
Любовь свернувшись крыльями прошла и угольная
Ненависть

Запнулась на краю скалы и обронила камень
Из которого ночь разрослась диким цветком
С кинжалами листьев и обгаренными сердцами
Лепестков — кровать
Пробила как часы и развернула простыни
По зубчатым пескам.

Осеннее дыхание далеких рассветов
Звезда в пологе серой мглы
И человек:

Только треск сухого сучка подал знак. Двое мужчин, привязавшие свою лодку к свесившейся у края воды ветке и теперь карабкавшиеся через густые тропические заросли, резко обернулись.

Подняв глаза он увидел исток реки
Между их ног — увидел пламень солнца
И здания сквозь листву
За их головами огромными будто сферы
Он уловил их голоса невнятные как дождь
Как падающее перо
И он упал.

Их лодка продолжала плыть
С соломенными мачтами
И парусами из тончайших тканей
Из якорных ноздрей в ее носу
Потоком били огненные и водяные струи
В которых пассажиры различали чудные вещи:

Заклинатель, как мы узнаем, «вынул из своего мешка шелковую нить, и таким образом взметнул ее кверху, что она накрепко привилась в небе к некоему облаку. Из того же вместилища он вытянул зайца, побежавшего по нити наверх; маленькую гончую, натравленную и следовавшую за зайцем с великим лаем; последним был крошечный казачок, которому было приказано следовать за псом и зайцем. Из другого мешка он извлек пригожую молодую женщину, весьма хорошо сложенную, и направил ее вслед за казачком и псом».

Она рассмеялась зазевавшимся ей вслед
И хлопнула в ладоши растворившись в воздухе
Возникнув тут же на том берегу
Посреди шумного движения набережных
Ее очерк на пыли неба
И тень на камнях
Возле сидящего пилота в грязной коже

Он сбил эту хрупкую статую
Отъев ей сахарную голову
Свидетели все собрались вокруг
И указали на расселину в его ногах:

Клубы голубого дыма, мешающегося с сажей, шли из прогоревшей трубки. Дым был достаточно густым, чтобы мешать водителю машины или прохожим.

Шепот незримого пламени
И резкий вкус во рту.

Перевод с английского Василия КОНДРАТЬЕВА.

ЗАКРОЙ НА МГНОВЕНЬЕ ГЛАЗА

РАССКАЗ

Дома там давным-давно снесены, да и жителей уже нет: вернее, они есть, но бог весть, где и чем теперь занимаются...

И все же есть еще одно-единственное место, где они, сами того не ведая, постоянно живут...

Станция «Пахтакор». Шумная толпа, выходящая из метро, растекается на все четыре стороны. Рассеянно глядишь и с щемящим чувством все ищешь среди них кого-то: нет, нет... Все на одно лицо. Незнакомые всегда почему-то похожи друг на друга. Не так ли? Тогда закрой на мгновение глаза и посмотри, что за картина предстанет перед тобой.

Закоулки вдоль сая, заросшего по берегам колючим кустарником. Низкие, тесные, узкие дворы. Первый двор справа заброшен и разрушен. Второй — не лучше: стены обвалены, крыша осыпана. Если пройти дальше, вглубь, то возле древних узорчатых ворот третьего двора сидит столь же древняя старушка, которая, презрев свою лень, целыми днями продает фисташки и курт. Дальше, будто насмехаясь над соседними, величественно возвышаются строения следующего двора. Перед ними тянутся высокие и широкие навесы. Постройка украшена резными порталами, сложенными из жженого кирпича; и с особой тонкостью подчеркнута напыщенная красота узорчатых оконных рам среди настенной живописи. Вся эта помпезность рождает в воображении картину прошлого века, как бы бахвалящегося своей роскошью! Но зато как лестно сообщать: «Первая улица за телестудией, первый дом за поворотом — наш. Весной весь двор белый от цветущего урюка, осенью его украшают гроздья винограда. Так что милости

просим!..» — Так, обычно, где бы я ни находился, обрисовываю друзьям место своего проживания.

И, конечно же, хозяином этого рая, его хранителем пока являюсь я. Настоящий хозяин, почему-то бросив сей Эдем на произвол судьбы, купил где-то за городом другой двор и теперь живет там, заезжая к нам «по случаю» раз в месяц.

Кроме меня здесь обитают далеко не простые люди. Это — будущий цвет узбекской науки и культуры: «народный артист» — он же Турди Давран — студент театрального института, «великий хирург», или Латиф Зияев — из ТашМИ, и дотошный «бабуровед» — Исмаил Хурсанди — будущий педагог. Среди них самый безродный — это я: будущее мое еще не определено.

«Народный артист», словно заполучивши пулю в спину, целыми днями лежит в постели, перелистывая журнал «Театр». Должно быть, пытается отыскать секрет, как и впрямь стать народным артистом. Изредка, надев «стильные» тапочки и набросив на плечи клетчатый пиджак, он с небрежной деловитостью разгуливает по двору. В свободное от этого время он посещает занятия. А вечерами, расфранченный, как гусар, опаздывает на свидание: «Розетта достала билет в оперетту, не пойду — обидится».

Жизнь «великого хирурга» беспросветна: целыми днями просиживает на лекциях, да и дома продолжает штудировать латинские названия человеческих потрохов и ищет способы бескровных операций. Почти ежедневно затевает стирку белых халата и колпака. Да и потом, когда остается время, декламирует своего любимого наставника — великого Беккера, потрясая девизом: «Человек всегда должен быть опрятен, а главный знак опрятности — белоснежная одежда!» Дай ему волю, так он в белом халате и колпаке готов хоть в морг, хоть в театр.

«Бабуровед» и вовсе не от мира сего. Со своей «Розеттой» по театрам не ходит, его не тревожит стирка белых одежд. Перед ним гора книг. Сидя на желтой овчине привезенной из кишлака, в майке, спадающей одной лямкой с плеча, он перешагивает через века, неотступно преследуя шаха Бабура. Время от времени он вскрикивает: «Слушайте: «До сего дня наследников Тимура называли великими мирзами, отныне повелеваю величать меня шахом!» Ну как? Сильно сказано?!»

Младший у узбеков — как говорится, щенок на побегушках. Вот и мне, как младшему, приходится убирать, готовить и мыть посуду. Приходится спать на кровати, стоящей у самых дверей. И это будучи почти хозяином. Ведь с настоящим хозяином веду переговоры я. Да и квартиру эту нашел я. Потому по собственной воле, как видно на свою голову, их и привел.

Расходы лежали на мне, они об этом вовсе и не задумывались. Я же не мог выяснить, посылают ли им деньги родители и если да, то когда они их получают. Смотришь: в один прек-

расный день на одном из них появляется новая рубашка, на втором — импортные джинсы, а третий за бешеную цену несет в дом потрепанную книжицу. «А деньги откуда?» — спрашиваю я. Они в ответ снисходительно усмеваются. Пройдохи! Так и хочется выгнать их всех, да неудобно, все-таки из одного кишлака; если уж на то пошло, сам их привел, ведь метко сказано, что младший у узбеков — как щенок на побегушках, и эту поговорку не они ведь придумали.

Но как бы то ни было, жить вместе с ними было интересно. Вечерами вчетвером мы строили грандиозные планы: о том, как в следующее воскресенье пригласим в гости трех сестер, живущих по соседству, и кто из нас будет заниматься уборкой, чья очередь идти на базар, кто приготовит плов, а кто будет занимать их разговорами...

В конце совещания «народный артист», как правило, берет распределение девушек на себя. Среднюю, самую стройную и милую, он определяет себе, остальных преподносит остальным. Обращаясь к «бабуроведу», он говорит: «Старшая высокая и характером сдержанная, как раз по тебе. А самая маленькая, да удаленькая, уважаемый доктор, достанется вам. Но будьте осторожны с нею, как с халатом, — говорит он великому хирургу, — девушка-бутон. Впрочем, горит желанием поступить в ТашМИ, вот и подготовьте потихонечку». Наконец, обратив взор на меня, оставшегося с носом, бесовственно улыбается: «А ты еще...»

Откуда им знать, что моя любовь к трем сестрам, проживающим в доме с болохоной¹, куда сильнее любви их троих, вместе взятых? Но что поделаешь, ведь я еще...

— Розетта... — говорю я запинаясь и надеясь на что-то.

— Розетта... — повторяет с запинкой «народный артист». — Ты знаешь, прадед ее по матери был французом...

Как-то я увидел Розетту возле Дворца Искусств. Она у телефонных будок кокетничала с «народным артистом». Чтобы не смущать товарища, я отошел в сторону. По его словам, она была прекрасной феей из древних сказок, а я увидел полную и некрасивую толстушку с лихо покрашенными бровями и ресницами. Я подумал, наверняка она будущий художник. Да и зовут ее наверняка Рузихал, или же, в лучшем случае, Разия...

Вот так и процветала бы в этом дворе узбекская наука и культура, если бы неожиданно ей не был нанесен непоправимый ущерб.

Однажды, возвратясь после учебы, у входа на лестнице я увидел незнакомого парня. Старше меня на год-другой. Одет был просто, оказался каким-то далеким родственником нашего хозяина, которому помогал в оштукатуривании нового дома. По воле самого, дескать, хозяина, юноша должен был несколько недель прожить с нами.

¹ Легкая надстройка над первым этажом.

— Хорошо,— сказал я.— Раз уважаемый повелел...
Вечером, когда вернулись остальные, Мардикор¹— это прозвище присвоил ему я— повторил им сказанное. Задав пару вопросов, «народный артист» скрестил руки на груди и артистично произнес:

— Дружище, вы мне не очень понравились. Слова ваши сомнительны.

Однако на это никто не обратил внимания, решив, что артист, как всегда, паясничает.

Мардикор же в тот вечер, превратив чапан «великого хирурга» в матрац, толстые книги «бабуроведа» в подушку, расположился посередине комнаты. Нет кровати, так спасибо и на том. Он знает свои границы!

Со временем стало ясно, что он и впрямь настоящий мардикор. К тому времени парень всем нам успел понравиться, а особенно мне, поскольку в какой-то степени освободил меня от хозяйственных забот. Как-никак подручный! К тому же он оказался всезнающим, всеведущим человеком.

Решив похвастать перед ним, «народный артист» завел разговор о каком-то модном направлении в искусстве, и тот сразу нашел чем возразить. «Великий хирург» и вовсе поник головой, когда Мардикор, объясняя учение Ибн Сины, положил на обе лопатки теорию великого и уважаемого Беккера. «Бабуроведу», напротив, повезло: они часами могли беседовать о стародавних походах и сражениях. Удивительный подручный! Со мной же, как с первокурсником, ему приходилось говорить чаще о наших ложках и ножах, продуктах и скотине...

Итак, очаг культуры был пополнен энциклопедистом Мардикором. Но «народный артист», как я сказал, почему-то его невзлюбил, сомневался в его знаниях и при каждом удобном случае, иначе говоря, когда его не было рядом, упорно изобличал его недостатки. «И чем он вас так очаровал?— спрашивал он раздраженно.— Знания у этого паренька как мешок у нищего: всего и отовсюду понемногу! Попробуй такое выставить на дастархан!»

Прошла неделя, но Мардикор и не думал об отъезде. Мы к нему тоже привыкли, точно земляки, точно жили вместе с первых дней и успели пуд соли съесть, а потому не решались его спросить об этом. Он оказался на редкость общительным и обходительным, сумел найти к каждому свой подход. Недаром говорят, что словом сердца открывают. Правда, удивляло нас то, что называл он себя двояко: то Мансуром, то Мардоном. А когда об этом приходилось напоминать, то, не моргнув глазом, отвечал: «Какая вам разница?»

Откуда он, для нас тоже осталось секретом. То скажет, что из Андижана, а по ходу разговора выясняется, что он самаркандский. И опять, махнув рукой на наше удивление, повторит свое: «Какая вам разница?»

Как оказалось впоследствии, ему и впрямь все было безразлично...

¹ Мардикор — подручный.

Как-то в субботу вечером, вернувшись домой после кино, я застал во дворе милиционеров. Один из них, сидя на стуле, записывал что-то в блокнот. «Народный артист», как обычно, скрестив руки на груди, мечтательно перечислял:

— Японский транзистор... Румынская рубашка... Еще... джинсы, фирменные.

«Великий хирург», сидя на лестнице, прибавлял:

— Новый костюм. В прошлом году надел всего раз. И то в день Первого мая. Потом японский фонендоскоп... Сам знаменитый Беккер подарил... Еще афганские полосатые носки, на них верблюды... нарисованный...

«Бабуровед», опустив глаза, мрачно буркнул:

— У меня вроде бы все на месте, только... только вот «Бабур-наме», лондонское издание...

— Что случилось?— спросил я в тревоге.

«Народный артист» трагическим голосом произнес:

— Твой Мардикор нас хорошенечко ободрал!

Я тут же устремился в комнату. Увидев разбросанные вещи, бросился проверять. На месте не оказалось нового, совсем еще ненадеванного пальто, чемодана в шахматную клетку, подаренных отцом в честь поступления в институт. Я вышел и доложил об этом следователю. В сравнении с друзьями фантазия моя оказалась куда как бедной: ведь я еще неопытный первокурсник...

Следователь, видимо, не знал, что делать дальше, и был этим сильно озабочен:

— Да, собрались тут наследнички,— сказал он.— Сумма краденого составляет чуть не три тысячи рублей.

— Три тысячи, три тысячи!— поспешил подтвердить «великий хирург».

— Никуда не денется!— убежденно сказал следователь, вставая с места. Затем попытался утешить нас, пострадавших:— Не беспокойтесь, обязательно найдем! Не сегодня, так завтра мошенник попадет в наши руки!

— А если он уже все распродал?— вдруг забеспокоился с нескрываемой надеждой «великий хирург».

Услышав это, мы переглянулись. Честно говоря, мне стало жаль Мардикора, подумалось, что если его поймут — непременно расстреляют.

Всю ночь мы проклинали этого самаркандского или андижанского Мансура или Мардона, сойдясь на едином вердикте:

— Конечно же, он мошенник!

— Вор, лгун.

— И глаза у него странные. Смотри, как подлец в душу влез!

Оказалось, что и хозяину нашему он никем не приходится. Получается, кругом надул нас.

— А я ведь сразу почувал,— торжествуя сказал «народный артист».— Говорил я вам...

— И все же он был силен в истории,— буркнул «бабуровед».

— Знаток, знаток! Вот тебе и знаток! Вор и бандюга! А

ведь вы с ним были неразлучны, водой не разлить...

Тут они втроем налетели на меня:

— Это ты первым заговорил с ним! Тогда же надо было гнать взащей. Это ты во всем виноват!

— Ийе!— возопил я.— А вы, вы почему не выгнали его? Вы ведь старше меня!

— Но все же хозяин здесь ты!— возразили они.— И сделать это должен был ты.

— Это сегодня я стал хозяином, да?— спросил я, давясь слезами.— Так вот как вы злом на добро... Если я хозяин...

Но, слава богу, «бабуровед» со сдержанностью истинного мудреца вмешался и решил нас рассудить с той мерой справедливости, которая присуща лишь истинным мудрецам.

— Товарищи, в случившемся мы все одинаково виноваты, или же все одинаково невинны. Что же касается Мардона, если сказать честно, товарищи, мне не хочется верить в это...

Затем он пустился в долгое описание своего армейского прошлого и даже рассказал одну немуслимую историю, согласно морали которой Мардикор оказывался не простым вором... его вором нельзя даже назвать...

— А кто же он тогда?— уже в нетерпении спросил «великий хирург».

«Народный артист», обычно с раздражением слушавший «бабуроведа», зашипел:

— Э, кого вы слушаете? Девяносто девять процентов его болтовни — ложь и один процент — сомнения...

Тогда мы стали анализировать проделки Мардикора, просеивать заново и поминутно его жизнь с нами. И ни к какому выводу не пришли.

Прошла неделя. Из милиции никаких сведений не поступало. «Великий хирург» каждый день наведывался в отделение в надежде заполучить японский фонендоскоп. Но следовал ответ, что его не нашли.

Со временем мы потеряли надежду на то, что вещи когда-нибудь найдутся. Поразмыслив, я понял, что пострадал больше всех. Представьте себе, совершенно новое пальто. И чего я так жадничал, берег его, лучше бы надел в тот день на занятия. Что мне теперь делать? Просить, чтобы выслали денег из дома — неудобно, скажут, вот, вырастили на свою голову слюнтяя. К тому же, как только начались холода, я купил себе другое пальто, подешевле. Тонкое, как мешковина, длинное, как мешок, но все же пальто. Приближаясь к дому, я подбираю его полы, которые доходят мне до щиколоток, и залихватски шагаю как ни в чем не бывало. Главное, чтобы не засмеяли эти три сестры... если кто из них взглянет...

Однажды, вернувшись с «бабуроведом» домой, мы чуть с ума не сошли. Посередине комнаты стоял чемодан, мой чемодан в шахматную клетку! И только. Ни японского транзистора, ни румынской рубашки, ни редкостного фонендоскопа, ни «Бабур-наме», лондонское издание, ни даже костюма, надеванного лишь раз и то на Первое мая! А на чемодане записка...

Вечером мы долго удивлялись происшедшему. «Бабуровед» многозначительно изрек: «Ведь я говорил!» Но никто не обращал на него внимания — сидели онемевшие, обескураженные, избегали смотреть друг другу в глаза.

С этого дня пропало все очарование нашего общежития. Цветущий очаг науки и культуры пришел в упадок. Первым съехал «великий хирург». Вслед за ним ушел со своей овчиной «Бабуровед». «Народный артист», по многочисленным просьбам своей возлюбленной, перекочевал к ней. В опустевшем доме остался я один. Ведь двор был моим, и хозяином был я.

Ночами от страха я не спал. Усну — снятся кошмары: ворота сами по себе открываются, кто-то входит во двор, бросает камни, кто-то заглядывает в окна. Стоит закрыть глаза, как перед глазами встает Мардикор и начинает меня душить...

Спустя два-три дня и я переехал к однокурснику, жившему на другом конце города, ушел и больше в эти края не возвращался.

Закончив учебу, я ожидал диплома и, от нечего делать, решил навестить те места, где раньше снимал квартиру. В этом ведь тоже есть что-то похожее на подведение итогов. Что ни говори, «золотая пора» — в этом районе прошел мой первый студенческий год, здесь мы недоедали, одевались бедно, строили невысказанные планы...

Большой замок на воротах весь проржавел. Я тихонечко глянул в щель: двор был полон мусора. Несчастный дом, иначе разве его хозяин ушел бы бог весть куда, оставив такую роскошь!

Мне показалось, что, топая по сухим листьям, по двору ходит Мардикор. Вот сейчас он выйдет и набросится на меня. Я развернулся и спешно удалился.

Прошло еще некоторое время. В памяти все стерлось. Старые строения снесли, построили метро. Когда я выхожу на станцию «Пахтакор», то смотрю на нескончаемую толпу, расходящуюся на все четыре стороны, и все, кажется, хочу найти кого-то — но тщетно!.. Нет, нет. Все они одинаковы, все незнакомы. Незнакомые всегда кажутся похожими друг на друга...

Где же они, знакомые места, знакомые лица?..

За эти годы я несколько раз встречал трех красивых сестер, которые так волновали нас своим соседством. Меня они не узнают. Ведь нам, влюбленным в них юношам, не было счету.

Иногда сталкиваюсь с Исмаилом Хурсанди. Он давно защитил кандидатскую диссертацию. Как и все люди науки, носит очки и несколько рассеян. Как ни встречу, всегда под мышкой стопка книг, всегда куда-то торопится. Стоит завести разговор о случившемся, как он тут же: «Да, странное дело приключилось, а ведь был большим знатоком, должно быть, давно защитил свою тему». И тут же исчезает.

Турди Даврон, наверное, вовремя понял, что народного артиста из него не получится, отказался от искусства, предпочтя ему административную деятельность. Приезжая в

город, обычно говорит: «Брось ты эти разговоры!», и тянет в ресторан или еще куда-нибудь.

Слышал я, что Латиф Зияев стал главным врачом. В позапрошлом году даже видел его. Летом с женой и детьми ехали мы в родные места. Выйдя из автобуса, стали ждать попутку. День был жаркий, дети начали хныкать, прося попить. И тут мимо нас промчались белые «Жигули». За рулем сидит симпатичный Латиф Зияев в белоснежной рубашке и при цветастом галстуке. Он тоже меня увидел, узнал, я в этом не сомневаюсь. Но молча проехал. Я остался на перекрестке с хныкающими детьми. Должно быть, и впрямь он стал великим хирургом.

Но ведь когда-то мы жили в одной комнате, дышали одним воздухом, делили хлеб насущный, были друзьями! Так почему же теперь мы стали чужими? Кто нас рассорил? Не тот ли подручный, который, прожив с нами чуть больше недели, своими таинственными проделками оставил нас в смутении? Он, он! Самаркандский ли, андижанский ли, то ли Мансур, то ли Мардон? Впрочем, как говорил он сам: «Какая вам разница?» Да, он был Мардикором, марди кор¹! Исполнил свое дело и исчез. Как будто одарил нас яблоком раздора. Но справедливо ли это?

Помню, пришел он однажды хмельной и стал изливать мне душу: «Брат, вот уже три года не могу поступить учиться. В кишлаке одна-одинешенька мать. Вот уже три года не могу выбраться к ней. Она ведь думает, что я учусь. А я, как видишь, болтаюсь. Брат, мне нужно повидать мать. Понимаешь... Она одна... И я тоже один...».

Так неужели он, постеснявшись своего вида, решил поехать к матери в нашей одежде? Ну и попросил бы... Да и сам мог заработать: руки-ноги целы, к тому же — завидные способности.

А записка, оставленная на чемодане, гласила: «Друзья, извините, что ставлю вас в неловкое положение, тысячу извинений! Такой финал мне был необходим, думаю, вам тоже...» Странно...

Странно и то, почему я пишу об этом? Не знаю.захотел написать — написал, кто захочет прочесть — прочтет. Ведь человек, что родился сегодня, не сегодня же умирает. Как ни горька или сладка, плоха или хороша была его жизнь — она полна воспоминаниями. Кто не оборачивается назад, тот не видит и того, что у него впереди. А из воспоминаний рождаются мудрые изречения. Вот одно из них:

Увидишь одного — так мыслям волю дай,
Другому, словно нищему, подай!

И больше ни слова.

Перевод с узбекского Хамида ИСМАИЛА.

¹ Мард — мужественный, храбрый; кор — дело, работа.

ГО-ТО-ГО

РАССКАЗ

Снег опускался вдоль стен на асфальт, не высветляя его черноты и не делая темнее. Так было и утром и днем, и уже смеркалось... Казалось, так будет всегда.

Дочь сидела за детским столиком, я стоял у приоткрытого окна и курил. Дочь закашлялась. Я прикрыл окно и подошел поправить плед.

— Не забирай меня,— сказала она.

Перед ней лежали раковины виноградных улиток. В сумраке они напоминали голубиный помет. Она играла ими, грела в озябших руках, ей почему-то казалось, что в них кто-то живет. В спирально закрученной раковине спирально закрученное тельце.

Поправляя плед, я рассыпал несколько ракушек. После надоевшего шлепанья капли они застучали непривычно сухо и зло. Когда я собрал и сложил их маленькой горкой, ее лицо исказила противная гримаса. Родное лицо. Возможно, какая-то часть их была «кроватькой», другая «креслом», кто знает? Они могли быть и «мамой», и «детками», и мало ли кем еще! Они могли быть просто ракушками, которые какое-то время должны были лежать как лежали. Это мог быть просто каприз.

Я сказал, что если она не перестанет плакать, я уведу ее с балкона в комнату. Девочка плотно сомкнула губы, но ни то слева, то справа невольно расплзались. К тому же я потерял право ее увести. Ее маленькая голова поворачивалась вслед за мной, чтобы я мог видеть, как она не плачет.

— Ну, играй,— сказал я.— Играй.

Снег все падал.

Раковины крохотных улиток мы насобирали на высоком, крутом берегу реки, где когда-то, возможно, были виноградники. С обрыва я видел противоположный берег, такой же крутой и пустынный. Неуютный свет воды тяжелым движением огибал подмываемый угол. Далеко под ногами, по пояс в приливной волне, шуршал на ветру камыш. Желтый камыш,

желто-красная глина обрыва, грязно-желтая с блеском масляных пятен, густая от глины вода. Ржавчина полыни на взгорьях и небо без лица. И снег. Первый снег очередного года, обильный и сухой. Ветер гонит его по течению, и холодные кристаллы исчезают, едва коснувшись воды, едва коснувшись земли. И за каждым препятствием ветру — чехарда и карусель. Чехарда и карусель до самого предела видимости крохотных комочков, до еле заметного бетонного моста с красным миганием убегающих автомобилей.

Лишь через время пробился снег крупной солью на жухлой траве. Сединой с двух сторон от тропы, тускло светящейся цветом низкого неба. Дочь, ковыряя палочкой рыхлую землю, собирала улиток. Почему-то их здесь очень много, и все ей нужны.

Ветер, действительно зимний, пахнет холодом горных хребтов. Дым сигареты срывается с губ сначала чуточку вверх. Когда кристаллы ударяют о сухие листья камыша, похоже на звук при касании раковин. Звук пустоты.

Возвращаясь, я обещал своей девочке, что утром все станет белым от снега. Дети любят снег. В прошлом году она могла бы сказать своей маме, что утром все станут белыми. Был бы повод посмеяться. Если бы год назад она умела говорить.

На кухне я включил газ, но прежде чем поставить молоко, погрел немного руки. Теперь было важно, чтоб молоко не убежало. И только это. Легко, когда важно самое необходимое. Потом станет важным, чтоб она выпила его горячим и не капризничала. Легко, когда не важно все, что не можешь изменить.

Над крышей дома напротив, в загадочных знаках антенн, вдруг разорвало тучи, и закатное солнце, широкое, как огромный оркестровый барабан, ударило в хрупкие стекла нашего балкона. Свет и тень очертили тесноту небольшого пространства. Бледно-зеленые стены стали золотом, по которому коричневые до черноты, строгие и изломанные, упали крестовины оконных рам. Девочка раскрыла глаза и ладони так широко, как могут только дети. Половина лица ее была ослепительно-кремовой, другая — нежно-зеленой, переходящей у глаз в голубизну. Снег за окном, то желтый, то синий, по-прежнему падал на черную землю. У магазина напротив толпились люди. Выходили, входили. Разве что свет за витринным стеклом поблек до сумрачной охры.

Вспомнилось что-то, не похожее на город, каким я знал его, на меня, каким я привык себя помнить. Потускневшая охра электрического света и шелест толпы по жидкому месиву на асфальте. Зыбкое, беспорядочное движение на дне бетонного колодца и солнце над ним. Когда ж это было? И даже не солнце, а лишь необычный свет, отраженный низкими облаками. Свет в начале ночи, едкий, как отравленная пыль.

Дочь забыла о раковинах.

Тревожная желтизна заполнила всякую щель, прилипла к лицу и осела в легких. Почему я знаю, что такое продлится недолго? Уже и теперь, или в это так хочется верить, он стал ослабевать. Всего неприятнее испуганные глаза ребенка, но когда-нибудь и она не вспомнит, с кем ей пришлось пережить необычное свечение.

А снег все падал, уже бесцветный, как комочки высохшей глины, и чистым не казался.

Присев напротив, я взял ее руки в свои. Ничего другого мне не оставалось. И когда я погладил ее руку, она погладила мою.

«Кореш», «приятель», «друг», «хороший знакомый» — мы не нашли даже слова, способного нас обозначить друг другу. И возможно, ты прав, утверждая, что подлинное искусство — сама жизнь, но разве не ты от нее отказался в пользу искусства? Дочь моя тоже прекрасна в момент постижения хрупкости бытия. Остается только гадать, откуда в ней страх незнакомого неба.

Как когда-то с тобой, мы сидим с ней напротив друг друга в надвигающейся темноте... Точно так, как когда-то с ее неудавшейся мамой. И всякое движение оставляет след. Зыбкий, едва заметный. Он и тогда исчезал позднее, чем появлялся новый. Одновременно множество улыбок то распускалось на ее лице, то увядало, то распускалось вновь. Так, вероятно, ставили б маски. И много их сменялось до поры, когда по воздуху, вздоху безмерно усталого человека, я узнавал свою жену.

— Да ты и не жил до меня! — сказала она однажды.

Ее устраивало думать, что моя настоящая жизнь началась с ее забот обо мне.

— Ой, не надо! Знаю, как ты жил. — И жест рукой. Небрежное отстранение. У меня и тогда не доставало права доказывать ей то, что очевидно.

Икона на ее столе появилась после рождения ребенка. На картоне со спичечный коробок трое святых. Над каждой головой нимб. Так просто! Три поворота циркулем.

В той жизни, до меня, она не потерпела бы пластмассовую рамочку, окрашенную под серебро, в своей квартире, по-стародевичьи нелепой, но своей, как собственный живот, день ото дня более тяжелый, или своя пристрастная безразличность к чужому и ко мне, к тому, что я мужчина, и репродукции от Босха до Дали свои, и множество икон в потрепанных альбомах, своих, и русских, и не русских, поочередно и доверчиво раскрытых, то на моих коленях, то на ее — она ведь их любила. И это их эстетические достоинства и были предметом наших многодневных уроков красноречия, поводом к признанию в любви ко всему прекрасному и живому.

И разумеется, мы не могли не стараться быть хоть немного живее и прекраснее, чем смогли. Стараться тем отчаянней, чем резче ощущали холодную мерзость одиночества за спиной, а впереди, лицом, тепло и свет торшера. И глянец репродукций нам блестел так ласково! А ожидание случайного прикосновения чужого локона к щеке, плеча, руки, и времени, когда не надо будет смотреть в глаза апостолов, готовых (а ведь было за что) нас покарать, неожиданно так исчезло, что трудно верится, что это были мы.

— Хотя бы год напряженной работы,— говорила она, родив.— Только год!

Ей казалось, что год напряженной работы, год жизни без забот о семье, год прежнего, но уже желанного, одиночества, помог бы прорезаться ее ни с чем не сравнимой утонченности языка, необычайно выражающего утонченность ее мировосприятия.

Я молчал, тем более, что никакой утонченности мира не чувствовал. Да и помочь было нечем. Я — «компьютер, трезво погрязший в лаптях», а она, когда я ее полюбил, напоминала мне нежно-зеленое, жалкое и трогательное насекомое-однодневку, но у нее ее ребенок был бы уже накормлен, да и я бы чего-нибудь поел.

А утонченность... Знаешь? Впрочем, всегда поражаюсь, как мало мы знали, как наше незнание совсем не мешало друг друга друзьями считать. Я даже не помню, видел ли ты ее, дорогую жену мою, хоть когда-нибудь или не видел? Так вот, в лодыжках она была действительно тонка, и в переносице, еще кой-где, местами, но это я к тому, что утонченность ничего не хочет знать о внешних данных наших и наших мнениях о ней.

Она порой еще грозилась доказать, по каким первозданным цветам топчутся в скуке и суете наши грязные ноги (это о ее душе и человечестве), но страх потерять себя через смерть был сильнее желания что-то доказывать, тем более мне.

Скоро дочь попросит сказочку, но еще ничего не поела. Бокал с недопитым молоком придется отнести на кухню.

Мне не дано так ярко почувствовать свою индивидуальность, но дано достать вино из холодильника и отхлебнуть глотка два или три, подавляя тошноту. Вместо ощущения неповторимости — пустота и дрожание нервов, страх приближения ночи без сна и желание остаться одному.

Маленькая икона на ее рабочем столе, как и вино, не искусство, но и пригласительный билет не несет в себе ценности, достойной обещания. Мудрость заученных жестов седых старичков уже не казалось ей пошлостью, как не пошлет истина от многократного повторения, а лишь, доведенная до функции знака, наиболее полно передает идею спасе-

ния, без которой, уже и тогда, жизнь для нее оказалась бы непереносимой. А ты говорил «искусство», «жизнь»...

Еще раз подогреть молоко и сварить два яйца не вкрутую. Отрезать два кусочка хлеба и маслом намазать. Один из кусочков нарезать на маленькие дольки, похожие на столбики. Тяжесть масла повалила их. Жена и дочь называли такие бутерброды «маслятами». Думаю, жена баловала свою дочь. Вероятно, меня устраивает так думать. Они любили друг друга. «Ведь она у меня единственная!» Ты тоже любил, но не их. Я тоже, не помню кого. Я даже знаю, как это бывает!

Снился мне двор. Покосившееся крыльцо с запорошенными снегом половицами. Дверь обита клеенкой, а возле замка, рядом с бронзовой, отполированной ее ладонями ручкой, торчат клочки старой ваты и какие-то тряпочки. Почему-то их вынимать строжайше запрещено. Сны-наваждения не оставляли и днем. Я легко мог представить, как скользко стоять на пологом, заледенелом полу и как гулко звучит под солдатскими сапогами пропахшая псиной и пылью, промерзшая под ступенями пустота.

Коричневый халат моей матери с мелкими сиреневыми цветочками, задубленный, словно кусок картона, раскачивается под яблоней на искрящемся снегом ветру. Ровно в такт шагам моим по снегу чужого города, в такт взмахам крыльев далеких усталых ворон над неподвижностью голых бесцветных веток.

Я стоял за летней эстрадой, привалившись плечом к бледно-розовой стене с томатными пятнами влаги под шиферным навесом и смотрел, как редкие перышки снега опускаются на шинель. Увольнение заканчивалось. За чугунной оградой с нотными папками спешили, взявшись за руки и боясь поскользнуться, две девчонки. Старик со старухой терпеливо ждали возможности дорогу перейти. Смеркалось. Голодная собака остановилась передо мной и, вытянув морду, долго принюхивалась к хлебу в кармане моей шинели.

Часто мне представлялся водозаборный качок. К моему отъезду он совсем разболтался. Мученье мне с ним, писала мать. Чтобы его раскачать в такую погоду, необходимо одной рукой вливать в цилиндр горячую воду, а другой раскачивать поршень, стараясь взломать подтаявший лед и подхватить воду из-под земли.

Главное, не перестараться и не прозевать, не упустить воду дна и не растратить клубящуюся паром. Руки чувствуют, как в черной глубине вода понемногу уступает, подтягивается по трубе все быстрее и выше и ударяет в поршень. Пенится, чистая и теплая, на морозе, неровной струей со звоном падает в ведро, а ладонь уже ломит и жжет от холодного металла.

И когда ведро уже наполнено, вода все еще бежит по кругу, с каждой секундой все осторожнее, а у центра, у самого

дна, носятся друг за другом блестящие песчинки. «Наше золото», — говорила мать. Это мы позже узнали, что ту воду нельзя было пить, а мы пили. Да и потом еще пили, пока наконец поселок не снесли.

Дочь ест молча. Это я приучил ее молчать за столом. Маленькими пальчиками она берет маленькие кусочки и отправляет в игрушечный рот. Я хотел бы рассказать ей сказку о том, как у дяденьки была маленькая девочка. Он кормил ее и смотрел, как она ест, укладывал спать и смотрел, как она засыпает. И будил лишь после того, как она выспится. Расставались они совсем не надолго, и лишь для того, чтоб соскучиться посильней, а встречаясь, дарили что-нибудь — яблоко или рисунок, шоколадку или стишок.

Когда девочка подрастет, ее Кашей не похитит, а если похитит, то не Кашей, а если и Кашей, то добрый. И никто не будет друг другу в тягость. По воскресеньям будут пить чай с вареньем, разговаривать или молчать. А если кому-то захочется побыть одному, то все поймут, что надо немного потерпеть, а если кому-то кого-то захочется очень увидеть, все поймут, что так надо и надо кому-то помочь. И будет еще очень много крохотных мальчиков и девочек, веселых и не очень, умных и не вполне, но всем, обязательно всем, будет хорошо.

И был еще пес. Его звали Букетом. Я его помнил столько же, сколько себя. Когда меня забирали, я знал, что он не доживет до моего возвращения. Но тогда мне не казалось это утратой. И вернувшись, я очень скоро привык к его отсутствию.

Каждый кусочек дочь запивает молоком и кукурузит рожницу. Представляю, как ей должно быть неприятно. Время от времени я подаю ей в ложечке яйцо.

Когда звездочка снега опустится на шинель, то может лежать очень долго на жестких шерстинках и не таять. Если на нее подышать или прижать пальцем, то останется или капля, похожая на свинец, или еле заметное мокрое пятно.

Труднее всего было в дни, когда приходили письма, но потом привык.

«Азия, — писал ты, — урюковый рай. Пишу балаханы и арыки».

Что еще можно писать? И зачем?

За колючей проволокой всякая травинка казалась чудом, да и была им, да и осталась, а когда пролетал угод, стрекоза или просто горлянка...

Никак не могу привыкнуть к необходимости после двух шагов по кухне и трех по коридору поворачивать влево, делать неловких полтора и, протягивая руку к выключателю,

другой рукой поворачивать ручку дверного запора. За дверью два шага к детской кровати, три до своей или два с половиной к зеркалу шкафа. От шкафа ровно три до окна, за которым такие же окна противоположного дома. Можно вернуться. Четыре шага до двери, резкий поворот, еще поворот, а дальше все прямо и прямо. Мимо двери в ванную сквозь кухню на балкон, за которым все те же окна. Особенно раздражает полторашаговый поворот. Чувствуешь себя рыбой с перебитым позвоночником. Здесь дочь и жена любили друг друга.

— А я без тебя Букета схоронила. — И все. Они тоже друг друга любили.

Надо понюхать голову ребенку, но не забыть, что алкоголь не способствует обонянию. За балконом ночь, чужие окна и асфальт, который тоже тебе не принадлежит. И слякотный холод. Купать детей в такую погоду опасно в любом случае.

Это напоминает армию, где из двадцати четырех часов твой лишь несколько минут перед сном. За это время мой сосед, прежде чем погасить лампу, успел осмотреть на руках порезы и нарывы и заплакать.

— Матушка, — шептал он в темноте, — что они сделали со мной!

Я молчал. В юности так просто поверить, что только сильным должно принадлежать все.

Он убежал четыре раза к маме, а мы до полуночи его искали на плацу. Однажды меня разбудили странные звуки. Словно молодожены майским утром выколачивали ковер. Он не сопротивлялся. Когда четверо оставили его и, поскрипев кроватями, затихли, он снова заплакал.

Утром с заснеженных гор дул пронзительный ветер. За нашими спинами в огромных тополях ветки громко хлестали друг друга. Голос майора улетал в сторону еще скорее, чем пар изо рта. Мой сосед стоял перед строем и резкие порывы подталкивали его нескладную одинокую фигуру. Мы и без речи майора понимали, что из таких вот маменькиных сынков пополняются ряды предателей Родины. Но на пустыре за каждым валуном уже бились отчаянно ростки грядущего лета. Когда он убежал в последний раз, его не нашли. Но уже потеплело. Перед входом в столовую отцветал белопенный урюк, и после тяжелых сапог исполнять команды оказалось до смешного просто. И судьба моего соседа уже никого не интересовала. А ты писал про Азию, о необычайных цветовых эффектах, возможных только здесь, о планах на наше всемирно известное будущее, и я не завидовал тогда, хотя не сомневался — ты не был слабее тех, кому пришлось отслужить!

Один сукин сын или мальчик-паинька, то ли отчаянный, как идиот, то ли до глупости святой, вдруг очутился в сумрачном лесу. Ему везло какое-то время. Ему повезло ровно

три раза, если не считать везением его появление на свет почти что из ничего. В последний раз ему не повезло. Впрочем, если б он и не выскочил в окно, вряд ли ему повезло бы крупнее. В таких случаях говорят — участь предрешена. Но он до последнего не хотел в это поверить. Или не смог. Надеюсь, так и не успел.

— Тебе понравилось?

Дочь кивает головой.

— А кто?

— Серый Волк.

— А Колобок?

— И Колобок, и Лиса, и Медведь, и Бабушка.

Что же, друг, может, она права? Это нам осталось лишь Зайца жалеть за заячью слабость, да Деда, что рук не приложил.

Великое незнание детей... Извини, я немного добавлю. С тобой было бы веселее, но на двоих нам явно не хватило бы. Так вот, великое незнание детей я мог бы сравнить с твоей песней, вернее, с японской. Помнишь, пел ты когда-то «го-то-го, го-то-го», и голос твой, тусклый и словно тоскующий, напоминал мне стаю диких гусей над черным горным озером. Но если в те годы я еще горных озер не мог видеть и о поэзии победивших японцев не знал ничего, то откуда виденье? Я даже смущался порой, а не врешь ли ты? Может, сам придумал, что видел японцев живых в настоящем плену и то, как они пели? Но почему тогда горы и озеро?

Теперь все это не важно. Врал так врал. Когда мы любили, вралось и легко и уместно, и стеснялось тому, кто сомневался. И прощалось без осадка. Сложнее стало позднее, когда что-то умерло в нас, но в армии я все еще любил.

Я стоял с карабином у КПП. За колючей проволокой растворялись сиреневые тени предгорий. Линии холмов застывали и вязли в морозном сумраке угасающего дня. Так по цвету остывает металл. С шиферной крыши капало редко в загустевшую перед сном воду и почти не плескало. И хорошо было слышать и видеть начало последней армейской весны.

По прямой, утонувшей в потемках дороге плясал свет одинокой фары, почти не приближаясь. И если б в тот вечер вы не приехали, то, кто знает, возможно, я научился бы спокойно наблюдать, как гаснут далекие вершины заснеженных гор, без надоевшей тоски и приступов лихорадочного предощущения радости.

У меня оставалось время представить, как заблудившийся трактор разыскивает правление соседнего колхоза или больного ребенка везут к настоящему городскому врачу. ДТП ли на ближайшей дороге или кто-то из отпускников добирается до части на перекладных, я был спокоен.

Я знал свои действия. Если делать все по уставу, почти по уставу, то лично мне ничего угрожать не могло бы.

И еще, этот свет одинокий был похож на бесконечно замедленное падение звезды, а желаний хватало. Но это были вы.

Оказывается, для такого побитого мотоцикла, как твой, расстояние, измеряемое месяцами изнурительных ожиданий, — сущий пустяк.

— Было бы желание, — сказал ты.

Как я мог забыть о мотоцикле? Она стояла за твоим плечом, красивая до противной дрожи в коленях. Никогда позднее я не видел ничего красивее лица ее и старался не смотреть. То была твоя Азия. Мы смущались, и радоваться встрече становилось все тяжелее. Впустить погреться я не мог. Или мог? Теперь уже не важно. Ведь и вы «на минутку, проездом». Просто ты распахнул прорезиненный плащ, и она легко и с удовольствием вместила в твое тепло, в твое объятие, так обыкновенно, как в ножны входит нож, как ложки, сопряженные касанием по всей длине, повторяя изгибы друг друга, становятся почти единой вещью. Это избавило тебя от желания ободряюще похлопывать по моему плечу.

В том, что ваш приезд совпал с моим дежурством у ворот, нам увиделся знак некий, разумеется, добрый, и мы повторяли «ну надо же, вот это да! кто бы поверил», словно лишь желание испытать судьбу было целью вашего приезда.

Я благодарил. А прощаясь, надеюсь, ты не расслышал, потому как мотор уже ревел на холостых, — я сказал, что очень рад за тебя, и вообще, очень рад, и признание, так трудно давшееся мне, было искренним настолько, что, боюсь, тебе пришлось сделать вид, что ты ничего не услышал.

Пока ребенок пытается снять с себя распашонку, я вспоминаю, что уже обещал себе где-то узнать, сколько должен за сутки съедать ребенок ее возраста.

— Еще сказочку? Хватит с нас сказок.

Когда мотоцикл затих до беззлобного ропота, до ленивого урчания ленивого кота, а пятнышко освещенной дороги все еще долго светилось впереди, я вспомнил, как хорошо нам мечталось. Как били мы твой драндулет по дорогам, навивно считая, что лишь за поворотом, за холмом, лишь впереди, вдали от всяческих примет цивилизации, нас ждет настоящая живопись.

Бензин всегда был под рукой, и мы согревали озябшие руки над бесноватым костром, а красное солнце садилось на иглы антенн, в дым каких-то труб, в лес столбов и скелетоподобных конструкций с блестящими гармошками изоляторов, в ярость взрывов искореженных тутовин с остатками листвы, похожей на уставших птиц, или с уставшими птицами, похожими на неопавшие листья, в грязный след улетевшего самолета. Глупые Ивановы и Левитаны, воткнувшие ножки своих этюдников на окраинах свалок городских, обожатели первозданности, смотрящиеся в зеркала дрожащих

луж, оправленных чернотой и золотом осеннего вечера. Опьяненные сладкой горечью забытого на ветках чернослива и неосуществимостью надежд, картин ли искали мы?

Когда луна взошла, я спросил себя, имею ли право думать о ней? И еще. Приходилось ли тебе отягощаться подобными вопросами? На первое ответов могло быть только два: имею и не имею. На второй вопрос я не мог знать ответа, но предположить, что до тебя она оставалась не любимой, было невозможно. Я понимал — все дело в слове «друг» и в ее выборе. Но почему не ИЛИ? Все дело в слове «друг» ИЛИ в ее выборе. И тогда ответ становится вновь вопросами. Все дело в слове «ДРУГ»? ИЛИ в ее выборе?

Если б ты не был мне другом, то что с того, что сначала она предпочла не меня? А если б меня, то будь ты хоть трижды другом, братом или отцом...

Прав тот, с кем победа, и я победил в ту ночь. Под одинокой луной, при миражном блеске штыка, нагая, как сталь, она меня выбирала... Мы так с ней намучились в прошедшую зиму, бедняги, что нам совсем не трудно было друг друга понять и простить. Ты спросишь, за что? Не поверишь. Ее — за то, что посмела тебе изменить, меня — не посмел удерживать ее возле себя, ради друга. Разумеется, глупость. И все же, какое-то время нам было просто отвратительно как хорошо. А луна стояла над пустыней, окруженная жалкой радугой воров и бездомных, и некуда было уйти.

А потом ты женился. Кажется, в мае. Эту дату ты должен был знать лучше меня.

В начале лета я получил письмо. «Жизнь и только жизнь, и ничего кроме жизни!» — писал ты. Ты хотел себя убедить, что настоящее искусство — это даже не картины. Разумеется, я ничего ответить не мог. Жизнь мне казалась напрасной борьбой с какой-то бездушной центробежной силой, а цель — как можно дальше не сползти за край.

До самой кислой осени, до возвращения моего, тебе не писалось.

Дочь попросила спеть. Когда ей не спится, она заказывает музыку. Она, как и мать ее, слишком часто не может уснуть. Моя мать петь любила и засыпала всегда хорошо. А мать моей дочери когда-то училась в музыкальной школе и песен не пела. Вместо них она глотала таблетку, когда не могла уснуть, но всегда слишком поздно. Пока таблетка начинала свою работу, у нее оставалось время погреть на кухне посудой, поискать что-нибудь в шкафу, запереться на балконе и поплакать «просто так, для разрядки». Или решиться выпить еще одну.

Иногда она включала транзисторный приемник и, если играли, к примеру, Листа, говорила: «Лист, но исполнение не

очень». И если я молчал, продолжала: «Спорим, что Лист?» И если я молчал...

— Ведь ты ничего не понимаешь в музыке. Признайся. Не представляю, как можно жить с таким бельмом на душе.

И тогда я говорил, к примеру, Кабалевский, или кто-то иной, лишь бы ей угодить.

— Да?!— восклицала она, предвкушая мое поражение.— Спорим.

— Кабалевский,— утверждал я, наблюдая ее восхитительное злорадство.

И если в конце программы объявляли, что играли Листа, ее победа на время мирила нас и давала ей повод рассказать о том «незабываемом успехе» на выпускных экзаменах. Но порой ей достаточно было презрения, чтоб успокоиться и уйти. И тогда я вставал, выключал приемник, закрывал плотнее дверь и, закурив сигарету, отыскивал оставленное место на странице.

Между здоровым сном и любовью к пению, вероятно, нет никакой связи. Меня, например, мои песни скорее возбуждают. Но все же так хочется, чтобы дочь моя, хоть когда-нибудь, в каком-то только ее, но почему-то обязательно счастливом, будущем спала хорошо и пела, как птица.

Я включаю ночник.

— Ну и что тебе, птица, спеть? «Солнышко во дворе?»

Да, так оно и было. Деньги с проданного мотоцикла пошли в уплату за старую развалюху — обиталище алкоголика, усопшего в зиму. Во дворе кривились четыре вишневых дерева, и тропинка, естественно, была. Над сараем расцветали маки, а вода весенних гроз, проливаясь из замусоренных желобов под крышей кривого дома, размывала глиняную штукатурку. Дом для любви. Кривой, но высокий забор должен был скрывать от посторонних принадлежащее только вам. Но даже у входа, в щелях запыленных досок, в траве, подсыхающей к полудню, в напряженном гуденье шмеля, настоялся тот бред, еще не испытанный мною, но предвкушением которого я только и мог существовать.

Вишня уже отцвела, и пожелтевшие лепестки лежали на грядках маленького огорода, обложенного половинками красного кирпича, на листьях укропа и щавеля. Или из умывальника вдруг они попадали в ладони вместе с прохладной водой. Или взгляд поражали, запутавшись в волосах совсем молодой еще женщины, словно нечаянная седина.

Я все бесповоротнее становился «другом мужа», «повернутым» почитателем его художнических «приходов», невольным свидетелем их мимолетных объятий и ссор.

Ты был этаким Моди и Нико на русско-узбекский манер, но холстов было много. Всюду женщина, женщина, женщина и твоя неизбывная страсть. Ей было весело видеть смущение мое.

Я говорил о том, что искусство не имеет права быть таким откровенным. Что даже преступно умалять роль духовного в человеке в угоду влечению своему. О преступном воздействии я уже знал не по книгам, ты же — знать не хотел. Оттого и смеялся. Впрочем, все мы смеялись, такая была весна. И лето. И осень. Теперь я не смог бы ее нарисовать.

Зимой пришло время рожать, и мы купили ей несколько плиток шоколада, немного яблок и гвоздик. И еще я купил три астры и попросил написать в записке, что астры от меня. А потом нам нечего стало делать, и мы побрели на базар и купили пару лимонов.

Когда вернулись в роддом, то все еще делать было нечего. Солнце застряло в тучах над горами, но недавний снег все же таял и день обещал быть солнечным.

Через время опять вернулись на базар и купили бутылку крепленого. В стороне у забора мы сразу отпили половину, а другую допивали по глотку, передавая друг другу. Солнце наконец-то взошло. С проводов и веток стали падать ломти удивительно белого снега. От асфальта к небу потянулся пар, и где-то на чердаке, не уставая, мычали голуби. Ты курил, смотрел куда-то поверх чужих голов и улыбался, как школяр в кабинете директора. Я называл тебя «папашей» и хлопал по плечу. К нам подошла женщина с сопливым ребенком и стала ждать, когда освободится бутылка.

— Будешь?— спросил ты меня. Я отказался. И тогда ты отдал ей остаток вина вместе с бутылкой. Но когда мы пробирались к выходу, ты остановился.

— Возьми еще. Если сможешь.

И я взял еще, и мы снова вернулись к забору и отпили еще по глотку. Ты опять закурил и присел на корточки, а я сказал:

— Это плохо, что две.

— Почему?

Я пожал плечами.

— Не знаю. С каждым глотком пропадает куда-то чувство невинности.

— А ты затолкай ее, эту невинность свою, в собственный зад,— сказал ты и отвернулся. Я поставил бутылку на асфальт и ушел.

В начале марта я похоронил свою мать, и тогда вы пришли ко мне всей семьей, и я очень рад был вас видеть. И ты был рад. Я рассказал, как трудно ей умиралось, а вы показали малыша. Она говорила, что мне теперь просто необходимо жениться, и обещала с кем-то познакомиться. Я чуть не заплакал. А когда прощались, она обняла меня. Ты тоже.

— Не теряйся,— сказала она.

— И правда. Что не приходишь?

Ты стоял за ее спиной, и твоя улыбка была грустной. Я не мог не подумать, что вы самые родные мне люди.

Сладкая ты моя, ягодка-малинка.

«Ты и не жил до меня». И до вас. И всегда. И теперь.

Ее увозили в самое горячее время года. Сдох попугайчик, общий любимец. То ли от зноя, по недосмотру, или от одиночества, не знаю. Возможно, всучил продавец старичка умирать, уверяя, что мальчик. Они до глубокой старости все так же зелены, как и в раннем детстве. Они не огурцы. Есть, вероятно, какие-то приметы, но он так мало прожил у нас, что мы почти ничего не успели разглядеть. Я даже не был убежден в том, что это не самочка. И когда заворачивал трупик в газету «Вечерние новости» («Не травмируй ребенка»), почувствовал сердцем, что только ОНА могла быть такой невесомой и хрупкой, такой совершенной в незащищенности своей. Дочери сказал, что улетел. Мы насыпали на блюдечко оставшийся корм, открыли пошире дверцу и стали ждать. Клетка воняла. Я пододвинул ее к открытому окну — «будет мимо пролетать, увидит» — и все ждал, когда жена — «надо клетку помыть хорошо, а то не захочет» — но не дождался. Мама уехала попугайчика искать, говорил я. Такое объяснение казалось не глупым. Пустую клетку повесил за балкон и припасовил вместо пепельницы.

Стояла такая жара. Все немного сходили с ума и лишь дураки не замечали этого.

Дождя бы, думал я каждую минуту, обыкновенного хорошего дождя и будет все нормально. Но небо сверкало, как оцинкованная жесть, город не успевал проветриваться и казалось, вездесущая духота будет длиться до глубокой осени.

Как в осажденной крепости, все ждали снятия блокады, чтоб было время хоть потери подсчитать, но то ли их не счесть, то ли время еще не пришло, иль прошло, только дни заслоняются днями, уходит в безмолвие непережитая боль, и, когда будет лето, когда снова вернется саратон, мы пойдем, что понять ничего не успели.

Лишь пропала возможность попугая ребенку купить, но она о нем уже не вспоминает.

Ночник над ее головой заливает противным сиропным светом шапку мягких, как сон, волос, угол лба и мамины скулы. Я пою райской птичкой о том, что все хорошо. Ты уснешь, я доплю, а утром все будет как было. Из глубины затемненных глазниц смотрят, не моргая, неподвижные, как у куклы, глаза.

— Вспомни мадонн Ренессанса! — кричу я тебе. Ты не слышишь. Когда мягкие косточки вишен обтянуты тоненькой плотью, плодножки кажутся удивительно длинными и голыми, и серебряный ветер непрстойно раскачивает их. Ее грудь начинающей мамы, тяжелая той теплотой, что на грани прохлады, ощутимой даже для глаз, ослепительно белая, светит розовым отблеском солнца сквозь упругую укропную веточку голубого сосуда, всплывшую вдруг из та-

инственной глубины,— постоянно в движении. У травы так печет. Руки влажные и чужие. От запаха краски горячей, дамарного лака и пота кружится голова. По ее напряженным бедрам заструилась, стекая в прохладную землю, моча ее сына. Ты смеешься. Она убегает. Чуть пониже купальника ярко-малиновый след от долгого сидения на скамье.

Лишь у дверного проема, через плечо, ее взгляд, которого не замечаю. И мне хорошо от того (ведь дружба превыше), что не увидел почти ее страшного взгляда («Когда ж ты поймешь, дурачок?!»).

А ты все смеялся.

Я малинку не в роток, не в роток.

Я малинку в кузовок, в кузовок.

Но дочь не улыбнулась. Неприятно видеть, когда она смотрит вот так.

Однажды с нами под вишней сидела серьезная странная женщина с веером и под вуалью. Красивые черные туфли казались нелепой обузой рядом с твоими голыми ступнями и рваными тапочками твоей жены. За свои разбитые сандалеты мне было и скучно, и грустно. Говорили о родах, абортках, сечениях и положениях плода. О килограммах, медсестрах, любви и о том, что мужчины с приветом. Она ушла, оставив пару ползунков и погремушку, и потом уже никогда мы не вспоминали о ней. Возможно, она и была той самой знакомой, с которой меня обещали познакомить.

Лучше спою я тебе про орла, кукла Барби. По крыльям тоска должна бы тебя пронять, но кто знает? Кто знает, что видится ей, когда я пою «сiju за решеткой»?

— Тебе спеть про орла?

Она молча кивает. Я боялся, она не захочет слушать. Я показал ей орла в зоопарке, и, разумеется, зоопарковый, вышагивающий в вонючей клетке по собственному дерьму, не мог быть похожим на настоящего, воображенного ею. Здесь уже ничего не поделаешь, друг. Вот и ты, перемазанный краской, ежеминутно вздымающий руки к потолку, все больше был похож на зоопарковского.

— Я не понимаю!— кричал ты.— Почему мне нельзя делать то, что предназначено природой?

Мне надоели интеллигентные разговоры. Кому предназначено работать у станка? А если вам хочется именно красками, то краски извольте делать сами.

— И вообще,— встречаю я, чтоб тебе же было не скучно,— кто право имеет решать, есть талант у меня или нет?

Ты удивлен и смотришь, словно увидел впервые. И лишь через время, уже спокойнее и словно стараясь сгладить мою бестактность:

— Ничего. Как-нибудь. Мы еще повоюем. Но если он все-

таки есть, то нельзя же его использовать, как грелки и клизму! Как снотворное. Как противозачаточное, наконец!

«Больное общество всеобщего лицемерия».

«Здоровое общество всеобщей конкуренции».

Ты думал, друг, свобода выставляться избавила бы «Азию» твою от необходимости мыть чужую посуду по вечерам. Я тоже так думал. Но меня уже ничто не избавит от мастерка и полутерка. Я чужой, отупевший и лживый, и пьяный настолько, что если б не горячее касание джинсовых ягодиц жены твоей, то давно бы ушел из твоей провонявшей норы и выблевал в снег эту грязь, и весь этот вечер, и самого себя.

А орел все машет руками. Маленький, жалкий, но мертвечины еще не евший. Я не орел и во мне никакого сочувствия. Обобществленный труд за обобществленный хлеб и никаких орлов. Да, вот еще тепла совсем немного, обобществленного, так близко, хоть руку протяни.

— Ты думаешь, не купят?— И чуть позднее, гремя под столом бутылками:— Развести бы костер да спалить. Ты даже не представляешь, как можно ненавидеть эту гору картинок.

Ничего, думаю я, как-нибудь и эта ночь подойдет к концу. Мы всегда забываем, что все проходит.

— На центральной площади,— предлагаю я.

— Не надо.— И длинным прокуренным пальцем перед моими глазами:— Площади здесь ни при чем.

— Жги, где хочешь.

— Нет. Не путай меня. И не смотри так. Моя работа ничего к площади не имеет.

— А сам? Имеешь?

— Имею.

— Тогда себя.

Ты встаешь и смотришь в мои глаза с той долей брезгливости, с какой смотрел бы в банку с керосином, хотя самоожжение не самый приемлемый вариант. Но боюсь, что оно уже состоялось. А так как прошло незамеченным, никому не приходит в голову заинтересоваться твоими холстами.

— Просто никто никому не нужен,— говоришь ты спокойно.— Никто никому.

Я почти согласен. Если ты мне не очень, то представляю — насколько я тебе.

— А ты мне подари,— говорю я, улыбаясь.

Я не могу так долго улыбаться. Я боюсь не выдержать, провалиться или убежать, но ты протягиваешь руку.

— Спасибо,— говоришь ты, и я пожимаю ее. Излишне порывисто и почти лаская, но что делать? Вероятно, я действительно рад. Наконец-то мы вместе. Осталось еще раз пересмотреть холсты, убеждая себя и «прочих» в невозможности появления чего-то такого в прежних твоих, тогда как в последних нечто иное, уже вот оно, есть. И улыбаться. Улыбаться так, чтоб тебе казалось, что это ты отвечаешь на восторженность мою. Только и всего.

А потом проснется она и выгонит нас. Ее неприязнь неподдельна, оправдана и привычна. Мы выйдем во двор, забеленный тончайшим слоем предутреннего снега. Прилипая к теплым подошвам, он оставляет черные следы. Две строчки к дереву, на верхних ветках которого еле заметные плоды перезревших вишен, расклеванных и клеклых. Чуть выше звезды.

— Надо же! — говорит кто-то из нас. — Страшно подумать. Этот свет... Миллионы лет... А мы здесь... Именно здесь и именно мы... Страшно подумать.

Моя дочь не спит. Все оттого, что жена приучила ее засыпать рядом с собой. «Я знаю, как трудно уснуть никому не нужной»... «Я не хочу, чтобы она, засыпая, чувствовала себя не родной». Понимаю. Страшно подумать. Но после того, как вторая таблетка сделает свое дело и когда уже нет больше сил разговаривать в темноте, ее профиль, голубой и чужой, как меловая гора в летнюю ночь с легким пришептыванием листы или моря, с густой и прозрачной тенью у сомкнутых век, у висков, туго вплетенной в волнистые локоны, с тенью скулы, спадающей водопадом в мягкое тепло шеи к уютной ложбинке, в которой, я знаю, едва припадешь к ней губами, пульсирует кровь, совсем рядом, словно родник...

Это неправда, что мешает уснуть сознание одиночества. Мешает надежда одиночество преодолеть.

— Спасибо, — говорил ты, закрывая калитку. — Заходи.

О подарочных холстах забылось легко, как и о кострах на площади. Да и не все ли равно, у кого они занимают место? После бессонной ночи страсти по живописи столь же бредовы, как и горячее прикосновение жены твоей, как наше уже успевшее надоеть выяснение отношений, как дружба, достигшая той степени откровения, за которой уже ничего не смогло бы ни продолжаться, ни начинаться вновь. Когда по беспокойству невидимых птиц в невидимых за фонарями ветках я догадался, что новый день наступил, стало вдруг ясно, что не бред — лишь старый побитый, бессчетно перекрашенный автобус. Он единственная реальность этого часа, уже где-то влечит по переулкам свои понемногу согревающиеся внутренности. И какие-то странные тени, еще не вполне позабывшие свои сны, уже заполняют желтый продрогший мрак сотрясаемого пространства. Набиваются, сминая своим присутствием желто-черные, лишь бликами на эмали обозначенные лучи, теснятся, невольно прижавшись друг к другу, молчат. До самой дальней стройки, огромной, заснеженной и голой, и такой неуютной — молчат.

Они — бесталанные, мозолями своих неудавшихся жизней согревающие бетон — давно доказали, что главное — уснуть не опоздать, потому как проснуться — всегда дело случая. Тебе же казалось важнее не потерять надежд.

Вон сколько ты наподчеркивал ногтем в описаниях

творений Якопо Сансовино всякого такого, что могло бы тебе помочь.

«В то же самое время он выполнил для мессера Джовани Гадди великолепную мраморную Венеру на раковине».

Представляю, как это тебя вдохновило, тем более, что рядом почти о тебе:

«Он был белолиц, с рыжей бородой, а в молодости очень хорош собою и приятен в обращении, почему нравился разным женщинам, даже в высоком положении».

Правда, на твой век вполне хватило и одной, и даже с избытком, но откуда ты мог знать, когда подчеркивал. А вот это ты почему-то не подчеркнул...

«Честь он ценил превыше всего на свете, поэтому в делах своих был человеком честнейшим и хозяином своего слова, и такой чистоты душевной, которой он никогда не поступился бы при любых, даже самых важных обстоятельствах, что, впрочем, не раз испытали на себе и его начальники, которые за это и за другие его качества видели в нем не столько протомагистра и своего исполнителя, сколько отца и брата, почитая его за отнюдь не притворную доброту».

Видишь, как хорошо бывает? Женщины начальников и честь, и начальники, испытывшие на себе не раз и прочие другие его качества. А тебе не хотелось женщин других? Или должности протомагистра? Ты бы смог полюбить прилично одеваться и соблюдать свою особу в величайшей чистоте — так как до глубокой старости, возможно, тебе и удалось бы продолжать любить женщин, беседовать о которых очень нравилось и Якопо Сансовино.

«В мраморе ткани у него были тончайшие, отлично положенные, с большими и малыми складками, выявляющими как одетые, так и обнаженные части тела, младенцев же он изображал мягкими и нежными, лишенными тех мышц, которые бывают у взрослых, и с ручками и ножками мясистыми ровно настолько, что они ни в чем не отличались от живых. Выражение лица его женщин было ласковым и обворожительным и как нельзя более естественным».

И никого с врожденными уродствами. Особенно хорошо про женщин. Это не твои сине-бело-красные создания, в которых, словно в пробирках, ты смешивал похоть и чистоту. И что с того, что где-то, местами, получалось красиво, где-то порой нащупывалась суть? Разве не ты искромсал ту гармонию, что добилась чести висеть на стене, когда твоя Азия, твоя натурщица и вечный прототип, оставила тебя?

Нет, мой друг, когда мне невольно, я стараюсь представить женщин, заселяющих этажи с выражениями лиц ласковыми и как нельзя более естественными. И не важно, насколько я верю в то, что представляю. Важно выжить. Почему бы тебе не рисовать только то, что я представляю, когда мне невольно? Ты не добился бы протомагистра, но уж правом пользоваться центральным отоплением тебя не обделили бы.

Бог с ней, с любовью знатных женщин, но твоя судьба, твое вдохновение, спасение и оправдание твое могло бы и не уйти к замзаву отдела бижутерии. Ты бы мог перечитывать Вазари, вспоминая, почему когда-то подчеркивал именно то, а не это место, смотреть, как в свете окна твоего, подобно паукам на паутинках, опускается медленный снег, как магазин, отдыхая от низких страстей и досужих сплетен, в полглаза дремлющий, опутал себя чутким нервом тревоги в надежде сберечь свою гастрономическую неприглядность. А завтра, если нам повезет и немного подсыпет, то, поскрипывая полуобморочной голубизной, в строжайшей тишине и трезвости, ты мог бы вспомнить меня или хотя бы то время, когда тебе еще не надо было меня ненавидеть, когда за тобой по снегу тянулась цепочка следов, такая же, как и моя, а не та, что потом: пятно подошвы и две дырочки костылей чуть впереди, пятно подошвы и две дырочки костылей чуть впереди, пятно подошвы... и так до конца.

В какой-то момент возникает потребность увидеть жизнь такой, какая она есть на самом деле, или хоть сколько-нибудь приемлемой. Это не одно и то же, но тут ничего не поделаешь. Необходимо выбрать, но ты предпочел отказаться.

Когда дочь начинает плакать, я никогда не знаю, действительно ли это живые слезы или каприз. Впрочем, когда плакала ее мать, я этого тоже не мог определить. Если казалось — каприз, а я продолжал настаивать, он легко переходил в живые слезы. Если были слезы и я уступал, они легко заканчивались капризом. Боюсь, между нами закончится тем, что я дам ей таблетку. Разумеется, не всю. Дочь-наркоманка! Какой же отец пожелает? Но должны же мы наконец хоть как-то расстаться? Ей пора отдохнуть... Да и мне. Даже если я знаю, за что меня ненавидеть можно, — отдохнуть, — а я знаю за что. Это было так просто.

«Здравствуй». — «Привет». — «Сколько зим». — «Сколько лет». — «Как ты?» — «А как ты?»

Что же в этом плохого?

— Муж? — засмеялась. — Какой? Второй или третий?

Я тоже смеюсь. Так бывает. Словно в обрыдлой психушке слегка повернутый некрофил встретит вдруг нормального веселого человека. В то время она перемогалась достойно между четвертым и пятым. И погода стояла — ты должен был помнить такое... К утру, пока все спали, шел мелкий серый дождь, до обеда все сверкало на ветру, подсыхало и раскачивалось, и то ли от регулярности и частоты повторений, то ли оттого, что все бубнили о демократии, словно клятву никогда не брать чужого, а на перекрестках в полуподпольных изданиях утверждалось право каждого на полноценное совокупление, но дожди казались почти не кислыми, природа обновленной, а всякая личность благородной и в меру предприимчивой. Закатное солнце лампадным светом лас-

кало суровые брови туч и начинающие предсказатели объявляли, почти не рискуя, словно о насморке в следующую зиму, «ночью снова будет дождь», и он действительно был.

И всякое утро, когда переезжаешь мост, слева у горизонта — горы, а под мостом — крыши уютных вагонов, умытых перед дорогой. Невольно, как в детстве, подумаешь: «Вот бы что-нибудь вдруг!», но так и не придумаешь, что.

Наши отношения, возможно, в память о тебе, не носили, поверь, следов меркантильности. Да, я дарил ей всякую мелочь, но лишь с той все извиняющей долей уважения и великодушия, с какой она позволяла себе ее принимать. И если бы не инфляция... Ты ведь знаешь, как трудно расстаться с тем, что вчера ничего не стоило, а сегодня уже не у всякого найдется возможность приобрести. Ты даже представить не смог бы, во сколько теперь мне обошлась бы единственная ночь без одиночества. А когда-то мы даже скучали вместе. Она гениально скучала. Пожалуй, только скука и не тяготила ее. Впрочем, и на портретах умницей ее не назовешь. Но когда ее кто-то хотел обмануть, а она не хотела быть обманутой, следовал взрыв такой исключительной силы, точности поражения и немыслимой изворотливости, что мне всегда приходилось поражаться своему незнанию ее. Я и теперь не знаю ее более, чем знал когда-то, да и ты не знал, да и она знает не хорошо. Фигура? Да, фигура. Вроде той, что для фонтана «Отчаянье» похотливого монаха Монторсоли с безмолвным якобы криком, застывшим на мраморных губах, и в движении выигрышном ровно настолько, насколько театральном. Это мы с тобой знаем, что отчаянье только статично и даже портреты твои статичны, хотя до отчаянья было еще далеко. В ней же больше движения, чем на портретах. Ее имя Марина, и если б случилось ей своим отчаяньем поукрашать какой-нибудь фонтанчик, да так, чтоб в выигрышном, она б преодолела свою лень.

Странно, что с тобой мы никогда о ней не говорили. Как-то все разумелось само собой. Ну, когда-то терпела нужду, работала ткачихой, родила, работала посудомойкой, пообтерлась, стала устраивать свою жизнь. И когда доходили слухи о следующем муже, достаточно было сказать «зачудила», и становились понятными и ежегодные любви с повышениемми в служебных лабиринтах, и болезненное пристрастие к нежным кожам и особо пушистым мехам. А спросить у тебя, как это так получилось, что твоя неразумная «таитянка», неотступная «Пятница» твоя стала вдруг едва ли не капитаном единственного корабля, способного спасти тебя, если б не цены на билет, я так и не решился.

Вечерело. Ты чистил туфли вонючим кремом. Сквозь черноту буйной зелени светилась нежная мякоть заката. Синие носки (о, холостяцкие потуги определиться, находя вещам место) подсыхали, ущемленные синими прищепками, словно два синих зайчика, левый и правый, правый с правой ноги, левый с левой, несмотря на стирку. Через время их пришлось носить по очереди, но тогда ты говорил: «Физиология». Вспо-

минал гигиенические походы двух друзей где-то в Арле. Улыбался. Гремел пустым умывальником. Сверял свое настроение с часами. «Может, так оно и лучше? Какой я ей муж?» На кухне хозяйственного мыла подсыхала пена. В тазу всплыли хлопья. Мне разделить твой досуг не предлагалось. Я представлял твою прыть в непросохших носках и светлом пиджачке под «битлов», таком старом, что я успел забыть о его существовании. Все нормально, говорил ты, снова заметив испачканные кремом пальцы, смотрел на часы, гремел пустым умывальником, а синий «жигуленок» уже накручивал первые километры свои, и кто-то улыбался в нем, волновался, говорил «все нормально» и радовался везению своему. И даже в больнице — «что ж теперь... так получилось» — ты продолжал убеждать — «хорошо, что она не ввязалась» — и я тебе верил. «Да, действительно, трудно, когда связывает отсутствие ноги».

Частный несчастный случай, только и всего.

Беру нож. Ставлю точно посередине. Мне очень хочется, чтоб получились две аккуратные половинки. Мне этого так хотелось, что закон пакости не мог не вмешаться. Таблетка раздроблена на множество неравнозначных частей. Самый большой кусочек чуть меньше половины, а с третьим по величине — чуть больше. Такая маленькая, противенькая, внутрененькая борьба. И всегда словно кто-то смотрит. Со стены голая она. Стул с гнутой спинкой — ты его явно придумал, синяя грудь безучастна к свету за спиной, глаза, уверен, закрыла только что, чтоб хоть как-то скрыть присутствие свое. А за дверью, открытой в палящее марево полудня, горный хребет, горячий, как свежее мясо, как бред каннибала. Ее отстраненность опасна, как и вера в безопасность всего, что остается после нас.

Осторожно пододвигаю к краю стола самый большой кусочек и третий по величине, и еще совсем маленький. Только чтоб не пропал. Такие цены. Оставшийся второй не дотягивает и до трети, но я еще ничего не решил. Когда дочь запивает эту гадость, я говорю: «Бедная, тебе необходимо отдохнуть».

Лишь на губах, в круге соска и у подмышек, там, где предплечье в прикосновении к телу оберегает тепло, сохранился намек на желание. Я и теперь убежден, стоит ножом полоснуть — из-под кожи разъятой проникнет в комнату свет раскаленных горячих углей, расплавленным золотом прольется, обожжет и ослепит. Такой вот фокус. Когда я клеил заплаты, вполне убедился в обратном: паутина, изнанка и пыль. В это чудо и я не удержался вложить персты, но оказалось, в жизни она более профессиональна, чем талантлива, и ленива, как всякий недостойно оплачиваемый профессионал. Впрочем, в любви у всякого свой опыт. «Просто терпеть не могу всякую упущенную возможность, — сказала она. — Даже каприз. Ведь что-то все-таки было». А твоя неприязнь, как и твои холсты, — твое личное дело, друг. У меня и к ней, и к тебе тоже есть собственный счет. Это она нас простила

так же легко, как забыла, но когда я видел тебя где-нибудь возле метро или на остановке, в блеске солнца, разбитого о витрины, в суете и сверкании глянца разноцветных машин, в толчее нервного ожидания, то казался ты мне несправедливо укороченным и беззащитно неподвижным. С костылями и приколотой к поясу штаниной ты был очень похож на дерево без ветвей. Есть такие деревья, изуродованные в целях экономии пространства для троллейбусных дуг, для улучшения обзора или черт знает для чего еще. Остается думать, раз деревья обрезают, значит, это кому-нибудь нужно. Ты стоял, и во взгляде, как на лице слепого, лишь тоскливое предчувствие столкновения.

Те дни, когда я видел тебя, были наиболее невезучими. Я ожидал неприятностей, и они случались. А если и нет, чувство зыбкого благополучия оставляло, и каждая клеточка организма, подобно губке, напитывалась тяжелым ощущением бессмысленности всяческих усилий, отвратительной тесноты отношений, кретинизма пристрастий и надежд. Если в такие дни я приходил к ней, а в такие дни мне особенно хотелось ее увидеть, то кроме как поплакаться был ни на что не способен, а она не любила ныть.

Впрочем, ты знал, что она любила. Еще она любила лежать с телефонной трубкой. Бывало, я оставлял ее без конца говорящей о делах, которые меня не касались, о людях, которых я не знал, о женских проблемах от цвета губнушки до акушерских адресов, и уходил, облегченный, не зная, с кем из знакомых ей было так интересно провести наш вечер. У нее, тебе не в пример, всегда при себе ее мастерская, и наковальня, и молот, и непрокуренные меха. А призвание и признание — словно как два крыла у птицы, рожденной для полета, раз уж мы о счастье. «Жизнь и только жизнь!» — Разве это не ты говорил? В такие дни я приходил туда, где она хоть как-то продолжалась. Где все занято чем-то, хотя бы ожиданием бесплатных перемен, когда все, наконец, будет честно чего-нибудь стоить. Свободно. И даже любовь. Это тебе в женщинах нравилось то, что купить невозможно, но платить — обошлось бы поскромней.

«Страшная штука, жизнь», — говорил Сезанн, а мы его жалели.

Один мой знакомый... Нет. Пока дочь спит, надо выпить. Немного. Самую малость. Я так долго ждал, ты представить не смог бы, как я ждал этого разговора. И пока вроде все хорошо. Разве не так?

Однажды я еду... День серый такой. Снег тает сам по себе, без дождя и без солнца. Лежит и тает. За окном все дома и дворы, чьи-то заботы, белье на веревках, гаражи и аптеки, на балконах корзины, коляски, детские корыта, тазы, голые стены, антенны, чьи-то заборы. И вдруг мне подумалось: может, чувство несчастья — это лишь болезнь? Завелся, скажем, вирус... Впрочем, глупо, пожалуй. Но тогда я почему-то обрадовался. Вдруг там, за таблеткой, обман, а здесь — болезнь по поводу жизни. А если это просто вирус, которого необ-

ходимо в себе уморить, как тараканов на кухне, то кто бы смог поручиться потом, что чудная радость в душе — не последствия их распада? Хорошо бы, пожалуй, убедить себя в том, что все, тобой видимое, не мнится. Но, надо думать, такое чудесное средство будет не всем по средствам. Кто-то воспользуется возможностью видеть жизнь полноценной в течение суток, а кому-то халтуру толкнут раз в пять лет, и он тоже почувствует вдруг непреходящий смысл.

Я приехал к тебе. Глина, снег и огромная лужа. Земля начала проседать. Венок не украли тогда, а теперь и подавно. Бетонный столбик покосился, но я поправил его и номер переписал. 387 или 2, или 68. Посидел на мраморе твоего соседа, подумал. Ты уже не в последнем ряду, а летом тут будет неплохо. И вообще, что теперь, раз нескладно все так получилось? Уже и то хорошо, что ты сделал так, как хотел. Все хотели бы так, только жалко, конечно. Ушел с середины и не досмотришь теперь. Впрочем, все не досмотрят. И еще я подумал, хорошо бы тебе памятник поставить. Долги усопшим продлевают жизнь живым конкретностью поставленной цели.

Красками портрет — естественно, отпадает, а мрамор и гранит — никогда не пробовал. Да и спутают: или с героем труда, или с вором в законе. Помнишь, был холст? На черном фоне в банке с прозрачной водой безнадежно живые ирисы. И трепетно, и мощно, и так похоже на тебя. Повторить ты не смог бы, да и не смог. И не сможешь. Можно было б наклеить на металл, застеклить, замуровать в камень... но тогда я еще не знал, что дом твой снесли, как и мой.

Когда я пришел, оставалась одна из вишен. Там, где стоял твой сарай, котлован под фундамент нарыли, там, где дом, раскатывают асфальт.

А тополь... Ты помнишь, тополь рос у соседа? Его спилили у самой земли, а он так ничего и не понял. Отгородился новыми побегамися ото всех и рад, лысый черт.

— Ну что, старый? — спросил я его. — Пора?

— Пора-то пора, да уж место больно хорошее.

А и верно, хорошее место было. И обидно, что только теперь, когда все позади, стала так нестерпимо понятной банальнейшая из истин.

«Знаю, как ты жил». — Какое глупое утверждение. Как она знать могла, когда и мне это не сразу открылось? У тебя было больше шансов предугадать мою жизнь в супружестве, если б она тебя интересовала. Впрочем, если ты знал о моей так называемой «женитьбе», то этого знания вполне хватило бы, чтобы сказать «знаю» и больше не думать о нас. А может, и знал? И то, что всегда избегал с нами встречи, вполне подтверждало мое опасение. Каким-то глубинным чувством ты, вероятно, предвидел, что ожидает нас, новую ячейку общества, лучше, чем я и она. А так обидно! Мне-то хотелось убедить тебя, что смогу.

Временами овладевала мной изумительная уверенность в собственных силах. Толика уважения от зарплаты до зарплаты разве невозможна? Без этой уверенности я разве решился

бы доказывать что-то тебе или себе? Впрочем, и уверенность могла быть болезнью или одним из симптомов. А если допустить, что «знаю, как ты жил» вовсе не средство унижения, если она действительно знала, каким-то десятым чувством прозревала, то получается — я один среди вас идиот.

Только и я ведь предчувствовал что-то. И я сторонился, ты помнишь, взгляда твоего. Разве легко мне было сказать, как тебе мало осталось.

Впрочем, пустое говорить о предчувствиях. Лучше начать с того, чего ты не знал.

Просто поле, представь. Просто поле, примерно как то, где мы когда-то писали этюды.

— Не бойся цвета,— говорил мне ты.— Не бойся цвета...

Пространство оранжево-красной земли, которое еще недавно было кукурузным полем. Теперь лишь желтые корневища торчали впереди могил. И начиная всякую новую могилу, люди, сгибаясь, вырывали руками корневища из разбухшей от влаги земли и бросали немного вперед. Бросали туда, где еще якобы поле. А когда обрубков, похожих на мохнатые члены мужские, набиралось слишком много, их уносили в сторону через дорогу, в кучу сделавших свое дело лент, венков и прочего мусора. И когда эти кучи становились слишком большими и если позволяла погода, их сжигали, потому что и за дорогой предполагалось копать могилы.

Но в тот день их невозможно было бы поджечь. Они сочились влагой дождя, начавшегося еще при твоей жизни. Еще когда ты затягивался дымом сигареты и свежестью сырого утра, то не мог не заметить, что вот и еще одна зима позади. Скоро в серой осклизлой мути противоположного берега проступят из небытия едва различимые бело-розовые пятна цветущих урючин и желто-зеленого тала, и голубизны, непонятно откуда в такую погоду взявшейся, словно сошедшей, как сон, необъяснимой и непохожей ни на что действительно голубое.

Она возможна лишь несколько дней в году или даже часов. Сначала она лишь мнится взору, полному судорожного предчувствия торжествующего обладания ею, а потом, еще какое-то время, раздраженный осязанием глаз ищет ее приметы, но все более тщетно. Словно дикие гуси над озером. Были, и вот уже нет.

Когда цинк стола уже не охлаждал твою спину, а мы, твои друзья, почти ничего друг о друге не знавшие, курили под дождем и пробовали голоса на сострадательность, а с веток падали какие-то чернявые ошметки соцветий какого-то дерева, мы старались не думать о весне. Нам казалось кощунством думать о весне, которой для тебя уже не наступит. Мы думали, за сколько и как уговорить старуху выбрить твои щеки. Но ничего друг другу не сказав, так ни на что и не решившись,— ведь время якобы еще позволяло,— мы сговорились, втайне друг от друга, оставить все как есть. С изрядной долей приличествующей случаю озабоченности мы гово-

рили о размере гроба и замеряли ящик и тебя, проявляя деликатную деловитость. О том, что с ногами двумя ты бы не уместился, никто не решился сказать.

А в машине, пока тебя везли, все держались за край целлофана, распростертого над тобой, по которому дробно стучало, — словно некую клятву даем. Когда воды набралось достаточно, кто-то предусмотрительный и предусмотрительное одетый, опуская свой край, сливал дождевую воду на дрожавшие в такт твоему лицу доски автомобиля. Мы же, согласно и торжественно даже, ему помогали. Возможно, ты и посмеялся бы над нами, но согласишься — это неплохо, когда есть хоть какой-то ритуал. Остается повторить то, что делают другие, не опасаясь подвергнуться осуждению.

Согласно ритуалу и наконец-то вслух было заявлено, что ты подавал большие надежды, но преждевременная кончина... и так далее. Никто не возражал.

— Надо смело признать, — сказал предусмотрительный, — он у многих стоял на пути. — Но дальше пошли такие тонкие намеки, что я так и не понял, то ли талант твой кому-то мешал, то ли ты сам, то ли дом твой. За сим распрощались. Чья-то жена заплакала.

Под дождем у всех лица словно в слезах, а воды на земле и на небе было так много, но в могиле особенно. Замусоренной и холодной воды. Не верилось, что окунувшись в нее, можно ничего не почувствовать. Не закричать.

А она так и не пришла. Да, ее действительно не было. Я же, поддатый, тоскливый, мокрый и совсем никакой, не мог не прийти к ней. Мне хотелось рассказать, что ноги у тебя действительно не было. Ты лежал такой одинокий на металлическом столе, какими бывают даже не все покойники, какими все мы бываем, когда устаем кем-то быть, беспомощными и настоящими, как дети. А ноги просто не было, как у всех чего-нибудь нет, но она не захотела слушать. Она прогнала, и я долго бродил по улицам, не смея пойти в детский сад. Мне думать хотелось, что дочь мою взяла к себе воспитательница, или нянечка, или кто-то еще, и теперь, где-то там, ей наконец-то и тепло, и весело. И еще я хотел узнать, может ли повесившийся умереть от кровоизлияния в мозг, но она не захотела слушать. Она скорбела. Смотрела в черное окно и скорбела, а потом прогнала.

Дома я открыл бутылку, которую носил с собой и пил, едва отступала тошнота. Но успокоился, лишь когда убедил себя в том, что твоя кончина послужила ей поводом окончательно избавиться от меня, а ее связь со мной — избавиться от тебя, а твоя неприязнь ко мне — от нее. Мое же участие в ваших жизнях было глупой попыткой доказать и тебе, и себе, и ей какую-то степень моей самоценности, какое-то право быть собой, участвуя в вас, потому как где же и в ком я хоть что-нибудь стоил бы? И когда, наконец, я убедил себя в этом, у меня уже не было сил раздеваться и расстилать постель, не было смысла вставать из-за стола.

Снег за окном все падает и падает в черноту. Незамет-

ный и серый, как пепел, но единственно живой в неподвижности опустившегося города. Холод середины ночи уже не в силах прогнать усталость. Если б не знать, что постель совершенно пуста, если б не темный балкон с потолком, едва подсвеченным дежурным светом уставшего от шуршания ног магазина, то пора бы уснуть и мне. В конце концов, завтра все с начала. Ни плохо, ни хорошо. Обыкновенно. И если бы не свет за спинами святых, в котором чем дальше, тем все зримее являешься ты, почти до осязания живой, можно было б забыться. Вероятно, глупость.

Мы сидели на рельсах, был вечер бесцветен и тих. Шиферное небо смеркалось над бетонными этажами. Ты говорил о душе. Под откосом лежал оскалившийся труп высохшей собаки.

— Видишь, летают стрижи?— спрашивал ты, а их было много.— А за рекой, над домами?

И над домами я видел стремительные комочки прожорливых тел, взрывы крыльев, слышал крики жестоких атак. — А еще? Напрягись. Ты и дальше их должен увидеть. Ты же не можешь сказать, что дальше их нет?

Теперь такой прием побудил бы меня усомниться, но тогда мне казалось, я видел очень далеко. До дальних окраин города, до, за смогом, гор теплый воздух пронзали едва различимые прочерки их полетов. Бесконечное множество живых отлавливало бесконечное множество обреченных. И то ли чесались глаза, то ли небо само, перестав быть серым пространством, зудело, чесалось и ныло, как уязвленная плоть. И это наваждение развеселило меня. Оно сделало понятным вечное небо и временный город под ним, и тебя с травинкой в зубах, и на дерне колючем собаку, и я рассмеялся. Не от того, что случайное открытие могло вселить радость. Можно ли радоваться тщете? И все же, что-то необъяснимо красивое, как и в твоём «го-то-го», было в открытии том. Возможно, надежда.

Это японцы так пели, говорил ты. Их проводили каждое утро через поселок. Они то пылили, то месили грязь, одинаково серые, одинаково униженные и опасные, чужие, словно раса инопланетян, они пели о чем-то своем, словно оставляли завещание.

Теперь их действительно нет. А их непонятное пение осталось откровением, когда-то тебя изумившим. Теперь нет и тебя.

Я возвращаюсь в спальню. Включаю ночник. Из-под кровати, со шкафа достаю все то, что от тебя осталось. Можно повесить на дверь старый халат жены. Разбудить дочь. Немало ли на двоих? Но как трудно далось и это. Хочется думать, что в жизнях чужих мы значим значительно меньше, чем когда-то хотели.

Дочь не пошевелилась. Свет ночника стекает по воску запрокинутого лица, по припухшим векам неподвижных глаз, отвернувшихся в никуда, по виску, как у мамы ложбинкой, в которой, я знаю, бьется пульс. И сердце! Такое малень-

кое! Стучит и стучит. Совершенно одно. Напряжение сердца, напряжение света, напряжение тишины.

Утром я очистил сапоги от кладбищенской грязи и убежал на работу. Вот и все. Работая, можно не думать. Все так же томились толпы на остановках. «Лишь бы успеть». Мчались автомобили. Через дорогу, бегом, катились коляски с детьми. «Лишь бы успеть». Брились, писали стихи, рожали, ругались, мирились. Мы так долго стремились выжить, что забыли зачем. Вот и запаха ее не осталось. Или я притерпелся. Забыл? «Ты знаешь, а ведь все это — сон». Складки халата поражены дистрофией. Дебиловатые кружочки еще напоминают, что ты и сама не любила этот халат. Мы согласно его не любили, но шанс еще одного примирения уже упущен.

— Представь.— И обводит рукой полукруг, замедленным жестом разъединяя нас.— Просто сон.

— Я где-то читал...

— Ну при чем здесь читал? Написать можно все, что угодно.

В сумраке движение руки оставляло едва заметный след и его хотелось потрогать.

— погоди. Ты мне веришь? Ведь это... Ну, перестань, просто кошмар...

Ее затуманенной таблетками голове, возможно, и кажется все сном или даже кошмаром, а мне предстояло в нем жить и через четыре часа.

— Прочитала в газете, на дорогах погибло чуть меньше, на пять человек, представляешь? Но ожидается резкое похолодание.

— А тебе не снилось, что и меня могут переехать?— говорю я, хотя и понимаю — теперь ее не остановить.

— Остается или переломать машины, или признать, что личность — ничто, в сравнении с иллюзией комфорта.

Ее жесты манерны, как у спившейся преподавательницы младших классов. Даже если я знаю, что это ее бесконечные комплексы мешают ей быть естественной, все равно за собой замечаю желание ее перещеголять. Мне не хочется позволить считать себя дураком даже на ее территории. Впрочем, моей территории для нее просто не существует. И потом, меня не оставляет подозрение, что весь этот бред о проблемах НТР всего лишь подленькое вступление к разговору о самом главном.

— А большинство идиотов решают, куда надо было вернуть эту, как ее, баранку!

Даже изображая водителя, она не может без отвращения прикоснуться к воображаемому рулю.

— Другие прикидывают, насколько надо увеличить штраф для пешеходов-нарушителей. Ну, правильно! Кто же рискнет совать голову под колесо, если за риск придется платить дороже?

Я молчу. Я уже знаю, что будет.

— Ну, а последние, среди которых и ты, да-да, и ты, вооб-

ще ничего не думают. Они говорят «такова реальность». Их травят колбасой, а они — «такова реальность». Их детям разглаживают извилины, а они...

Меня всегда поражала ее жестокость.

Но это уже слишком! Словно не ей нужны были ясли, «чтобы шедевры создавать». И потом, я не смог бы представить воспитательницу более ненормальную, чем мать моего ребенка. Да и где она смогла бы работать? Кто стал бы ее слушать всерьез?

— Дураки!— кричит она и топает ногой.— Это не реальность! Это ваше тупое самодовольство!

Похоже, скоро она заплачет.

— Кроме больных, все живут нормально,— говорю я.— А многие счастливы даже.

— Счастливы?!— она смеется. О, как смеется она! Если бы только у нее была способность слышать свой гадкий, совершенно искусственный смех!

— Счастливы! Держите меня! Что вы знаете о счастье? Из вас счастливые тот, кто врет с большим наслаждением! И когда ты лапаешь меня, ты врешь! И не кури мне в лицо. Ну? Что, пугаешь? Счастливчик. «Граждане, будьте осторожны!» «Минздрав предупреждает». «Не стойте под стрелой!» Идоты.

— Умница,— говорю я, стараясь быть спокойным,— тебе не кажется, что я дурак лишь в том, что столько лет кормлю тебя и твоего ребенка?

Она словно в стену ткнулась и сжалась вся. Мне всегда было очень стыдно уличать в воровстве. Стыдно и ей. Я почти жалею о сказанном. Вот и еще один вечер окончательно испорчен.

— Ничтожество,— произносит она по слогам.— Как твой язык не отсохнет?

И только теперь я понимаю — ей стыдно лишь за меня. Это я и только я настолько отвратительная сволочь, что мне ничего не стоит резать по живому и рубить. И чтобы доказать ей это, я протягиваю руку к ее лицу и бью по щеке. Не больно, а так, как бьют, когда хотят очень обидеть. Бью и пугаю взметнувшейся от удара головы. Пугаю ощущения ладонью бесконечной, почти детской слабости ее и своей беспомощной силы. И потом, словно обрадовавшись непоправимости случившегося, словно мы на разных берегах, полноценные, свободные, как когда-то, но уже пережившие боль,— я кричу ей, будто прощаясь, что это она виновата. Да. Только она. Будь у нее в голове ли, у сердца, или хоть где-то хоть какое-то чувство живое, она бы смогла. Ведь это так просто. Ну, пусть не совсем, но хотя бы хоть сколько-нибудь сделать нашу совместную жизнь хоть немного возможной.

По трубам отопления застучали соседи.

— Мне так надоело все,— продолжаю я шепотом,— я так ото всего устал,— говорю я и удивляюсь открывшемуся вдруг признанию, догадываюсь, что давно боялся этих слов в себе, всегда готовых объединиться и всплыть, и сделать то, что страшнее пощечин, страшнее, чем все потерять.

— Я так ото всего устал, что ничего, кроме презрения к тебе, к себе, к ребенку, за наши грехи рожденному в эту да- вильню, во мне не осталось.

Она стоит и плачет. Через время я ищу свои спички, а она включает свет. А когда мы находим их на полу и я снова прикуриваю, она свет выключает. Затягиваясь, я замечаю, как противно дрожат мои пальцы, а дым заметен лишь у потолка, в опостылевшем свете магазина, уснувшего до 8.30.

В баре однажды подошел колченогий старик и сел за мой столик. Из старой авоськи достал самодельный нож, две лопатки, ломоть колбасы. Руки сложил, как отличник за партой, и смотрит за спину мою, словно знает ответ, но ответить еще не решается. Я пью пиво. Стояла такая жара! Через время приходит сынок, долговязый, в отца, и приносит две кружки.

— Может, мало?

— Посмотрим, — отвечает старик.

— Колбаски отрезать?

— Отрежь.

Пену сдул, отхлебнул, пошамкал, потряс бороденкой...

— Неплохо.

— Тебе бутерброд или как?

— Можно так. Пиво пей.

— Да. Неплохо.

— Я лепешку свою отмочу.

— Отмочи. Подсохла немного.

— Как же нет, с утра по такой-то жаре.

— Ничего.

— Посидим. Отдохнем. Ты покушай.

— А ты муху сгони.

— Что?

— Сгони.

— Да ну ее, муху.

— Я отрежу еще.

— Отрезай.

— А ты пей.

— Спасибо сынок, я допью.

— Так больно здесь, — говорит она и показывает на грудь. — Так обидно, что ты меня никогда не понимаешь. Я молчу.

— Если б ты хоть немного меня понимал, — говорит она тихо, — мне было бы легче тебя полюбить. Понимаешь?

Подходит. Склоняется надо мной. На лице полосы света, искривленные стеклом. Узнать почти невозможно. И если б не голос, если б не долгий вздох бесконечно усталого человека... Прерывистый... Едва слышный...

— Ты ведь знаешь... Я так старалась всегда. Поверь. Другие любят и все, или не любят.

Я смотрю на распахнувшийся халат с глупенькими кружочками, на скорбную белизну застиранной рубахи и меня подмывает завывать, безоглядно, беззлобно, по-волчьи.

— А знаешь?— шепчет она, приближаясь к моему лицу и ловит руку мою в тот момент, когда я хотел поднести к губам сигарету.— Давай поклянемся только правду всегда говорить. Ага? Одну только правду?

Я чувствую, ее рука еще не просохла от слез, и вдруг понимаю, они — кисло-соленая смазка меж веком и оком, только чтоб видеть не больно,— были совсем недавно еще живыми слезами нормального человека.

— Ага?— говорит она и поднимает руку вкатить мне шелобан.

Я держу ее за запястье, а она смеется.

Потом меня часто будил этот смех, и тогда я обещал навестить ее. Иногда мне казалось (все веселей), я смог бы к нему привыкнуть. Иногда я был вынужден ее навещать. Она все еще боялась умереть. Однажды, когда я ехал к ней, встретил твоего сына. Он стоял на задней площадке с какой-то девочкой. Разумеется, мы сделали вид, что не узнали друг друга.

Го-то-го, го-то-го. Было бы просто смешно, если бы ты вдруг вернулся признаться, что о японцах наврал. Слишком привык я видеть город, в котором родился, их глазами. Разве не глупо? Впрочем, что я мог о них знать? А теперь и о городе? Вижу лишь стены и снег, да чугунную метку колодца. Лепестковое небо устало сползает на край. Так рабочие по ночам возвращаются в новое завтра. Скоро и мне. Часа через два или три я разбудю свою дочь. Придется пообещать снежную бабу в следующее воскресенье. Дети любят снег. Сбегая по лестницам, я обниму ее крепко, а она прижмет к лицу. Я говорить ей устал, что, не видя ступеней, мне очень просто упасть, да к тому же упасть на нее, не понимает. Наши следы пересекутся с другими, чужими, чьи-то чужие пересекут мои.

Не опоздать бы. Не проспать. В автобусе можно забыться. Когда очень тесно, можно расслабиться и закрыть глаза. Можно увидеть тот снег на постеленных матерью половицах, яблоню или собаку, или тяжелую дверь. И тогда пять часов, что меня отделяли когда-то от возможности ее приоткрыть, вдруг покажутся такими ничтожно малыми, хоть руку протяни.

Или пригрезятся девочки две на сверкающих роликах. За руки взявшись, съезжают они по гнутым, уклонным дорожкам весеннего парка. Все дальше и дальше. Мимо стволов забеленных, застывших в прозрачной течи, мимо желтой скамьи у эстрады с веселым оркестром и с мелодией в такт свободным движениям подруг, в такт волос колебаньям и ветра порывам, серебряным, как струи родника.

Они срывают юное тепло разгоряченных игрою тел и уносят. Растворяют, растворяют и растворяют в хрустальной прозрачности дня.

Там, где Адам впервые встретил Еву,
наверное, остались до сих пор
река, песчаный берег, косогор,
направо — лес, а хижина — налево.

Раскинулось ветвями за забор
то самое губительное древо,
и во дворе готово все для хлева:
коровы, жерди, гвозди и топор,

отточенный до блеска камнем гладким.
А под окном — картофельные грядки,
а рядом конура, где пес лежит —

он так устал, Адаму тщетно лая,
что у калитки блещет костяная
гребенка, оброненная Лилит.

Твой создатель

Жена была прыщавой, тощей.
И по утрам брюзжала теща...
И вот однажды, втихомолку,
задумал он тебя! Как долго,

над бюстами Неронов горбясь
по государственным тарифам,
хотел желание и голос
вдохнуть он в мрамор из Коринфа,

очередной заказ исполнив
и выйдя к морю, где до ночи
натурщицами стыли волны,
тобою голову мороча,

Галина, Гала... Галатя,
он был, наверное, из пьяниц,

тот скульптор, что ваял, потея,
щеку под будущий румянец,

под кружевной чулок — колено,
и, по тебе уже тоскуя,
наплывы губ лепил из пены
приснившегося поцелуя.

И с каждым месяцем все реже
с заказами по бездорожью,
ворча, к нему на побережье
спускались знатные вельможи.

И с каждым днем все холоднее
метались ветры. И раскосым
монголом крались в Пиренеи
дожди. Заканчивалась осень...

О, эта ветренная слякоть
с жасмином душным в изголовье.
Осталось только лишь заплакать,
чтоб погубить тебя любовью.

Такое столетье: не беды, не просто невзгоды,
а нечто другое, зловещее непоправимо.
Сонеты пишу лишь с учетом политики Рима
и выгнав про то, что в Лос-Анджелесе непогода...

Казалось, последний рывок, и уже удалось бы
расслабить поводя, напиток, вокруг оглядеться,
но все упирается в клятвы, проклятья и просьбы,
и все продолжается тщетно, и некуда деться...

Любить это стало как верить, а верить — как драться.
На сладостном этом, на этом мучительном свете
стал скучен Гомер... Что Гомер, непоняты Гораций!
Такое столетье, а кажется, тысячелетье...

Море

Когда утихнет шторм очередной
И в день рожденья выпить будет не с кем
Я плюну на сто тысяч срочных дел
И не приеду вечером домой

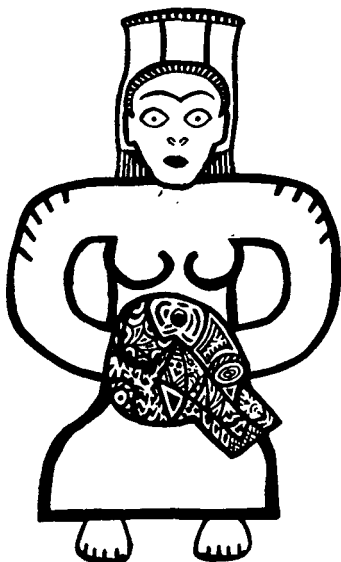
По Гринвичу в семнадцать сорок две
Попутный вертолет поймав на Невском
Я наконец уеду далеко
С деепричастной чушью в голове

Останутся из множества вещей
«Онегина» сплошные многоочья
А с набережной пальцем погрозит
Мне на прощанье бронзовый Кашей

А видел ли, а провожал ли ты
Случайных туч нечесаные клочья
С желанием немедленно засесть
За рвущуюся из груди латынь?

О, слышать не трамвайный грохот утр!
О, видеть не расчетливые руки!
Конечно, будет выплачен сполна
За это океанский перламутр.

Когда я не вернусь к себе домой
Когда я буду сам с собой в разлуке
Когда моих друзей не будет здесь
Когда утихнет шторм очередной...



Графика Евгения ДАНИЛОВОЙ

Из цикла «Каденция»

Осень. Петергоф

А я? И меня ждет та же судьба?
Да. И меня ждет та же судьба.

ГИЛЬГАМЕШ.

Кто-то скажет тебе что это только засохшей листвы
шуршанье под твоими ногами
Кто-то подсмотрит в сумерки из-за стекол темных
набежавшие слезы дворца
И только ты в аллее бредешь с взглядом угасшим
от омертвевших в нежной груди и теплом лоне очарований
этого мира
Все было обманом послушай меня оторвись от боли своей
на минуту
даже тогда когда сердце стучало отвечая
росту суставов
С раннего детства гнетущая плоть прорывается потерями
семенами крови
Так мы от смерти спасаем себя
забываясь друг в друге

Гораций. I. 17. 22—23 (парафраз)

лесбосское
с его небуйным, легким хмелем

пер. О. РУМЕРА

Утром проснуться от белизны
наметенного снега
и нести и понемногу терять в воздухе зимнем тепло
нашего ложа
Что же в ответ преподнести подарок какой
жертву ли
этому миру?
Видишь? вот и мгновенность его кинула нам
завершив поворот
щепоточку счастья
в «еще одну» осень в любовном тепле на повороте
старенья
нас не обманет приветливый бог с крылышками
на нежных ступнях
Черный костер
сталь одиночества
тук варварских нравов
И только «небуйный легкий хмель» горацянских
размеров
осушит ресницы
Только вот это только мы сами друг с другом только
служба
в вечернем соборе

когда мы заменим свой мир я
я обязательно увижу сон долгий и белый я
я белый саркофаг и лебеди и вода я
я оказавшийся волшебный после молитв священника я
я и книга которую не читал никто со странным я
я названием «Игра в классики» и ночь я
я о ком мы забыли и я
я «Плач» Мальмстина и луна чем-то я
я напоминающая монашку и она сидящая я
я скрестив ноги бледная как сахар я
я растаявшая в моем стакане и конец сна я
я как добрая сказка по имени Смерть я

декабрь, 1992

туман —
моя роскошь: дозволено все
можно не стыдиться за вид внешний
а о внутреннем мире не может быть и речи
хотя все дозволено
одна одежда на всех
невозможно раздеться
зато ходить в музей голым
допустимо вернее это норма
туман —
в молодых стенах музея висит клочок неба
наверное именно этот кусок Пустоты любил Альтдорфер
хотя скорее всего это рисунок
Великого дурака которого зовут Дали
возможно «Зеркальные»
туман —
я слышу шаги-отсутствие Эхо утомляет
я теряю кайф-зрение
все вижу в белом —
истина в том что это не туман
а стих написанный ангелом на лбу
жалкого жаркого зимнего дня — АЗИЯ

зима, 1993

сидим
как ни странно нет ясности
она отсутствует со времен Клеопатры
можно говорить на любую тему
нельзя
пока императрица Осень не наденет
белый белый белый белый белый белый (бракованный диск)
халат

молчим —
мы рыбы — возможно золотые волшебные
вероятно
ждем своего часа ждем желаний
не чувствуем усталости
и страха именуемых смертью
нас не убьют причина
она больна к сожалению
к счастью
болезнь бесконечности и
ясность отсутствует как Дельфин среди пустыни

лето, 1993

ПОЭЗИЯ И МЫСЛЬ

И я говорил вам об этом:
ни произведений, ни языка, ни речи,
ни рассудка, ничего.

АНТОНЕН АРТО

I

Понимай мы (продолжай мы понимать) под мышлением акт представления представления предмета либо ряд логически непогрешимых, под стать операциям в математике, суждений, схватывающих мир в его присном присутствии, то есть оставайся мы в территориальных водах классического дискурса под флагом Самоочевидности или Трансцендентального Означаемого, нам было бы легче легкого вменить исключительно в заслугу поэзии неуклонное уклонение от репрезентации.

В поэтическом произведении означаемое бесконечно откладывается на потом, и слова, как написал в «Птицах» Сен-Жон Перс, теряют значение свое на пороге блаженства (этот порог блаженства — головокружительное преддверье чистой длительности, несвершаемый апокастасис, апокастасис без Апокастасиса, продлевающий себя в отсутствиях и проблемах в невозможное потусторонье): безусловно так. Тем более так, когда становишься свидетелем скрупулезнейшего и строжайшего анализа, как то демонстрирует начиная с Малларме новейшая поэтическая практика, собственных оснований и стратегии, анализа, продвигающегося в самом пространстве поэтического письма. Однако, как помыслить поразительное сходство в речевом движении лирического высказывания (у того же Малларме) и высказывания спекулятивного, на что еще Адорно обратил внимание?

Поворот от искусства рефлексии к рефлексии искусства и искусством, на его же территории и его же оружием, афиширует новый статус поэтического текста, точнее, новый суверенитет сферы поэтической: отныне центр ее всюду, а окружность нигде. Этот поворот пролегает в истории Запада, то есть он историчен, как исторична сущность поэзии и сущность мышления. Каждый настоящий поэт, поэт настоящего, заново устанавливает сущность поэзии. А мыслитель? Послушаем Хайдеггера, чье вопрошание остается, несмотря ни на что, непревзойденным: «Поскольку мы воспринимаем сущее в его бытии, поскольку мы, выражаясь языком Нового времени, представляем предметы в их предметности, мы уже мыслим. Таким образом, мы мыслим уже давно. Но все-таки мы мыслим еще не по-настоящему, пока остается непомысленным то, на чем основывается бытие сущего, когда оно является как присутствие» («Что значит мыслить?»).

Мысль безмолвия кличет забвенное, свет отсиявший.

Что есть мысль? Что есть поэзия? По-прежнему вопрос ослепляет меня. По-прежнему ослепление бросает меня к письменному столу, ввергая в ясновидение нечто, несказуемое. И по-прежнему ради того только, чтобы однажды и я, на исходе жестокого знания, исполнился до краев тьмой этой ночи. Поэзия мыслит не-мысль.

II

Как же не постараться тому, кому нечего сказать (ибо исчерпано и скудное время, время богов сбежавших и бога не Приходящего: удвоенный недостаток), начать говорить и, в силу самой невозможности, выразить эту немочь, эту нехватку себя.

Раз-личие единит. Исток мысли и поэзии — немислимое. Ничто. Но мыслитель спрашивает: почему есть нечто, а не ничто? Но поэт говорит, пряча глаза за той же ширмой: дайте мне перо и бумагу — и я сочиню вам учебник истории или священный текст, подобный Корану и Ведам; и, действительно, он сочиняет космогонию и мораль, теологию и короля Франции, и идиота-шута, позвякивающего траурными колокольцами всеобщего будущего бесчестья. Может быть, своим происхождением поэзия обязана (здесь и сейчас) некоему непреодолимому изъяну мысли, аффекту, что восхищает меня у меня самого. Только в поэтическом акте, только в усилии бессильного что-либо выразить письма я могу возникнуть как тот, кто только и может возникнуть не иначе, как в утверждающем себя акте письма. Тавтология, которая способна свести с ума. В разрывах проистекает речь, несворачиваемая, как больная кровь: головокружительная у-трата. И ни произведений, ни языка, ни речи, ни рассудка, ничего. Но отсутствие, дыра, холодное страдание, без образов, без чувств, которое как неописуемый толчок выкидыша. Схва-

титься с велеречивым спазмом за тень листа, за поверхность присутствия.

Морис Бланшо пишет о «казусе» Антонена Арто, о попытке несказуемым; что претерпевал, желал претерпевать этот деспот экстаза: «С глубиной, даруемой ему опытом страдания, он знает, что мыслить — это не иметь мысли, и что мысли, которые у него есть, лишь заставляют его чувствовать, что он не «начал еще мыслить»... Он как бы дотронулся, вопреки себе, совершив волнующую ошибку, чем и вызваны его крики, до точки, где думать, это всегда уже и не мочь еще думать...» («Грядущая книга»). Здесь, где предельное страдание входит в предельную нищету мысли и затопляет, уничтожая физическую субстанцию того, кто мыслит, всякое домогательство большего, мы вынуждены умолкнуть. Потому что... потому что кто же еще осмелится кричать столь громко осмеянным и немым ртом, когда входит слово н и к о г д а (Введенский)? Мысль помыслила свою поверхность.

Что экстаз (поэтический или мысли) связан с этой невозможностью помыслить, что есть глубина мысли, вот истина, которая не может раскрыться, «ибо она всегда отворачивается и вынуждает его испытывать себя ниже точки, где он ее на самом деле испытал бы. Это не только метафизическая трудность, это и восхищение болью, а поэзия и есть постоянная эта боль, она есть «тьень» и «тьма души», отсутствие голоса, чтобы кричать».

MISSENT TO JAKARTA

РАССКАЗ

0.

В самом начале, чтоб интересно было читать дальше и вообще по всем голливудским — которых никто не назначал, откуда и невозможность обойти их, — законом нужно сделать что-то такое, что вызовет Восхищение, Доверие, Восторг, Ужас или Все Что Угодно — ну хотя бы о д н у из этого ряда открытых эмоций в первые семь минут происходящего — на экране, на бумаге ли: на чем угодно, бывшем белым вот только что, начавшем на ваших глазах заполняться некими знаками, еще и неясно — стоило ли это делать, выползать из родных двух измерений, бесконечно милых сердцу собственной окончательностью, в немыслимое третье — толщину букв, стрекот аппарата, наивно замысловатые заглавные и высокомерно, напротив, разборчивые строчные; загнутые уголки страниц, у скрепленного ржавыми скрепками основания которых без восторга обнаруживаем темный круглящийся волосок, или ислешшего мотылька, и уж хочется захлопнуть книжку в том самом месте, где время и пространство совпали, некогда став смертью легчайшего существа, приконченного рослой с «хвостом» девицей, имеющей терпение только в своих дурацких, грубых шутках (и ни в чем более), заставляющей нас пожимать плечами и слабыми блеклыми губами в ответ на вымогаемый ею гогот...

В размышлении — стоило или не стоило высовываться, приподыматься из небытия, я и застаю вас на исходе второй минуты, чтобы вдарить этой самой штуковиной, не будь которой, вы бы разочаровались в искусстве современности, позволили бы себе с чрезмерной — вы заметили, смутившей тогда собеседников именно этим, смысла сказанного вами они не поняли вовсе — горечью отозваться об этих нынешних, а заодно и о — абсолютно не этого ожидали, сейчас газеты гораздо интереснее, кто бы мог подумать, а? — так вот, я перехватываю рукоятку поудобней, изящным рывком

головы отделяю прилипший к шее от волнения воротничок — и говорю вам Правду:

Я уж и не хотел писать ничего, когда садился к столу, честно.

Ау — вы слышите? Вы еще здесь?

Ну так вот... Обожаю предисловия.

1.

...два чувства (два отпечатка пальцев судьбы, на сей раз обошедшей, во избежание пошлой рифмовки, без п е р ч а т о к на узеньких, не знающих усталости руках душительницы-заики, и это счастливая случайность для меня) не удалось мне изжить вместе с желанием биться о белый лик бумаги, как муха в нежно-пыльное оконное стекло,— и вот первое.

Толстый слой краски «железный сурик», покрывающий длинные продольные трещины в перилах деревянной галереи нашего дома — а некоторые и он, всесильный, не в силах перекрыть — холодит мои локти сквозь хлопчатку полосатой пижамы. Я стою рано утром на галерее, гляжу вниз, во двор обыкновенного тбилисского дома, во двор, покидаемый моей сестрой Соней — как раз в эту секунду покидает двор ее огромная задница, громоздко драпированная складками и сборками и при ходьбе распространяющая гул церковной тишины — то ли гудит задница сама по себе, то ли это одобрительно гудят вслед Соне, армянке, чувствительные тбилисские зеваки. Она, кажется, горда этим. Соня добрая девушка — наверное, оттого молодые люди — ее приятели — так похожи, по-моему, на небольших черных кровососов, наполняющих к вечеру комнаты — когда уходят молодые люди, до лестницы сопровождаемые Соней и н и к о г д а д а л ь ш е лестницы — я, с терпением ждавший их ухода, оглушенный собственным пульсом, закатываю широченные штаны неизменной пижамы, подаренной мне Соней шесть лет назад к Первому Мая, сбрасываю куртку — на мне майка-сеточка (свежая каждые два дня) — я в носках забираюсь на стол с двумя свернутыми в трубку — по одной в каждой руке — газетами и бью! бью! бью! их, подлых тварей, чужой кровью марающих стены нашего с Соней дома.

На это уходит совсем мало времени — полминуты, может. Потому, что через минуту возвращается Соня, собирает еще теплые стаканы со стола — и пол крашен «железным суриком» — а я, еле удерживающий дыхание, изо всех сил гашу телом дрожь панцирной сетки, на которую бросил себя с размаху за миг до ее появления — я спрыгнул прямо с этой этажерки, на которую, когда живы были папа и мама, ставили вазу роз. Соня говорит — я не слышу, мои руки за спиной — там сжимают они крест-накрест две газеты.

Соня вешает на прямую спинку стула мою полосатую куртку, спрашивает — я молчу, прикрываю глаза — и она поворачивает выключатель, свет гаснет, я говорю мечтательно: «Три удовольствия есть на свете...» Соня взрывается:

«Замолчи!»

Мы спим.

А меня звать дядя Миша — мне сорок семь лет, и я тоже похож на черное кровососущее — больше, чем все они вместе взятые, эти бездельники. Я немножко ненормальный — могу, к примеру, выйти к окну — в доме только у нас с Соней есть окно на улицу, потому что у нас вообще две комнаты анфиладой — я могу высунуть свою седую голову и крикнуть, оплевывая длинный и узкий — фамильный — подбородок: «.....,! Ай-яй-яй!» — двум хорошо одетым и изящным дамам, они заспешат, я похихикаю вслед, сосредоточенно урюно крупную каплю слюны, желтой из-за больших десен, прямо на мостовую под окном, за которое нас все ненавидят — и скроюсь.

Или выйду во двор, посмотрю кривясь в небо — оно всегда мне кажется белым — хорошо, когда пролетит аэроплан, а потом, к примеру, говорю:

— Американцы — дураки.

И потом, помолчав:

— Канадцы — тоже.

А они все так слушают меня внимательно. И начинают думать об американцах, хотя половину минуты назад каждый в вечернем моем дворе был занят своим делом, стараясь не обращать внимания на подчеркнутую бесстрастность дяди Саша, громко вслух читающего очерк Вадима Кожевникова в «Известиях», как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем после смены в литейном, в пять утра, зашли выпить чаю к Ивану Иванычу, там уж все ждали одетые: самовар, чай с сухариками; перевели дух, порадовались за свою счастливую рабочую судьбу, да и отправились пешком в избирательный участок — первыми чтоб проголосовать за Него, за Отца, за Иосифа — в шесть утра. Дяди Сашин еврейский акцент смешил всех, он не мог без чтения вслух, и читал с балкона каждый вечер, и каждый вечер наши добрые глупые люди смеялись над неправильностями его ударения в самых неожиданных местах — когда прислушивались — он мог прочесть: «...вскóчили на ходу...», грамотные все в нашем дворе — слава Богу, единственного сумасшедшего — меня — обмануть невозможно: дядя Саша издевался над тем, что выбирал для чтения вслух (это были «очерки», как правило).

А потом они заговаривали о канадцах.

А я стоял на галерее в моей любимой позе — опершись локтями на перила, тряся треугольной головой, играя костлявым задом.

Я ждал Мишу. Я же сумасшедший.

Дядя Саша думал, что перехитрил всех — даже самого Иосифа.

Он по-вашему — нормальный?

2.

Мой тезка — Мишка.

Он вообще-то младше меня, не помню уж на сколько, и

давно не живет в нашем дворе — Мишка. Но я ощущаю острыми локтями неумолимость «железного сурика» (человек от т у д а, с трогательной тщательностью счищающий с черного кожаного плеча невинную птичью какашку, остановился для этого — а вокруг толпа, все идут, и никто не знает его, а он знает каждого и никогда не носит с собой наградной «смит-вессон» — Сурен Акопович Махччян, «Железный Сурик»... У него золотое «вечное перо» во внутреннем кармане и золотой зуб в отрезвляющей глубине зевка профессиональной бессонницы), я слышу, как скрипит лестница под ногой — идет Мишка. Лицо его блестит от вечного слоя сала на нем — они из князей, эти Г., но и у молодых князей в восемнадцать лет случаются прыщики на лбу. Неделя назад Мишка поступил учиться на актера, и в тот же день, вечером, у овального зеркала торжественно сбрил четыре десятка мягких волос на подбородке и на шее — он удивительно неволосат для грузина, вообще же гибкий, изящный, подвижный; теперь он позволяет себе и являться под утро домой — я не думаю, что он это самое где-нибудь — не похоже, просто сидит с товарищами.

Я слышу, как он поднимается по лестнице, и так представляю все себе, что и не гляжу на него — вот он ступил на галерею, увидел меня, тут же маету и торопливость сменил на независимую поступь, пошел не спеша — смотрит, я неподвижен — опять ускоряет шаг, пробегает мимо меня — думает, я задремал, все-таки полшестого утра — хороший мальчик, но неталантливый, как мне кажется; а теперь будет артист, будет хорошие роли играть, мы будем смотреть.

. Закрылась за ним дверь. Миша-Миша — ты просто типичный любимчик, какой острый глаз разглядел в тебе ЭТО — способность нравиться? ЭТО — и еще твое чувство того, что все это — временно, и будет благополучие, слава — пока нету, п о к а. Это же главное, что нужно знать о жизни. И не впадать в панику никогда. К примеру, я тоже знаю э т о — про жизнь и про то, что будет все нормально, хоть я и ненормальный (я на самом деле ненормальный, хотя и притворяюсь иногда н е н о р м а л ь н ы м), но я дошел до понимания э т о г о за свою достаточно долгую нормальную жизнь — почти нормальную. А он э т о знал всегда.

3.

Сейчас доподлинно известно — за ним следили — а с того момента, когда Михаил Чиаурели решил, что Г. (три Михаила в одной истории!) будет исполнять роль Иосифа Сталина, за ним следили так, что он знал, что за ним следят... Что прикажете делать в этом положении? Повсюду он следовал в живом каре — два и два. Его переселили в лучшую квартиру, мать с сестрой Лекой уехали в Цхалтубо — Лека выиграла две путевки в лотерею. Это была ужасная осень. Если он не выходил из квартиры — являлись электрик, водопроводчик, почтальон, по ошибке звонили в дверь; по телефону милый женский голос мог часами интриговать, воркуя —

«Мишико, Мишико...!» — и в конце концов неожиданно узнать — «Ах, вы же не Суцкевер? Что же вы сразу не сказали, а я звоню — Суцкеверу! Извините... Бога ради...» Они не могли оставить его одного. Выдав себя за Вождя, он мог наделать делов, понимаешь. «Наделает, понимаешь, делов» — несколько раз прозвучала эта фраза между ними — один раз, когда он покупал цветы, двое позволили себе забегать в туалет на другой стороне улицы, где, справив нужду, поправляя штаны после, произнес эту фразу тридцатидвухлетний полтавчанин и в ответ ему угукнул широкоплечий мингрел. Никто из мочившихся не обратил на них и на то, что сказал «русский», внимания, и они двинулись к выходу на улицу (вспомни, сознайся они себе хоть на мгновение в том, что читали Библию, они бы поняли, что так себя, должно быть, чувствовали ангелы Господни, бредшие сквозь Гоморру).

Потом мингрел вернул эту фразу белобрысой трамвайной вожатой — до этого они случайно улыбались друг другу, а ему захотелось сказать ей что-то такое — хорошее, в смысле «одно дело делаем — ты по-своему, мы по-своему», в гордой невозможности хоть на миг бросить к чертям то, чем они были заняты — ради самих себя: задрожал узелок на связующей их нити — связавший две их нити — сентябрьскими паутинками полетевшие друг другу навстречу взгляды... Здесь Мишико сошел, прыгнул с площадки, чуть подвернул ногу, Григорий подхватил его локоть, мингрел, прежде чем сойти, метнулся, скользнул глазами по сунутому в щель путевому листу, отыскивая фамилию, и нашел: «Барклай».

Было несколько дней, когда Миша вдруг занервничал, перестал бриться — конвой был утроен, всего приходится ожидать от человека в таком состоянии. Все обошлось — вечером его пригласили к Чиаурели, тот встретил его в костюме кофе-с-молоком, в свежей сорочке с отложным воротничком, на пороге приобнял за талию, потащил в глубь квартиры, в сумерки, в темноту, усадил на диван в своем кабинете...

Из квартиры Чиаурели он вышел уже гладко выбритым.

Полтавчанин перевел дух — он был добрый человек, он порадовался за Мишико: «От же ж хлопцу привалило...»

Мингрел пытался вспомнить — где же он слышал фамилию эту собачью — он учился в Москве — и так он для памяти пометил белобрысую фамилию: отвалилось, отпало все другое — трамвай, вожатая, розовый ноготь — г д е?

Задумчивый взгляд его упал на лобовое стекло старенького «паккарда», и оттуда улыбнулся ему Приходько, другой полтавчанин, сразу принял с места, развернувшись, подкатил к ковьявшему куда глаза глядят Михаилу, распахнул дверь с его стороны...

4.

Я безумно люблю кино — действительно безумно: кино питает мою фантазию, берет ее в сладостный плен, и я у м и р а ю, когда приходит чувство, что видения мои, мой

бред — к а к к и н о; так редко это случается... Чаще эти мерзавцы и мерзавки не хотят приобретать видимую форму, оставаясь, таясь по набитым домашним зажитым мхом углам, досаждая голосами, отбрасывающими тень на заднюю стенку совершенно пустой головы, но и это — не в и д е н и е, а болезненное щекотание затылка изнутри; голоса; их эхо.

Другое дело — когда я в и ж у, различаю сукна, прилипаю глазами к лаковым поверхностям, атласной коже тел, оживают стекла; я совсем не герой видимого мне одному фильма, я предмет, лежащий на письменном столе в соседней комнате, злорадно осведомленный обо всем — а оттого злорадство, что никто не подозревает моей осведомленности и того, чем она для них чревата.

Кажется — те, кто пишет, порой боятся этого, расхожих кинокартин, стремясь к созданию беспредметно возникающих ощущений. Не знаю — я не писатель, однако мне очень нравится сходство моих снов наяву с уже виденным, будто Я создало мои сны, а не они — Его. Кажется — самое сходство придает им какую-то ценность, нужно же кому-нибудь скучное кино, на которое они так похожи.

Когда пытаешься облечь эти непрозрачные размышления в словесную форму — откуда ни возьмись, является в слова сонм шипящих, жужжащих звуков, свистящих (слова со свистами) — сперва свистом они будто помогают видимому, и я принимаю с радостью эту помощь, но вскоре жужжание, его вибрация разрушают изображение, рассыпается в прах и мыслимое, и я с болью пытаюсь слышать за проклятым шумом, его глухой стеной хотя бы ненавистные, неотвязные тихие голоса — они не молкнут.

И я — не умираю.

5.

Итак — передо мной картинка. Из двух образов, стремящихся совместиться друг с другом; обшитого дубовыми панелями кремлевского кабинета, с лампой и с абажуром в виде сильно сжатого барабана гонок по вертикальной стене, вознесенного на высоту черно-мраморной ногой, упертой в зеленую жаркое сукно мемориального стола — по сей день никто не отваживается сдвинуть его хоть на волос; и борисово-мусатовской гаммы дачи, со своевольно отнесенным легким креслом, бледными стенами, вымытым садом, хорошими белыми лицами внимательной прислуги между темных стволов — наверное, выберу второй. Да — второй, дача. Долой остальные, пусть — два. Пусть — один.

Они, конечно же, встречались, мир этот населен слабыми людьми, тираны не составляют исключения — но они не должны были встречаться! — по законам чистоты жанра. Один должен был слабо интересоваться, смотреть готовую картину, лениво высказывать пожелания, по горшине наполняя экранный свой образ чертами героя, запомнившегося еще с семинарских лет, из неподъемного Плутарха и осиленного Тита Ливия; другой — читать, видеть, выслушивать всех и вся,

курить по ночам, давая ломотой в затылке, потроша «Герцеговину флор» — и сыграть все же Его — да так, что зритель срывала с мест катящаяся от экрана волна, с треском аплодисментов рвался от одного Его взгляда ковер черного драпа, усеянный мужскими и женскими головами, и замирал на первой Его реплике: (ну подставьте любые слова: «Маргарита, я люблю Вас...» или — «Я ведь вас предупреждал, товарищ Николай...»)

Еще: конверт с фотографиями — четырьмя маленькими — четыре проекции голого человека, небольшой конверт. И большой — много-много плотных картонных листов, прорыв в неблизкое будущее, маленькая выставка авангардной фотографии 60-х, очутившаяся в 30-х неопознанной в Его руках, удерживаемая цепко — листы появлялись один за другим, на каждом выделена расплывчатая темная кривая линия, полутонами скатывающаяся к краям. На некоторых линии двоились, на других — закруглялись, или обратно, расплзались морщинами, вольными завитушками, складками, отдельно стоящими точками — тело Мишико, разрезанное на сорок восемь квадратов, пронумерованное (1А, 37Г) по углам, буде возникнет желание сложить на кремлевском ли паркете, на «дальней» ли травке всю фигуру — нет, желание такое не возникнет. Увеличение было столь крупно, что половые органы занимали четыре квадрата 50×50 см, и Иосиф не сразу взял в толк — что же такое в его руках, тем более что фотографии были разложены, казалось бы, для удобства укладки горизонтальными рядами, — а фигура виделась вертикально. Он смял и выбросил под кресло эту гадость. Он, конечно — Отец, но у него нет... он — оплодотворяет Словом через глаза, уши, рты, оплодотворяет не только тех, кто живет с ним в одно время в одной стране, — он оплодотворяет Идеей через них и детей их, и внуков их, и правнуков, оплодотворяет Светом, Струящимся Из Сердца Своего, куда Тот попадает, отраженный слонами эпох, пройденных человечеством с древнейших времен!.. Не кастрировать ли Г. — не то представляю себе дур, отдающих ему, раздевающих Сталина, ласкающих Сталина, направляющих СТАЛИНА. Подлец. Как быть? Может, сделать его педерастом? Посадить к уголовникам — можно сделать так, что потом он на женщин и смотреть не захочет! Раз пять они его... Ну, тогда кто хвастать будет, что он — С Т А Л И Н А?! Эх, смешно — чуть не потерял самообладание! Чуть-чуть. Не страшно. Он женат?

Как Его хватило затеять всю эту историю больше десяти лет назад? Режиссер, объясняющий СТАЛИНУ и ЛЕНИНУ, что им делать, как двигаться и что говорить, наблюдающий за ними, поправляющий — и они, как заведенные, повторяющие бессмыслицу, одни и те же слова, написанные сценаристом, курят в перерыве, шутят друг с другом и с гримерами, костюмерами, прочей дрянью. Эх, искусство, важнейшее из всех искусств, — все эти картины, сопряженные с кинопроизводством, не приходят в голову ни Молотову, ни Маленкову, ни Жданову, ни Калинин, восседающему на своем хохломско-палехском хохмическом всесоюзном горшке! Еще и с па-

лочкой! Каганович-то все себе представлял, мерзавец, однако может заставить себя не думать обо всем этом, товарищ Лазарь Моисеевич, все под Луначарского косите, но нет у Вас его образованности, нет тонкости, убежденности в собственных благоглупостях не наблюдается, без чего Ваша борода, простите, довершает Ваше трагическое сходство с глубоко климактерическим лобком. Прав Лаврентий...

Соня пришла, принесла газеты.

Следом, через десять минут, явился он — этот: худой, черный совсем, поздоровался. Я не шелохнулся. Мысли мои, как говорится, далеко отсюда. Я сердит на Соню — третьедневочную майку свою повесил на гвоздь у зеркала, она и не заметила и не вспомнила обо мне: наверное, провожал ее тот, потом приотстал — сама попросила — и явился, выкурив полторы папиросы под балконом — вон, за ухом лежит заплеванный окурочок, свинья, насильник, мучитель моей девочки — ты же почти лысый!

— Сонечка!

— Да.

— Это ты, зайчик?

— Да.

— Ты мне газеты купила?

— Да.

— Дай я поцелую тебя. Наклонись, наклонись... Меня продуло.

— Почему без майки?!

— Наклонись, я прошу...

Она склоняется ко мне, чертова кукла, я вижу каждый волосок на верхней ее губе, каждую пору на носу и на складках около и подбородке, полные густо-розовые темные веснушчатые губы — и впиваюсь между них своими тонкими, за секунду до того змеившимися, а сейчас принявшими жесткую аэродинамическую форму губами, и пускаю яд, пузырящийся, желтоватый. И тут же хохочу — а она бьет меня с размаху кулаком по плоскому морщинистому животу, в самый пуп, и орет: «Ты сдурил, что ли? Совсем сдурил? Иди тогда на вокзал, к парэституткем (с трудом дается ей это слово), — я дам тебе три рубля, сдурил! Совсем не соображаешь?! Что подумает...» — машет в сторону хахаля, отвернувшегося к окну, в смущении обнаруживающего окурочок за собственным ухом: «Это же Артюша Махчанян!» Я приподымаюсь: «Суренович Махчанян?» Бедный тридцативосьмилетний Артюша утвердительно выщелкивает окурочок в форточку.

— И как там ваш папá?

— Какой папá, не понял?

— Папá какой? Атэс!

— А! Спасибо, работает. Вам привет передает

— Спасибо, не надо. Я сумасшедший. А ты где работаешь, Артикджан?

— Спасибо — сейчас не работаю.

— Почему?

— В смысле — дома работаю. Пишу книгу с отцом.

— Хорошо. Про что книга? Какая тема?

— Про работу. Про его работу — он мне давно говорил: «Напишу книгу — мир содрогнется». Сейчас пишем.

— Мир-шмир. — Я совершенно не заинтересовался книгой. — Пишем-мишем. А ты Мишу знаешь — Г.? Соседа нашего?

— В лицо не знаю, а так, наверно — то есть по фамилии не знаю, а в лицо, наверно...

Я сел на кровати, ноги мои в развешивающихся штанинах принялись описывать голубыми ступнями окружности в носках домашних туфель, тогда как глаза вонзились в Артюшины.

— Садись. Соня! Чаю! Ты — армянин?

— Да. Мать — еврейка.

— Хочешь мою Сонечку, мою голубку, мою сладкую?!

Соня — не слушай...

— Артюша — он правда ненормальный, пойдем на кухню, пойдем.

Они вышли.

Подночные комары опять сели, надо приготовить газеты, я сильно скриплю пружинами, шепот на кухне стихает, я отчелливо цежу:

— Ничего, задница большая, на всех хватит.

Соня в отчаянии роняет чайник, кипяток попадает и на нее и на слабые Артюшины ляжки — какая чистая квинта! И как высоко!

7.

Итак — метод ясен: моя сильная сторона — игра в открытую. Я совершенно не должен создавать некий мир — для себя ли, для вас ли, — нет, я разбиваю калейдоскоп, я рассыпаю цветной кровотоворяющий мусор, уверяя, что освободил его из треугольного заключения — и требую от вас восторга, вы же за свободу, и я освободил стекла, смотрите, как они прекрасны!..

Только прошел дождь. По обеим сторонам дороги, на которой мы оказались, метрах в тридцати от нас — свежесмытый смешанный лес, тут и осины, и березы, и сосны, и дубки молодые, от дороги до них мокрая трава: сверху небо серое. Дорога проселочная, еще надо посмотреть после дождя — куда поставить ногу в неподходящей обуви. Машин не предвидится — куда ж ты пойдешь? От этого места в разные стороны расползаются тысячи литературных троп — песнь родной природы, и наоборот, тоска по американскому пути, на котором никогда не бывает луж и водители могут сотни километров проехать бесплатно; пойти в малинник и встретиться с медведем, или в болоте — с царевной-лягушкой; ощутить единение с миром до конца, или в самый неподходящий момент порвать дорогой плащ о доселе неизвестный миру сучий сучок и изматериться во все вышеописанное и в то, что за ним и дальше; или — встретить ино-

планетян, не наших, мосфильмовских, а лукасовских, настоящих, и унести с ними сначала в синеву, а потом в черноту между звезд; а можно пойти-пойти по дорожке, с половинки на половинку, с камушка на камушек, по дорожке до ближайшего совхоза, оказывается, «Страна Советов», почистить подошвы у порога конторы обо ржавую, никем не использованную доселе скобу, войти внутрь, и ходить по пустому воскресному индийскому линолеуму, читать разнообразные диаграммы — попадают очень дельные, к примеру — из нижнего левого в правый верхний угол по диагонали располагаются черепаха, муха, пешеход, всадник, мотоциклист, грузовик, вертолет, самолет, ракета и спутник (шарик с четырьмя хвостиками образца 1957 г.), символически представляющие передовые, посредственные и отстающие отделения данного совхоза, что подтверждают черные таблички с нанесенными на них мелом загадочными для меня числами — я оставляю на полу аккуратные темно-коричневые таблечки глины, высыхающей и выпадающей из строгого рисунка синтетического каучука. Нет никого.

Все же — пока мы на дороге, мысли твои далеко, и мои не ближе, пустой картонный тубус в руке более ничего не символизирует, его место разве что левой и ниже черепахи. Наконец ты видишь то, что я видел с самого начала — там, за лесом, за дорогой, с трех сторон нас окружают (отреуголивают) три зеркала до небес, сейчас они повернутся, образуемый нами рисунок, ощутимый изнутри как свалка и хаос, изменится, превратившись в Чей-нибудь взгляд и изумительно искрящуюся звезду на предметном стекле — я не грущу о «солнечном крае», я в плену другого, ныне траченного, посеченного образа — рядом с лаковым черным крылом «ЗИСа» я выворачиваю на проспект Руставели (камера на резиновой присоске, дистанционно управляемая, движется параллельно).

Мишино бледное лицо медленной каруселью обернулось вокруг меня за бликующим боковым автомобильным стеклом в ясный день под белым небом — без аэроплана в нем. А я шел по тротуару с кошелкой с двумя украденными мною луковичками.

Иногда я не могу удержаться от того, чтоб не украсть что-то — пачку ли курительной крошки, баховскую ли тетрадку нот — я не курильщик и не музыкант, кстати. Это называется kleptomанией, и я ничего не могу с собой сделать. Пока не разогнался «ЗИС», не уехал совсем — я, кажется, различил Мишино движение головой к задней форточке, или как она там; они пятнадцать лет уж как переехали из нашего дома в другой, да и оттуда давно съехали. Я не скучал по нему и всей их семейке, не люблю хороших людей, люблю всякую сволочь и сам сволочь. Ох, и сволочь же я!

Иду и представляю — взял Мишеньку Л. П. Берия под локоток, посадил в машинку, такую, как проехала только, и поехал. Привез к себе домой, заgrimировал в И. В. Сталина, раздел догола и пригласил изнасиловать трех лесбиянок, в чем с удовольствием принял лично высокое участие, также, разу-

меется, в дряблом голом жирном виде: разгорячившись, чуть не изнасилвал и самого Михаила, молодого, крепкого — однако косога взгляда младшей испугался неожиданно для себя; остыл; не подозревавший опасности, азартный Миша не заметил ничего; на самом деле лесбиянка была одна лишь эта младшая, остальные — сотрудницы, у таких там, кажется, есть специальное название.

Лаврентий Павлович вовсе успокоился, отошел в сторону и уселся в дорожное кресло, накрытое по такому случаю лавандой пахнущей белоснежной простыней — «Вах, Михаил, вах, красавчик...» — грим был американский, и он не тек по Мишиному разгоряченному лицу, лицо, в противоположность телу, было бледно начальной бледностью — впопыхах, гримируя сам себя, он наложил слишком светлый тон...

Лаврентий Павлович дотянулся до ящика из-под сигар на этажерке рядом с креслом (этажерку для удобства я представил себе такую же, как та, на которую мама ставила цветы), достал из него белый, сверкающий крохотный «зауэр», хорошо прицелился и прострелил единственную ножку хрустальной вазы с персиками в полуметре от своей вытянутой руки: ваза рухнула, персики рассыпались по кружевной салфетке, один, а потом второй скатились на пол, их невозможно от темно-красный ковер с невысоким ворсом; все вздрогнули, а Лаврентий Павлович расхохотался — для своей гадской конституции он смеялся удивительно громким, здоровым смехом и подолгу.

Ложные лесбиянки отползли, неприятно испугавшись, Михаил замер; обернувшись через плечо на Лаврентий Павловича, понуро поднялся с колен, до крови сбитых бухарским ковром, во весь свой прекрасный рост. Берия притворно спохватился: «Прости, бичо, так же импотентом можно сделать! Извини...», а сам подумал, небось: «я тебя сделаю им, Иосиф» — и обозначил неудачную шутку, протянул, отделился от кресла, щелкнув суставом, хрустальный же фужер с согревшимся давно шампанским, показал на кресло рядом со своим, также укрытое простыней.

Михаил уселся, пригубил, краем простыни отер со лба пот, все же немного задел грим. Лаврентий Павлович ходил по диагонали ковра туда и обратно, в одной руке держа свой фужер, в другой — забытый «зауэр», остановился на миг, увидел смазанные краски — «смотри, американцы, оказывается, тоже говно делают, ай-яй-яй...» — и снова пошел, уложив тяжелую думу между стекол пенсне; Михаил заметил, что весь вечер оно сидело на его тонком носу как приклеенное и не запотевало.

Уселся рядом.

— Что, доволен? А?

— Нет слов, Лаврентий Павлович. (Они оба были грузины, но всегда говорили по-русски друг с другом, точнее — между собой).

— Вот так приходится отдыхать от нашей адской работы, Мишико. Ты думаешь, я удовольствие от этого получаю? А!.. Очень редко. Иногда даже приходилось, до того

наши женщины не понимают меня, веришь-нет? Твари.

Михаил молчал, соображая. Его клонило ко сну.

Снова поднялся Лаврентий Павлович, провожаемый Мишиным взглядом, не торопясь подошел к небольшому шкафчику из ореха, раскрыв инкрустированные дверцы, достал пару сплошь расшитых украинских полотенец, бросил Михаилу поверх срамных мест и сам прикрылся, заговорил.

— Кажется, лично товарищ Сталин тобой доволен. А вот режиссер ваш... Что-то он нам там, — Лаврентий Павлович поерзал около собственного носа большим и указательным пальцами, картинно приносясь, — не то лепит; дергает вас с Лениным — как его, этого, — по всяким маловажным лентам, от роли отвлекает, не дает сосредоточиться... Откуда он такой вообще взялся? — Он вдруг стал агрессивен, хотя, конечно же, знал — откуда. — Ты давно знаешь его?

Михаил молчал. Я же говорил — туго мальчишка соображает.

— А? Ладно — поехали. Поехали, поехали!..

Лаврентий Павлович быстро, по-военному, собрал свои разбросанные по всей комнате вещи, вышел в другую комнату, откуда появился через полминуты, безупречный, заглядывая в сумеречное зеркало на дальней стене, поправляя галстук, передвигая пенсне обеспечивающей резкость гримаской.

— Ты готов? Поехали, поехали, артист...

Михаил едва успевал за резко сбегающим по мраморной доске Лаврентий Павловичем. В машине тот прикрыл глаза под стеклами, левая щека, повернутая к Михаилу, приятно дрожала — прекрасные рессоры ЗИСа хранили покой Хранителя Покоя.

9.

Я — сумасшедший, и я был с ними. Я не оставлял их ни на минуту, ни на мгновение, я всегда стараюсь утруждать себя сознательной мозговой деятельностью — бессознательная не покидает меня и во сне, и это великая мука, только Соня знает — поэтому придумывать всякую пусть и чужь, и безответственную грязную дрянь, и врать — для меня лечение и спасение. Я не собираюсь никого обременять этими своими домыслами, никогда не прикасаюсь к бумаге. Если в руки мои попадает карандаш — мне и в голову не приходит писать — ногтями я расщепляю его в месте, где слабо склеены половинки, и когда грифель начинает пачкать мне пальцы, слабое желание провести хотя бы линию, честно говоря, возникает — очень, очень редко — и улечучивается, я выбрасываю грифель, разложенные на перилах галереи щепочки снова у меня в руках, и мне почти не надо делать их тоньше, чтоб удалить остатки пищи между зубов... Еще я сумасшедший, что пошел за ними, потому что только сумасшедший не оставил их там, куда проехали они, — стальные ворота ГПУ закрылись за нами (я называю их «ГПУ», они себе все время новые придумывают названия — поэтому).

Я вижу даже то, чего не вижу. Даже то, чего видеть не хочу.

Я хочу видеть все.

В ярко освещенном бетонном бункере, куда въехала черная, лаковая, днем виденная мной машина, вдоль стен выстланы были темно-красные дорожки, «ЗИС» въехал точно между них, и Михаил с удивлением почувствовал под каучуковой подошвой невысокий мягкий ворс, я бы даже сказал — ему показалось, что он ногой ступил в грязь — но ему не показалось, он просто вышел вон с Лаврентий Павловичем, просто пошел следом за строго колеблющимися полами синего бериевского пальто, за горизонтально утвержденной широкополой шляпой с атласной тусклой лентой. Дорожка тянулась по всем пройденным коридорам с впечатляющим единообразием, она была бесконечна, Михаил не находил стыков, дорожка как проросла сквозь паркет, автоматически на их пути — дорожка вводила в кабинет, вползала под стол и, должно быть, уходила прямо под стену, чтоб за Марковым портретом продлиться в бесконечность с другой стороны.

Лаврентий Павлович пропустил Михаила вперед, сбросил не глядя пальто на руки следовавшего за ними офицера, шляпы не снял. Стол стоял буквой «Г», основанием к двери, и состоял из двух — короткого и длинного, но опять — без видимого стыка. На столе не было ничего, кроме ведерной пепельницы с низкими краями, сделанной из хрусталя. И Михаил чуть не произнес вслух — «духи в граненом хрустале...» — время было повальной любви к А. С. Пушкину, он стал рядом с лично И. В. Сталиным и вместе с ним правил огромным Союзом ССР — однако промолчал, в жертвенном сосуде был пепел — Лаврентий Павлович пальцем брезгливо сбросил пепельницу на ковер, другой офицер, моментально вспотев, бросился собирать щепотью серый прах. Стерильная пепельница с глубокими по хрустально частыми насечками снова стояла на середине, отражаясь в толстом слое лака, сломанная узкой маслянистой радугой.

Радуга — это был я.

А они уселись друг против друга — они стали почти друзьями. Лаврентий Павлович сказал:

— Сейчас шашлык будем кушать. Ты же не торопиться?..

Михаилу вдруг показалось, что он потерял деньги — у него было с собой рублей восемьсот, не такие уж деньги, но все же — он потихоньку ощупывал пиджак. Нет, здесь они, слава Богу, он вздохнул облегченно и тут же поднял глаза на Лаврентий Павловича, деньги нашлись в заднем кармане брюк, мама всегда говорила: «задний карман — чужой карман» — Михаил понял, что вдруг оказался не здесь, забыл, где он, а был у нас в доме на скрипучей лестнице, провожаемый матерью рано утром на учебу, а на самом деле — на целодневную карточную игру. Лаврентий Павлович испытующе посмотрел на него, придвинул пепельницу.

— Кури.

Миша затащил папироской.

Третий офицер внес блюдо с дюжиной шашлыка. Лаврентий Павлович изящно взял шампур, оставив мизинец, впились боковыми, чуть загнутыми кнутри «своими», в отличие от передних вставных, зубами в крайний кусок мяса. Разжевав, сказал ожидавшему приказаний офицеру:

— Через четверть часа ко мне этого, как его... Вчерашнего.

Офицер ответил звонко:

— Есть.

— И не думай, что у меня плохая память, Приходько. Приведи Н.

Приходько вышел.

— Артиста приведи!— вслед ему крикнул Лаврентий Павлович, разжевывая второй кусок. Михаил загасил папиросу, улыбнулся визави и тоже взял шампур.

— И вина принеси!— хозяин крикнул в дверь. Вино в хрустальном графине появилось через полминуты — «Ахмета». Глоток вина помог Михаилу протолкнуть кусок мяса, который он не мог разжевать — следовать примеру Лаврентий Павловича, выкладывавшего изо рта передавленные лохмотья со словами «нет — не мой кусок» обратно на блюдо, он стеснялся. Огромный белоснежный платок появился из кармана Лаврентий Павловича, Лаврентий Павлович вытирал им губы, пальцы, вытирал пот со лба, сдвинул на затылок шляпу.

В дверь осторожно стукнули, хозяин разрешительно замычал, на пороге стоял Приходько.

— Разрешите ввести?

Лаврентий Павлович взмахнул рукой, не выпускаяшей платка, что означало, по-видимому, необходимость минимальной задержки, а другой рукой указал Михаилу на стул, которого тот раньше не видел — в углу возле двери. За стеклами Лаврентиевского пенсне искрилась в это мгновение ответная шутка — кусок жареного мяса, еще не вполне безнадежный, перекрывал ей выход через рот. Михаил поспешно пересел, освободив стул, на котором только что сидел — Лаврентий Павлович тут же стул этот подхватил и поставил его на пути между дверью и столом, ближе к столу. Сам же метнулся к двери, заговорщически подмигнул Михаилу, прижимаясь к ореховой панели, сказал негромко:

— Entre...

И через мгновение два конвоира ввели человека в наручниках, с завязанными глазами, невозмутимо развернулись кругом и вышли.

Как только дверь за конвоем закрылась — щелкнул замок, — улыбка развела уголки губ Лаврентий Павловича, он подал знак Михаилу — мол, не смейся, пока рано — сделал движение телом назад и сразу бросил его вперед, просеменя десятком шажков и сзади тяжело запрыгнул на спину к человеку в наручниках, и повис на нем, охватив полными руками его шею и плечи. Тот, кого привели, был намного ниже ростом, и Лаврентий Павловичу пришлось расположить себя под углом к полу, носки его туфелек размера тридцать девять упирались в ковер возможно дальше от того места,

где стоял заключенный — тот должен был почувствовать таким образом больший вес. Однако он молчал, и Лаврентий Павлович поджал короткие ноги, охватил ими жертву, стал сползать — тогда только тот сошел в места, падая, а Лаврентий Павлович успел ловко соскочить.

Сцена эта, казавшаяся бесконечной, наверное, длилась секунд двадцать.

Лаврентий Павлович подвинул стул:

— Садись, мерзавец.

Мерзавец был маленького роста, как уже говорилось. Напоминал он какого-то жалкого птенца-перестарка, был щупл, одет в белую широкую рубашку, почти чистую, и черные, сшитые неплохо брюки, снаружи вдоль штанин Михаил заметил узкую полоску черной атласной ленты. Черные туфли его были намного большего, чем у Лаврентий Павловича, размера, может — сорок три, удивительно. Впечатление пернатости создавали еще и всклокоченные седые волосы над нечистой повязкой на глазах.

Опускаясь на стул с неуверенностью, он тихо ответил: — Здравствуйте, Лаврентий Павлович.

Лаврентий Павлович был так поражен, что даже передумал в последний момент убрать стул из-под усаживающегося, а вместо этого хмыкнул:

— Хм.

Он сделал несколько шагов от сидящего, резко обернулся, забыв, что на человека, не видящего этого проницательно-го маневра, он не мог произвести никакого впечатления. И спросил, по-бакински глоссандируя вверх последнюю гласную.

— Да-а?!

А потом уже нейтрально:

— Как же ты узнал меня? — почти ласково.

Потом казалось, что до следующей фразы пришедшего все еще могло повернуться не так, как повернулось впоследствии. Заинтригованным выглядел Лаврентий Павлович, смиренно и жалко сидел, не касаясь лопатками спинки стула, человек в наручниках, молчал.

— Так как же?

Тон, каким при всей внешней безобидности сказанного, произносились следующие слова, передать крайне трудно — они, несомненно, прозвучали оскорбительно, Михаил подумал, что Лаврентий Павлович сейчас обязательно вспылит. Мерзавец сказал, лопатки дрогнули:

— Вы забыли, Лаврентий Павлович. Я же дирижер, у меня абсолютный слух. И музыкальная память.

Здесь дело даже не в том, что и профессиональная память Лаврентий Павловича была широко известна. Тон, тон — вот что оскорбляло. Не то, что в романах называется — «гордо ответил», нет совсем. Может, как-то даже по-домашнему это прозвучало, так, как в других обстоятельствах и повествованиях человек произносит: «Моя фамилия — Н.» Или: «В это трудно поверить, но, тем не менее — это так. Милостивый государь». Мне, любителю конкретных литератур-

ных образов, услышалась в том, что сказал он — аристократическая простота. Хотя там, несомненно, было и нечто большее. И знаете — даже я почувствовал неприязнь к этому человеку. Аристократ — высокомерен, рабочий — прост и с «г» фрикативным, чекист — звонок, тонкогуб и яростно-весел, женщина — не выше ростом идущего рядом с ней мужчины и вообще улыбаясь, военный — уверен в себе, широкоплеч, высок и с «г» фрикативным, сумасшедший — маленький, лицо треугольное, рот кривой, нос тонкий, длинный, активно укрывающий верхнюю губу и для этого дугообразно изогнутый в сторону, ведь рот сбоку с губами, — соответствующую, как видите, да и все остальные — в основном, а вот эта фраза дирижера — правила игры очевидны, неукоснительное им следование — залог любой государственности...

Впрочем — этот оттенок, о котором я так много болтаю, доступен восприятию единиц. Михаил, я уверен, даже и не почувствовал ничего, почувствовали мы с Лаврентий Павловичем, я скрючился еще сильнее, а он — буднично выдохнул слабый звук. Михаил же умом вцепился в слова «музыкант», «дирижер», — огромная люстра, кажется, сама поющая тысячью тихих хрустальных голосков, облачка пудры взметаются и опадают перед неутомимым зеркалом, маленький человечек из другого мира в изумительном фраке, с тончайшей палочкой в бледной руке, палочкой, немислимой в этом мире линеек и шампуров, все же отчаянно врывается в него с хлопаньем крыльев птиц, вдруг покрывших партер и ярусы, — восемнадцатилетнему Михаилу все видно с галерки — языческий мотив настраивающегося оркестра уходит в землю, в глубину оркестровой ямы, взмах остается на ее поверхности...

Михаил разлепил губы в такт начавшейся музыке и снова сомкнул их. И — еще раз. Музыка. Тон-тон-полутон, тон-тон-тон-полутон — бессмысленно затверженная формула.

Как вы почувствовали, я всячески оттягиваю продолжение того, что — уступаю вам — фактически происходило у меня на глазах. Дальше тянуть невозможно.

Лаврентий Павлович задумчиво взял с блюда свой шампур. На нем оставалось два куска, давно остывших; снял предпоследний двумя пальцами, сунул в рот сидящему перед ним человеку: ешь. Тот покорно принял мясо губами, прежде сказав:

— Спасибо.

Лаврентий Павлович усмехнулся, глядя, как жует мясо его гость, потом, ловя некий непостижимый для Михаила момент, слегка присел, перехватил небольшой шампур за середину, не сводя глаз с двигающегося подбородка жертвы, и когда волной двинулось острое горло, готовое принять серый, отягощенный дирижерской слюной фарш — Лаврентий Павлович полным сгибом локтя левой руки поймал его голову, зажав одновременно рот, нос и шею — с шеей было сложнее, и он, не выпуская шампура, помогал правой; дважды дернулся дирижер и стих; Лаврентий Пав-

лович перегнулся через голову сникшего и, не ослабляя левой, шампуром в освободившейся правой нашел то место, где под грязной повязкой у полупридушенного дирижера было ухо, а в нем ушное отверстие — самым острием уточнил, а уточнив, погрузил в ухо шампур на длину мизинца взрослого мужчины и сразу выдернул — взрослый мужчина вскрикнул от невыносимой боли, на повязке выступила кровь: меньше, чем можно было ожидать.

Лаврентий Павлович повторил операцию с другой стороны — и отдернул руки, со знакомой обеспечивающей гримасой показал Михаилу левый рукав с темным пятном на гнибе:

— Укусить хотел, слизняк. Не смог: рубашку только испачкал.

Он закатал левый рукав, подложил под него все тот же, но вновь аккуратно сложенный платок.

— Свинья, мразь.

Дирижер обмяк на стуле. Он все еще был без сознания. Михаил обмяк на стуле. Сознания он не потерял — но не придумал ничего лучше, как это сыграть, сползти на пол, показывая усердно белки.

И он не видел, как унесли того, а почувствовал странный, сперва показавшийся тонким, а потом просто отвратительный запах человеческих испражнений — он обделался, этот гений.

10

Я упустил целую кучу деталей, стремясь поскорее проболтать все описанное выше.

Во-первых — идя по улице с луковицами, я видел собаку. У нее было лицо овчарки и плотное маленькое тельце таксы.

Во-вторых — когда Михаил с Лаврентий Павловичем беседовали, в соседней комнате натягивали на себя казенные полотняные бюстгальтеры, небесно-белые трикотажные рейтузы, а потом и черные мундиры курсантки — в машине с ними уехала и скромно одетая лесбиянка, младшая — она не сопротивлялась ни мгновения.

Еще — последний кусок мяса, оставшийся на шампуре; Лаврентий Павлович съел его, остывший — он не обратил внимания на это, как не обратил внимания на запекшуюся на острие кровь. Потом он с грохотом выбросил в коридор стул, испорченный дирижером.

И черная шляпа с широкой лентой, с выступившими на ней белыми соляными пятнами — он с ней так и не расстался...

Почему я пропустил эти лакомые кусочки? Почему пробалтывал, не достигая трагических высот, рискуя оставить вас и вовсе безо всякого впечатления? Я просто как кино смотрел, был увлечен им, казалось, это собьет, разрушит с трудом воздвигнутое мной убогое сооружение, придаст

вымыслу столь ненавистную мне литературную спонтанность — а я не святой дух, не обязан видеть сквозь стену, выдавливая фразы вроде — «а в это самое время...», «никто из присутствующих даже не подозревал, что...» И волновало меня не какое-то там впечатление, а бред наяву, редкостное желание сохранить последовательность видений — для себя, как бабочки в коллекции неумелого собирателя раскрыли свои крылья на разную ширину и стали, более недоступные, похожи на одну и ту же, лишь в разных фазах полета внутри плоского стеклянного ящика, поверх всего отразившего и мое некрасивое лицо.

Я — и История. Миг и Эпоха. Только не нужно было врать.

11.

...два чувства (д в а о т п е ч а т к а... и так далее, см. главку 1) — и вот второе...

Огромное старинное зеркало, с оттаявшей по краям амальгамой, однако редкостно четким отражением посередине, занимало большую часть стены ванной. Стоя сбоку, прислонившись синой к дверному косяку, Михаил не видел своего Лиахим'а — там был подзеркальный черный мраморный стол, на столе — восковой кусок мыла, противоположная белая кафельная стена. Вода бежала и, сползая рядом по простенку, Михаил тщетно пытался вспомнить, сколько же дней бежит забытая вода, сколько дней его не было дома? Один, три, неделю?

Девять ламп освещали ванную комнату. Две из них также зеркало отражало. Струя воды падала без брызг в сливное отверстие, не задевая краев, ванна была пуста и суха. Малейшее движение в любую сторону — и зеркало поймает его. Михаил остановил скольжение, сделал шаг, еще шаг — прочь мистику, фрейдизм — он должен видеть себя, должен быть в форме, вопреки выпитому за эти неведомые дни, таинственные ночи, н и ч ь и д н и.

Он упал в зеркало.

Еще я вижу темноту за порогом ванной комнаты, анфиладу мрака, крохотный светящийся прямоугольник прихожей — в квартире больше нет никого, он один. Я усаживаю его на оказавшийся рядом стул, локоть его помещаю на краю стола, пепел «Герцеговины» — на мраморе, запускаю пальцы — его пальцы — в его же шевелюру, и они делают там несколько движений... все, дальше — сам...

Михаил посмотрел на себя, отраженного зеркалом. Сетка морщин, это от грима — интересно, с каждым днем все меньше грима требуется ему, все меньше. Вот эти две сталинские складки, вот эти, залегшие на лице по-настоящему — радоваться ли этому, ведь нельзя, чтоб он играл Вождя вовсе без грима, налепив только опереточные усы, погружив большой палец в лоно нестерпимо вонючей трубки. Ах да — они же нос формируют, носы все-таки совсем разные.

«Итак — я должен поговорить с самим собой».

«Я не припомню — когда в последний раз у меня была возможность поговорить с самим собой. Я ведь все время говорю с Самим Собой».

«То, что произошло со мной — это огромное счастье. У меня есть все, о чем только могут мечтать теплокровные».

«Я отдаюсь любимому делу без остатка — попробовал бы не отдаваться...»

«Я люблю Родину, Сталина, Пушкина, Ленина, Крупскую, Свердлова, Марику Рёкк, братьев Николас, вино «Киндзмараули», Шота Руставели, некоторых евреев и евреек, маму, Лёху...»

«Я не люблю фашистов, когда накурено, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Каплан, царизм, пенку с молока, хромовые сапоги, некоторых евреев и евреек, вдевать иголку в нитку, Голливуд, Иосипа Броз Тито...»

«Я боюсь самоуспокоенности, душевного комфорта, гомосексуалистов, зубных врачей, детей, землетрясения, сердечной боли...»

«Я люблю танцевать, но мне не разрешено».

«Что будет, если я изрежу себе лицо вот этой золлингенновской бритвой — найдут ли они другого, или станут возиться со мной, реставрировать — мимика уже будет не та, хотя — какая там мимика...»

«Еще я боюсь пыток и дядю Мишу боюсь».

«Еще я люблю мягкие рессоры».

«Ненавижу фашистов».

«Стараюсь не думать о Лаврентий Павловиче Берии».

«Стараюсь не думать о Лаврентий Павловиче Берии».

«Люблю читать поваренные книги».

«У меня плечи прямые, а у Сталина — покатые».

«Интересно — у кого из нас двоих было больше женщин?»

Не удастся Михаилу поговорить с самим собой. Или это не удастся сделать мне за него — наверное, ложной была ясность, с какой я видел его в ту позднюю ночь — четыре часа утра — перед зеркалом, он оттягивает веки книзу, курносит себе при этом нос, отвешивает нижнюю губу. И видит Себя в старости, обескураживающе толстая нить слюны скатывается на брюки кофе-с-молоком, пустеют глаза и хочется зацепиться жилистой старческой рукой с окаменевшими ногтями за что угодно, за пепел, лишь бы не упасть — он схватился за черный мраморный край стола, и исчез старик из зеркала, или, если поэтично, то наоборот — «но старец из зеркала не исчез...»

Он улыбнулся тонкой улыбкой, выученной в институте, улыбкой, видя которук, Чиаурели бил его по губам когда-то — один раз, собственно, в тот вечер.

12.

Еще несколько слов.

Я думал, что они должны умереть почти одновременно. Мысль эта была столь же соблазнительна, сколь проста. Од-

нако связь оказалась сложнее — один пережил другого на три года, но скончался все же в день Его рождения.

Внешнее сходство было исключительным. Г.; не стесняясь, носил усы: иногда и показывался в костюме Сталина на людях. У Сталина был костюм Сталина. У Г. — костюм Сталина и свой: аскетизм, но не до такой степени, что у Вождя.

Фигура Г., безусловно, трагическая.

Он был женат.

Он был настоящим актером, убеждавшим, что Сталин был обаятельным, человечным существом.

Кто-то должен был все равно сделать эту работу — Г. сделал ее неплохо.

И слава Богу, создавшему мир, в котором все имеет конец.

0.

«Ошибочно послано в Джакарту» — так переводится название, наверняка набранное безобразно разными литерами.

Можно сказать, много лет тому назад я получил письмо из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, США, на котором стоял отпечаток — MISSENT TO JAKARTA; оно шло восемь месяцев. Единственно интересным свойством содержавшегося внутри послания был почерк — замечательно неразборчивый; расшифрованный в конце концов, он представил собой набор тривиальных сведений об ухудшающемся здоровье автора письма, несколько необязательных вопросов о здоровье адресата с виньеткой под конец:

«LOVE TO ALL» (скажем, «с любовью»).

Единственно интересным свойством доставившего письмо конверта был названный отпечаток. Я вспомнил о конверте, когда конец стал различим, и пожелал сообщить об этом, во-первых; а во-вторых, мне почему-то показалось, что все написанное выше есть отдаленный перифраз этого, согласитесь, нечасто случающегося события, представьте — я в Ташкенте, Узбекская ССР, СССР, держу в руках конверт, совершивший почти кругосветное путешествие...

Нет — если б так просто можно было описать это чувство.

Оно просто поблекло на глазах, когда предпоследняя фраза еще не была закончена.

Прочитанная Вами история — я смиренно надеюсь — как раз то, что нужно, пожалуй, Вы поняли, что я имею в виду.

Чезаре Павезе

*Чезаре Павезе (1908—1950) —
итальянский поэт, прозаик, переводчик,
близкий по стилю герметикам.*

Из цикла «Земля и смерть»

Ты как земля, о которой
никто еще не сказал.
Ты ждешь только слова,
вырастающего из глубин,
как плод среди ветвей.
Тебя достигает
лишь ветер,
несущий с собой
безжизненный сор.
Античное тело и древняя речь.
Ты дрожишь даже летом.

29 октября 45 г.

Ты не знаешь холмов,
где пролилась кровь.
Все мы бежали,
бросив оружие
и забыв свои имена.
Только женщина видела это.
Один из нас
сжал кулак, остановился,
глянул в небо пустое,
уронил голову и принял
молча смерть над стеной.
Стал он тряпкой кровавой,
но имя его не забыто.
Женщина ждет нас на тех же холмах.

9 ноября 45 г.

Из цикла «Придет смерть и у нее будут твои глаза»

Придет смерть и у нее будут твои глаза.
Эта смерть, что нас сопровождает
неуслышно с утра до ночи, глухая,
как стыд или скверная привычка,
как абсурд. Глаза твои будут —
немой крик, несказанное слово,
тишина.

Так ты видишь их каждое утро,
наклоняясь над своим отраженьем
в зеркале. О, дорогая надежда,
в этот день узнаем и мы:
ты — ничто, и ты — жизнь.

На каждого смерть по-своему смотрит.
Придет смерть и у нее будут твои глаза.
Это будет как порвать с привычкой,
как увидеть в зеркале все то же,
но только мертвое лицо,
как услышать сомкнувшиеся губы.
Мы сойдем в водоворот немymi.

22 марта 50 г.

Ты жизнь и смерть.
Ты приход марта
на дрожащую
голую землю.
Кровь весны —
анемоны и облака —
твой легкий шаг
возвращает земле
ее боль.

Он приносит страданье,
твой шаг.
Долго
земля цепенела
в бесчувственном сне
под небом холодным
и безмятежным.
Нежен был
в сердце мороз.
Между жизнью и смертью
молчала надежда.

Теперь у всего, что живет,
есть голос и кровь.
Земля и небо
дрожат, как в ознобе;
их утро тревожит,
томит надежда,
их попирает твой шаг.
Дыханье зари,
кровь весны,
все в мире объято
трепетом древним.

Ты приносишь страданье.
Ты жизнь и смерть.
Над голой землей
ты проносишься легче
ласточек и облаков.
Сердце очнулось
и бьется взволнованно,
отражаясь в небе
и все в небе отразив.
Все страдает и корчится
в небе и в сердце,
ожидая тебя.
Утренняя заря,
кровь весны,
ты землю тревожишь.

Надежда томится,
ждет тебя и зовет.
Ты жизнь и смерть.
Легок твой шаг.

25 марта 50 г.

Перевод с итальянского Михаила СУХОТИНА

ЧТЕНИЕ

В ожидании

Сию у реки. Местность
незнакомая, настороженная. Взглядом
касаюсь пригорка: чахлые кустики,
следы обвалившейся норки
какого-нибудь зверька. Дороги не видно,
не знаю, куда уходить.
Красное зарево — город должен быть там.
Примолкли цикады, жуки
исчезли в стерне. Река
беззвучно ползет. Что же делать?
Встаю, отхожу, возвращаюсь. Здесь
есть движение, жизнь. Сзади —
равнина, которую не перейти.
Довольствуюсь малым: сажусь
на теплую, мягкую траву. Проплывает
вздувшийся труп тельца. Мимо.
Так и все остальное...¹

Вид воскресной пустынности буксует у глаз. Нет сомнений: действие и в самом деле происходит в конце недели, когда каждая вещь находится в инерции, зрима лишь через пыльную топь здешних пауз. Человек в такой момент не оберегаем суетой и скоростью, беззащитный. Мир, где создаются сплошные поэтические письма, ничего не означающие, помимо нагой выразительности (которая тонет или крепнет в эстетическом искрении, выжигая таким образом собственный предел), остался позади и бесилен теперь высалить навстречу нам уют и безнаказанность. Перед тобой: солнце, юг — иными словами, ситуация, доведенная до пуристской белизны и бедности. В этой глубинке нелепы тешпе и текст, ибо здесь намного ценней сдержанность (а не бежать) себя, чем рыскать в поисках сильных слов.

Стихотворение, дерзнувшее быть спокойным. Едва ли оно понравится тем, кому хочется, чтобы всякий лирический опыт звучал на одной маньеристской ноте. Вкус к протяженности, к длинным стихам, против обыкновения, ощутим в этом маленьком верлибре, не стянутом в корсет ритмических уловок. Наблюдатель, сидящий на берегу реки в позе бекке-

¹ Стихотворение Хамдама Закирова.

товского эмбриона, превращается в ноль, сквозь который льется мир. Это — финистерре. Из окружающих примет выбраны именно те, что следует вычеркнуть, — находящиеся в слабой позиции второстепенный сор и тихая мелочь, порождающие, по сути, главный тон и качество земной окраины. Разве что мертвая скотина выдавлена из литературных грез (дублинское предместье, где юноша в слое тины замечает недвижимую собаку, вспухающую медленно в читательском сознании эмблематикой сна; Иозеф Блох видит труп мальчика в канаве, и этот эпизод стирает его косноязычие и страх) либо из детских впечатлений в сухой простор восточной провинции. Рядом с этой жирной метафорой по броскости, пожалуй, стоит лишь название — казалось бы, слишком прямое, оно все же не успевает нас оттолкнуть или вызвать протест. В данном случае допускается нажим очевидной тяжести на тематическую пружину, и без того упругую. Тем не менее опасный императив, содержащийся в заглавии, расчленяет надвое структурную мякоть: блеск и блеклость (первое относится к успешному сплаву тоски и воли, сохраняющим найденные ими же стихотворные границы; второе несет меланхолический воздух, требующий, чтобы возникло чувство будоражащей неясности). Стагуарность («сiju у реки») человека усиливает чужеродность вращающейся вокруг него плотной и рутинной реальности, лишенной даже узких щелей, откуда дует иное время. Взор, заставляющий среду монотонно кружиться, как в фильмах Янчо, не смеет ринуться «туда», за раму: природа извне залатана плоской наглядностью. Вовсе не материнский покров бдительной культуры служит окрест мягким заслоном от неизвестности, а горькая эманация шершавой земли. Сам пейзаж запирает весь текст, тем самым проявляя заступничество, и придает ему автономность. Электризующие воздух подробности (чахлые кустики, следы обвалившейся норки, жуки, исчезнувшие в стерне, и труп теленка) оголены до обычных, костистых перечислений, из которых выжат намеренно любой намек на смысловую тектоничность. Сейчас не густая дотошность анималистской риторики, а невнятный мазок составляет зрительную ось («какого-нибудь зверька»). Напряжение и глубь достигаются небрежной замедленностью и задержкой на побочной детали, скупым трением о тающий ворох тощей природы. Лучший фрагмент в крохотной поэме: «сзади — равнина, которую не перейти». Вульгарная оптика в упор ведет к пространству, чьи крепость, настрой и даль мы получаем даром. Я очень люблю подобные точности, встречающиеся порой в свободной рефлексии некоторых чудесных авторов, совершенно разных по системе высказываний и методологий. Кажется, поворот головы и безотчетный огляд поместили четкий штрих в равнинное полотно. Нюансы и предметы вздулись насколько хватает глаз, неожиданно становясь выпуклой и естественной декорацией авторских догадок, словно рельефные ключья окрестных картин выброшены сюда волной бессознательности. Ничто не задевает героя. «Остальное» течет поодаль, вовлеченное в свою лет-

нюю сейсмику и безликость, и поэтому острее блаженство от невозможности совпасть с ним, несмотря на множество знаков и связей. «Мимо» — это слово, куда вьются, ныряют, будто в сочную воронку, вся пригородная мизансцена, предикат, сколки чужих историй. Невзирая на убожество, ландшафт напоен грубой хмелью: внешностью внешнего, чей крошечный кусок разросся щедростью и напором тлеющего дня. Сюда примешан кайф от серости слов, которыми, как водится, вяло тешатся в последних кварталах донельзя усталые мужчины, около обшарпанных стен. Кайс, любящий смерть, нашел бы сегодня в прямоте вещей только душевный столбняк и каждодневность без слез. Однако: что подлинно в прошлом — ныне рядится в пустой накал и мнимую чувственность, гортанно гаснущую в сирой и слепой метрике. Невзрачная глушь — слепок с упрямой аскезы («довольствуюсь малым», и стих бичует себя, чтобы остужиться в никчемный пост, в бесцветность, в южный оств малых развалин) — потворствует забвению за городской полосой. Скрипучий ход вязкой видимости попал в туман, в тупик: план-эпизод, снятый в задымленной апатии скучнейшим Ольми. Жизнь тебя поманила в этот запущенный край, в капкан, и райская песнь, как в случае с плохим поэтом, не обернулась вызывающей психоделикой, но вторгалась в нулевую нейтральность. В общем, трудно уклониться от мысли, что материал, питающий Хамдама Закирова, предельно тусклый и заурядный. По этой причине тут необходимы остановки, неспешность, классицизм. Вещи и метки с неизменной покорностью оседают, вихрятся в одну точку, которую поэт ни за что не упустит из виду. Нельзя рассеивать центры, как это принято в другой стилистике, в поэзии плодородий (раскидываешь зерна, падающие в сорняк, между камней, в благодатную почву), сытой, смачной и пылающей от бурных вестей, где стоит затормозить лексический порыв — тотчас пойдут пятна по тексту. Автор отнюдь не грезит о красоте чеканных строк (хотя многие нуждаются до сих пор в этой жертвенности). Его скудная художественная речь держится на бескорыстии к объекту и помогает предмету пробыть вблизи, благовествуя, — пробел, дающий риск двигаться дальше. Вот почему ценишь не безупречность и гул именованных (ведь имя оказывается на поверку тем, что меняется и мстит, в силу собственных превращений), но общий температурный и температуру поэтических усилий. Некая зыбкая атмосфера время от времени посещает тебя и вскоре поселяется в твоей местности, в царстве импрессий надолго. Язык призван подчеркнуть неслучайность этих посещений и вернуть нас к той почве переживаний, откуда мы родом.

Глинобитный гипнотизм, окопавшийся в тени кишлаков и близких руин, уже канул под вечер в захоластье и закат. Но персонаж, смутно похожий на мальчика с полумесяцем и звездой на лбу, о котором в семидесятые годы пел Cat Stevens, продолжает сидеть у реки. За чертой нескольких дней и в конце никаких событий. Ни плавных звучаний и голосов, ни поэтических уз. Так и есть: в ожидании.

Владимир

архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский

ПУТЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА

«Не будь неверующим, но верующим».

(Ин. 20,27).

I

Римская империя во времена первохристианские носила гордое наименование «всемирной» — и действительно подчиняла себе множество стран и народов Европы, Ближнего Востока и Малой Азии. И по всем пространствам этой необозримой державы должны были пройти «красные ноги» учеников Христа Спасителя, исполнявших Его завет: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие» (Мк. 16,15). Дальние странствия апостолов были сопряжены со многими трудами и опасностями. И все же всюду, где они проповедовали, звучала общеупотребительная латинская и греческая речь, были одни и те же законы и одна власть — римского кесаря. Но во глубине Азии оставались неподвластные Риму, пугающие своей неизведанностью «страны Индийские», где жили таинственные «парфяне и мидяне, персы и гирканы, бактры и брахманы». И в эти-то неведомые края выпал путь «святому упрямцу», «последнему свидетелю Господню» — апостолу Фоме Близнецу.

Из всех учеников Спасителя святой Фома был самым своевольным и недоверчивым. Он даже дерзал спорить с Самим Божественным Учителем. Так, когда умер праведный Лазарь и Спаситель предрек явление Славы Божией над усопшим, отчаявшийся Фома не поверил Господу и воскликнул: «Пойдем и мы умрем» (Ин. 11,16). Когда Иисус возвещал тайну пути Своего в Отчее Царствие, упрямый Фома тут же начал допытываться: «Господи! не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?»

(Ин. 14,5). И, уже после Воскресения Христова, все тот же Фома стал, как известно, противиться свидетельству десяти собратьев-апостолов о Воскресшем: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20,25). Всеблагой Господь сжалился над маловерным, но пламенно любящим Его учеником. Он позволил апостолу Фоме осязать раны Своего Воскресшего Тела. И вот: в лучах милосердия Любвеобильного Сына Божия переродился пылкий упрямец. В тот миг воскликнул святой Фома: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20,27); и более никогда за время земного жития не впускал он в свою душу даже тени сомнения. А то неверие, от которого излечил его Спаситель, Святая Церковь именует «добрым» — ибо через него окончательно запечатлелась в сердцах верных истина Христова Воскресения. И так же впоследствии избран был апостол Фома для свидетельства нового великого чуда — Воскрешения Матери Божией после Ее Успения.

Вместо былого маловерия он явил такую крепость веры, что именно ему Десница Господня указала самый дальний и неизведанный путь Благовествования.

Но даже святой Фома, наделенный редким мужеством и силой духа, устранился, узнав жребий свой. О неведомых «Индийских странах» дотоле приходилось ему слышать лишь дикие вымыслы, вроде того, будто обитают там «люди с песьими головами», огнедышащие драконы и саблезубые чудовища. И вот туда, распростившись с родиной, без друзей и близких, в полном одиночестве должен был идти святой Фома, чтобы возвещать Слово Божие. Немудрено, что он, как свидетельствует житие, «убоялся и стал скорбеть». Но Всемилостивый Спаситель предстал в видении перед Своим избранником и вдохнул в душу его великое бесстрашие, обещая пребывать с ним на всех путях. Вскоре Промыслом Божиим святому Фоме был доставлен и удобный способ к совершению столь дальнего странствия.

Древнеиндийское зодчество изумляет нас своим многообразием и причудливостью. Сооружение великолепных зданий с незапамятных времен являлось страстью индийских владык, при случае искавших мастеров-строителей и в чужих краях. Вот так и раджа Гундафор, слыхавший о красоте римских зданий, поручил купцу Авану найти зодчего, который построил бы невиданный дворец в его княжестве. Путь Авана лежал через Палестину. Услышав про цель поездки купца-индейца, святой Фома возрадовался, ибо понял: это Господь открывает ему дорогу к Благовествованию «странам Индийским». Конечно, апостолу никогда не приходилось заниматься сооружением земных дворцов, зато ему была ведома тайна пресветлых Небесных обителей. Святой Фома пришел к Авану и заявил, что он-де самый искусный зодчий во всей Римской империи. Посланец раджи, очень довольный такой находкой, вместе со святым апостолом направился в Индию, — не понимая, что волею Божией стал проводником строителя Христовой Церкви.

Склоняясь над картой, чтобы мысленно последовать за апостолом Фомой в его странствиях, мы неожиданно оказываемся в краях, ставших родными и близкими для нас с вами. «Страны Индийские» — этим понятием древние писатели, имевшие об Азии туманное представление, обозначали не только Индию, но все государства Востока за пределами Римской империи. Дорога святого апостола пролегла через нынешний Иран, а затем достигла впадавшей тогда не в Арал, а в Каспий реки Оксу, что ныне называется Амударья. Фома шел по древней Согдиане, останавливался в городах и селениях будущего Мавераннахра, проходил по хивинским землям. Его собеседниками стали жители этих краев — те самые, которые в Священном Предании и в Истории древнего мира названы «бактрами, гирканами и парфянами». И этим путем святой Фома шествовал не как деловитый купец или любознательный странник, а как благовестник. По обетованию Господню, апостола «сопровождать знамения: Именем Христовым он изгонял бесов, возлагал руки на больных, и они становились здоровыми». (Мк. 16,17—18). Всюду на своем поприще сеял апостол Фома семена веры Спасительной, основывал христианские общины — поначалу немногочисленные. Но уже со II века в письменных источниках появляются свидетельства о распространении в Средней Азии христианства. Среди тех, кого сам апостол обратил здесь к Христовой вере, был знатный юноша Дионисий, рукоположенный святым Фомою во епископы для «стран Индийских».

Купцу Авану оставалось только дивиться и восхищаться деяниями своего таинственного спутника: он не сомневался, что чудотворец Фома сумеет выстроить и чудесный дворец для раджи. Когда они наконец прибыли в Индию, строитель-чужеземец внушил такое же доверие и радже Гундафору. Раджа указал «архитектору» место, где ему виделся дворец, дал Фоме много золота на постройку и некоторое время даже не интересовался ходом работ.

А апостол Фома начал раздавать данное ему золото нищим и страждущим, делом и словом милосердия и любви привлекать к себе сердца, проповедовать народу Святое Евангелие. Так он обратил к вере Христовой и крестил многих. И когда раджа Гундафор прислал узнать, скоро ли будет готов дворец, святой Фома отвечал: «Осталось только положить крышу». Обрадованный раджа послал строителю еще золота, чтобы и крыша дворца получилась великолепной. Подняв взор к небу, святой апостол сказал: «Благодарю Тебя, Господи Человеколюбие, что Ты различными способами устрояешь спасение людей», — а сам продолжал благовествовать.

Но вот радже стало известно, что мнимый архитектор и не начинал ничего строить на указанном ему месте, а занят возмущением народа какой-то новой религии и уже раздал «всякому сброду» все полученное из княжеской сокровищницы. Разгневанный Гундафор приказал бросить в темницу святого Фому, а заодно и приведшего его в Индию купца.

В заточении Аван стал осыпать упреками «обманувшего» его апостола. Сквозь слезы он твердил, что раджа жесток и непременно сдерет с них обоих кожу, а потом сожжет заживо. Святой Фома, улыбаясь, отвечал ему: «Мы будем живы и свободны, и твой царь почитит нас за тот дворец, который я устроил ему в Царствии Небесном». Услышав это, злополучный купец решил, что чужеземец сошел с ума от страха.

В ту же ночь умер любимый брат раджи. Беда заставила Гундафора позабыть и о затеянном им дворце, и о казни пришельца-«обманщика». Раджа предался скорби. Так длилась эта ночь: плакал раджа среди окружающей его роскоши, а в темнице обливался слезами купец и таинственно улыбался святой апостол Христов. И вдруг печальное уединение раджи Гундафора было нарушено — в его покои вбежали слуги с невероятной вестью: мертвец воскрес и умоляет царственного брата немедленно прийти к нему.

Гундафор поспешил на зов. Воскресший встретил его неожиданной горячей мольбой: «Отдай мне тот дворец, который ты имеешь на Небесах, и возьми за него все мое богатство».

Раджа долго молчал, потом спросил брата: «Откуда у меня на Небесах может быть дворец?»

И воскресший рассказал о происшедших с ним чудесных событиях. Когда ангел вознес его душу в Небесное Царствие, брат раджи узрел множество светозарных обитателей, по сравнению с которыми самый великолепный земной дворец показался бы убогой пещерой. Усопший стал упрашивать ангела, чтобы ему было позволено жить хотя бы в уголке того из небесных дворцов, что показался ему особенно прекрасным, но слышал в ответ: «Ты не можешь жить здесь, ибо этот дворец принадлежит твоему брату, на золото которого построил его пришелец Фома». Усопший стал просить: «Отпусти меня к брату и я куплю у него этот дворец, а потом возвращусь сюда». И душе брата раджи было дозволено вернуться в тело.

Выслушав этот удивительный рассказ, Гундафор глубоко задумался. Буря противоречивых чувств охватила душу раджи. Он очень любил брата и был счастлив его возвращению к жизни, но лишиться ради него вечного Небесного дворца Гундафору не хотелось. Раджа ликовал при мысли о том, какие великолепные покои уготованы ему за порогом земного бытия — и со стыдом вспоминал, как оскорбил он чудотворца-строителя. Наконец, Гундафор радостно воскликнул: «Возлюбленный брат! Мы ведь имеем зодчего, который может построить такой же дворец и тебе!»

Тут же святого Фому и Авана вывели из темницы, нарядили в роскошные одежды и с почетом повели к радже. Недоумевающий купец плелся за апостолом, боясь поверить неожиданному избавлению. А когда сам надменный Гундафор упал в ноги святому Фоме, прося прощения и благодаря за великолепный Небесный дворец, — тут уж Аван подумал, что и раджа внезапно лишился рассудка...

Незловивый апостол Христов отпустил Гундафору совершенный по неведению грех и стал наставлять раджу и его брата в святой вере, преподал им Завет Любви Господней. Они приняли Святое Крещение и впоследствии, как указано в житии, «многочисленными милостынями создали себе вечные обители на Небесах».

Таким образом «утвердив крышу дворца» в княжестве Гундафора, святой Фома продолжил свой апостольский путь по дорогам Индии, обходя города и селения, подвизаясь в спасении человеческих душ.

Однажды, странствуя по княжеству Малипур, апостол увидел толпу, окружавшую ствол огромного дерева. Лесорубам удалось свалить гигант, но сдвинуть его с места не могли ни все эти люди, ни даже рабочие слоны. Святой Фома, помолившись, привязал к дереву свой пояс и с легкостью потащил его сквозь джунгли. А затем обратился к следовавшему за ним изумленному народу со словом о Всемогущем Небесном Отце. Множество людей, потрясенных явленным через апостола чудом Господним, тут же крестилось. А из гигантского древесного ствола, который для веры святого Фомы оказался легче тростинки, повелел он выстроить храм Всевышнего.

Здесь же, в Малипуре, апостол Фома явил чудо еще славнейшее. Некий языческий жрец, видя, как из-за проповеди святого Фомы его капище теряет поклонников, возгорелся бесовской завистью и ненавистью. Сатана толкнул этого своего служителя на чудовищное преступление, жрец убил собственного сына — и обвинил в убийстве апостола Христова Фому. Возмущенные люди повлекли чужеземца на расправу. Но святой Фома сказал: «Отпустите меня, и я, во имя Бога моего, спрошу убитого, чтобы он сам сказал, кто убил его». Изумленный народ повиновался властной просьбе. И вот, когда святой Фома призвал Имя Господа Иисуса Христа, а затем приказал мертвому юноше назвать его убийцу, тот разомкнул уста и во всеуслышанье засвидетельствовал: «Мой отец убил меня...»

В 1500 году, когда португальские мореплаватели впервые достигли берегов Индии, они нашли в Малипуре большое поселение христиан, утверждавших, что унаследовали святую веру от апостола Фомы. И не только эта община, но и все индийские последователи Спасителя издревле называют себя «христианами апостола Фомы», возводя к его проповеди начало своей Церкви.

Не к индийским знатокам жутких «ведических тайн» обращал свое слово святой апостол Фома Близнец. Прежде всего обращал он проповедь христианской любви к простому народу, томящемуся во мраке язычества, «труждающимся и обремененным». Знатных же просвещал апостол Христов вестью Евангельской, только когда они сами, смирившись, приходили к нему за «Небесным хлебом» вечности. Так произошло в Каламидском княжестве, где жена и сын раджи Муздия, привлеченные молвой о великом чудотворце, должны были переодеться в лох-

мотя и смешаться с толпой простолудинов, чтобы услышать пламенное слово святого Фомы. До глубины души потрясенные апостольским Благоевествованием, жена раджи Тертiana и сын его Азан (будущий епископ Аксиумский) приняли христианство.

Узнав о том, что они уверовали в Бога, возмущаемого каким-то нищим пришельцем, и потому начали чуждаться его как язычника, раджа Муздий впал в бешенство. Святого Фому схватили и подвергли истязаниям. (Надо, правда, сказать: гораздо менее изощренным, чем те мучения, которые впоследствии изобретал для страстотерпцев Христовых «цивилизованный» Рим).

Укрепляемый благодатью Божией, святой Фома прошел невредимым через пытки раскаленным железом и огнем. Один из вельмож Муздия подал радже хитрый совет: надо заставить апостола поклониться идолу, чтобы он прогневал своего Бога и лишился Его чудесной помощи. Но лукавый замысел ни к чему не привел. Как только Духоносный ученик Христов приблизился к идолу солнца Савитри, этот истукан тотчас растаял, словно воск.

Видя, что святой Фома не боится пыток, раджа решил незамедлительно покончить с ненавистным проповедником. Но публично казнить апостола Муздий не осмелился: слишком много христиан уже было в его княжестве, в том числе и среди придворных. Раджа приказал своим воинам отвести святого Фому на вершину уединенной горы и там умертвить. Перед кончиной апостол успел возложить руки на своего ученика Сифора и сына раджи Азана, благословив их на продолжение Благоевествования и управление юной Церковью Индийской. Казни через распятие в Индии не знали: но, подобно тому, как пять ран зияли на Теле Распятого Господа, так же — пятью ударами копья были пронзены руки, ноги, сердце «святого упрямаца» Фомы. Так славной кончиной уподобился Возлюбленному Божественному Учителю верный апостол Его, просветитель «стран Индийских» святой Фома Близнец.

Через несколько лет после казни апостола Фомы один из сыновей раджи Муздия впал в беснование, и ни один врач не мог его исцелить. Раджа вспомнил, что святой Фома во время земного жития изгнал бесов из множества страждущих, и задумал открыть гробницу апостола, взять одну из костей его тела и привязать ее на шею бесноватого сына, чтобы избавить от недуга. Это подобие зова, который обратил к святому Фоме его мучитель и палач, было услышано милосердным апостолом Спасителя.

Святой Фома предстал перед Муздием в сновидении и сказал ему: «Живому ты не верил, от мертвого ли думаешь найти помощь? Но не оставайся в своем неверии, — и Господь мой Иисус Христос будет к тебе милосерд».

Муздий поклялся, что станет христианином, если сын его излечится. Отправившись к гробнице апостола Фомы, раджа не нашел там святых его мощей, христиане тайно унесли нетленное

тело апостола, дабы положить его во храме для поклонения. Но Муздий все же взял из гробницы горсть земли и с верою и надеждою повесил мешочек с ней на шею сына. Бес тотчас вышел, и сын раджи выздоровел.

Муздий сдержал свою клятву. Приняв Святое Крещение, он горячо и слезно каялся в страшном грехе убийства благовестника Христова и просил свой народ молиться за себя. И за кающегося святоубицу молилась вся Церковь Индийская, а на Небесах молил Господа о прощении своему палачу милосердный апостол Фома, — и так была спасена для вечности смирявшаяся душа раджи.

II

Не только в Индии, где святой Фома просиял в венце мученичества, но и в пройденной им от края до края Средней Азии апостольское Благовествование принесло обильные плоды. Средне-Азиатская Церковь быстро обрела силу и влияние. Здесь создавались мощные митрополии: Самаркандская, Мервская, Винкердская (как раз близ Шаша-Ташкента), первоначально к Средне-Азиатской Церкви относилась и митрополия Шины (Китая); позднее в Чуйской долине была создана Невакетская митрополия. По свидетельству аль-Беруни, в Мерве уже во II веке имелась многочисленная христианская община; есть сведения о распространении христианства в государстве Кушанов, которое в I—III веках по Рождеству Христову охватывало большую часть Мавераннахра, Афганистан, Синьцзян (Китайский Туркестан) и северо-западные окраины Индии. Раскопки археологов на землях Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана выявили множество памятников древнего христианства: некрополи, руины храмов, таблички с текстами псалмов, согдийские монеты, запечатленные знаком креста (эти находки датируются IV—XVI веками).

Средне-Азиатскую Церковь осеняла одна из величайших святынь христианства: на берегу озера Иссык-Куль находился армянский монастырь, где пребывало нетленное тело апостола и Евангелиста Матфея. Впоследствии обитель, хранившая святыне мощи, сокрылась под водами озера. (Близ этого места в 1882 году был основан Свято-Духовский православный монастырь).

Средняя Азия издревле являлась гостеприимным краем, отличавшимся широкой религиозной терпимостью. Здесь мирно соседствовали огнепоклонники, манихеи и христиане. В государстве эфталитов (белых гуннов), просуществовавшем с I до середины VI века, христианство являлось даже главенствующей религией. На единстве веры был основан союз эфталитов и армян в борьбе против зороастрийской Персии. Древнеармянский историк Егише пишет: «Они не замедлили вступить в договор по обрядам их законов, приняли на себя клятву христиан — с твердостью хранить единство».

Когда эфталиты были побеждены и растворены Тюркским

Каганатом, христианство начало распространяться и среди тюрков. Веру Христову приняли карлуки и канглы. Историк Феофан Византийский сообщает, что воины-тюрки из Бухары, сражавшиеся в 591 году против персов, имели на лбу знак креста: таким знаменем их матери ограждали своих детей от частых в те времена эпидемий чумы. В VIII веке заботами правителя Семиречья, кагана Иль-Тюргюка была создана особая митрополия для тюрков-карлуков с центром в Невакете. Христиане Средней Азии стремились иметь и собственных архипастырей. Тюрками были епископы Якалыга и Сарыга; имя последнего известно — это был знатный карлук Йарук-Тегин. Однако во времена каганатов единой религии в Средней Азии не существовало: потому Средне-Азиатская Церковь так и не обрела самостоятельности. Митрополиты и большинство епископов направлялись сюда Сиро-Халдейской Церковью. Оттуда-то и была привнесена губительная червоточина, которая, медленно разрастаясь, в конце концов привела к падению мощного дерева Церкви Средне-Азиатской.

Ереси! — этим коварным оружием с первых веков христианства пытался сатана разрушить Святую Церковь. Очаги их вспыхивали всюду, где извращенный и самовлюбленный людской рассудок посягал на чистоту Божественного Откровения, — и Соборный Разум Вселенской Церкви был вынужден вновь и вновь преодолевать лукавые лжеучения. В начале V века зачинщиком новой ереси явился сириец несторий. Гордыня его была поистине непомерна, — так, он сулил Византийскому императору Феодосию II: «Я дам тебе Небесное царствие! Я буду бороться тебе против персов!» Церковные историки того времени пишут о Нестории: «тщеславен, вспылчив и легкомыслен», «отличается показной святостью и высокопарным слогом в проповеди», «талантлив, но малообразован».

Его богопротивные вымыслы вызывали негодование верующих. В 431 году Третий Вселенский Собор осудил несторианство, а сам ересиарх вскоре умер в Египте. Однако лжеучение несторианства получило достаточно последователей, чтобы продолжать соблазн. Отвергнутые Вселенской Матерью-Церковью несториане ушли в Персию, где создали собственную иерархию. Тогда же несторианской ересью заразилась и «старшая сестра» Средне-Азиатской Церкви, христианская Сирия.

Вплоть до воцарения династии Сасанидов несториане в Персии пользовались покровительством государства. Из этой мощной и богатой державы несторианские «миссии» стали продвигаться в Среднюю Азию — по караванным дорогам Великого Шелкового Пути, приводящим в Мерв, Самарканд, Балх, то есть в центры христианских общин того времени. Как всякие отступники, несториане предпочитали не проповедовать язычникам, а совращать в свое верование людей, уже знакомых с Учением Христовым. Первой целью несториан в Средней Азии стало вытеснение «мелькитов», как здесь называли православных. По сообщению аль-Беруни, в начале V века в Мерве был

«мелькитский митран», то есть православный митрополит, однако уже через несколько десятилетий его сменил несторианин. Под давлением несториан были вынуждены покинуть свою обитель и православные иноки существовавшего в Мерве монастыря. Очевидно, подобное же творилось во всей Церкви Средней Азии.

Сасанидские гонения на христиан в Персии привели к резкому росту численности и влияния несторианских общин Мавераннахра. Гонимые за веру, несториане обретали приют в этих гостеприимных краях, где религиозные убеждения не отражались на человеческих отношениях. Но в то же время упоминания историков о среднеазиатских «мелькитах» становятся все скуднее.

Совершенно особое явление представляет собою история Церкви Хорезма. Сама эта земля является священной для всех мировых религий: ведь именно здесь совершился подвиг величайшего из древних проповедников, святого Иова (или Айюба, как именуют его мусульмане). Именно здесь праведный Иов, пройдя через жесточайшие страдания, сумел сохранить верность Небесному Отцу. Могиле его в Ургенче из дальних стран приходили поклониться христианские, мусульманские, иудейские паломники. Подвиг стойкости праведного Иова вдохновлял и православных христиан-хорезмийцев. На протяжении девяти веков Хорезмийская епархия уподоблялась непоколебимой скале Православия, отражавшей волны несторианства. Здесь не приняли никаких лжеучений, но примкнули к Антиохийской Патриархии и свято хранили чистоту веры.

Православная община Хорезма была надломлена ударом, потрясшим всю Вселенскую Церковь, — падением Византийской империи. После крушения «второго Рима» у Восточных Патриархатов уже не хватало сил для заботы об окраинных епархиях. А хорезмийские христиане слишком доверялись своим греческим учителям и не сумели воспитать собственное духовенство. В то же время древнейшая «гирканская» культура размывалась здесь влиянием воинственных гузов, — которые хоть и тянулись к вере Христовой, но восприняли букву, а не дух Учения Божественной Любви. Оскудение духовности привело к падению нравов. Посетивший этот край в 1300 году Гий-хан пишет о его жителях: «Они не имеют ни писем, ни законов, отличаются свирепостью, но соблюдают обряды и церемонии греков». Конечно, никакие «обряды и церемонии» не могли заменить живой веры. И уже в середине XIV века побывавшие здесь путешественники называют хорезмийцев «людьми без религии».

В 705 году вместе с войсками арабского полководца Кутейбы в Среднюю Азию пришел Ислам. Первоначально виделось, что это событие ничем не угрожает христианству, более того — благоприятно ему. По отношению к язычникам-зороастрийцам арабы придерживались жесткой миссионерской практики: в жилище огнепоклонников поселялся воин-араб и следил за тем,

чтобы все обитатели дома исполняли мусульманские обряды. Однако совсем иначе смотрели арабы на христиан, являющихся, согласно Корану, «людьми Книги». Что касается несториан, арабские мусульмане не могли не помнить, что спутником в странствиях основателя Ислама Мухаммада и первым переписчиком Корана был монах-несторианин Сергей. Именно во времена арабского завоевания христиане Персии смогли вернуться на родину. В послании к ним несторианский патриарх Тимофей I писал: «Арабы, которым Бог дал власть над миром в эти дни, как вы знаете, не только не противодействуют христианству, но хвалят нашу веру, и чтут священников и святых Господа нашего, и воспомоществуют церквям и монастырям».

Когда Средняя Азия была завоевана войсками Чингизхана, положение христиан здесь еще более упрочилось. Большинство татаро-монголов не знало Единого Бога, оставаясь в язычествешаманизме. Сам Чингиз, в родне и окружении которого, как известно, были люди разных вер и народов, считал религию «делом маловажным», но в своем политическом завещании Великой Ясе даже высказывал особое расположение к христианам. Власть над Мавераннахром Чингиз-хан передал второму своему сыну, христианину Чагатаю. Казалось бы, о лучших условиях для существования Средне-Азиатской Церкви невозможно было и мечтать.

Однако уже при ближайшем преемнике Чагатая стало очевидно, что среднеазиатское христианство-несторианство неуклонно движется к гибели. Несторианские общины одна за другой подвергались разгрому, последняя из них, уцелевшая под Самаркандом, исчезла в XVI веке. Причиной этого краха явилась «безумная ревностность» несторианских миссионеров.

Может ли христианство существовать в странах, где главенствует такая мощная религия, как Ислам? Ответ на этот вопрос, сейчас волнующий многих, очень прост. Мусульманство, крайне настроенное в отношении к протестантским сектам, англиканам и римо-католикам, — оказывается терпимо и дружелюбно к православным христианам, хранящим в чистоте апостольскую и святоотеческую веру. Ярчайший пример тому — история Константинопольской Патриархии. Турецкие султаны были гораздо более ревностными мусульманами, чем такие среднеазиатские правители, как Чингизиды и Караханиды. Но в Турецкой империи православные христиане открыто и свободно исповедовали свою веру, совершали Богослужения, даже решали сложнейшие болезненные вопросы церковной организации — такие, как создание самостоятельных Поместных Церквей на Балканах. А к обителям Святой Горы Афон, где православное благочестие приближалось к своему идеалу, мусульманские власти (в отличие от греческих «демократов») всегда относились с глубоким почтением, оказывали всяческую помощь инокам-святогорцам в их нуждах. И в наши дни: кафедра Вселенского Константинопольского Патриарха находится в мусульманской Турции.

Если бы христиане Средней Азии остались «мелькитами», сберегли бы святыню Православия, — нет сомнения, что история Церкви здесь была бы неразрывной, без длившегося более трех

веков «провала» в молитве и совершении Таинств. Православная вера Христова обращена не во внешний мир, но во глубины души человека, требуя прежде всего очищения и освящения его собственного сердца. Без этого всякая внешняя деятельность христианина остается мертвой. Проповедь Православия тиха и мирна: это есть исповедание любви к Богу и людям, свидетельствуемое чистотой христианской жизни. Здесь никому ничего не навязывается, нет крикливых зазываний и хитрых заманиваний: принимаются только те, кто пришел сам, а потом удержался в смиренном принятии Церковного учения и бытия. Православная Церковь кажется замкнутой и малоподвижной (потому всяческие «ревнителю» обвиняют Ее в «омертвлении»), но на деле Она следует завету апостольскому — «не судит внешних», а неустанно готовит Своих для вечной жизни. Такой путь к Небесному Отцу не может не вызывать уважения у приверженцев Ислама, основой религиозных убеждений которых является требование Высшей справедливости.

Православие, верное заповедям кроткого и любвеобильного Христа Спасителя, никогда не знало дикой «проповеди огнем и мечом», всегда чуждалось хитрых интриг в обращении прозелитов, чуралось кощунственного девиза западных «христианских миссий»: «цель оправдывает средства». «Крестовые» походы, жуткая «тайная политика» иезуитов, протестантское иконоборчество в средневековой Швейцарии и, уже в нынешнем веке, в Мексике; характер колониальных «миссий» во Вьетнаме и Индии, — все это слишком хорошо известно и не имеет никакого отношения к Христову Учению Любви. Вот так же и среднеазиатские отступники-несториане в свое время оказались в плену порочных миссионерских ухищрений. Они не хотели смириться с утратой былого влияния, не желали понимать, что народы Средней Азии уже сделали свой исторический выбор в пользу Ислама. Несторианские миссионеры, идя путем, противоположным заповеданному святым Фомой, проникали в придворные круги, порою им даже удавалось окрестить какого-нибудь вельможу или военачальника. Они стремились действовать и через жен знатных людей, это вызывало особое негодование мусульманской аристократии. Ответом на «ревностность» несториан был гнев мусульманских владык, оборвавший само существование среднеазиатского христианства-несторианства.

Первый Туркестанский архипастырь XIX века, архиепископ Сафония (Сокольский), глубоко изучавший историю Средней Азии, пишет: «Все громадное многовековое здание несторианства не устояло в искусительном огне народных переворотов. В нем недоставало оживления его духом Истины Божией, духом Православия».

III

В прошлом веке апостольская вера «мелькистов» — Православие вернулось в Среднюю Азию. И, хотя это событие последовало за вторжением имперской России, оно совершенно не походило на шествие «религии завоевателей». Самая дальняя епархия Русской Церкви была и самой бедной: паству ее состав-

ляли переселенцы, то есть ехавшие сюда в поисках «землицы» крестьяне из густонаселенных краев России, да ссыльное уральское казачество. К этим бедствующим скитальцам местные жители относились с жалостью и состраданием: и в своих рассказах переселенцы нередко вспоминают о гостеприимстве кыргызских юрт или узбекских караван-сараев.

Тяжким было поприще православного духовенства. Так, иеромонах Харитон писал из села Самсоновское: «Служить пришлось в крестьянской избушке. Изба так тесна, что при стечении народа дышать нечем, делается прямо невыносимая духота, свечи не могут гореть от давления воздуха. В довершение всего, певчих и чтеца не было; некому было пропеть даже «Господи, помилуй!», сам я все пел и читал». И он же отмечает: «киргизы сочувствуют бедным переселенцам — без того многие поумирали бы с голоду и нужды». А священник Кирилл Яршак из села Алексеевское жалуется: «Проповеди говорю самые короткие, потому что молитвенный дом холодный, а народ по бедности своей одет очень плохо». Подобных строк в отчетах сельских и разъездных пастырей Туркестана — многое множество.

К тому же отношение имперской администрации Туркестана к Церкви было, мягко говоря, прохладным. Туркестанские епископы именовались «и Ташкентскими» только номинально: поселиться в столице края им не удавалось, и это очень осложняло без того нелегкое управление епархией. Генерал-губернатор фон Кауфман надменно заявлял, что «не допустит в Ташкенте ни архиерея, ни жандармов». Его преемник генерал Куропаткин выражался аккуратнее: «Громкая, бьющая в глаза внешность православного епископа может умалить в глазах местного населения авторитет генерал-губернатора». Имперские чиновники противились попыткам архиереев утвердить кафедру в центре епархии вплоть до февраля 1917 года: только перед лицом грозной смуты смог, наконец, переехать в Ташкент тогдашний возглавитель епархии, архиепископ Иннокентий (Пустынский).

Нередки были и случаи грубого вмешательства имперских властей в церковные дела — такие, как открытие приходов и назначения на них пастырей. Впрочем, и в самой России наблюдалась подобная же картина: несмотря на сладкую сказку о «симфонии» между монархией и Православием, со времен Петра I Русская Церковь постоянно, а порою и очень горько страдала от произвола государственных чиновников.

Самая бедная из российских епархий была и поистине необозримой, значительно превосходя по территории любое из европейских государств. Правда, Закаспийская область (Туркменистан) первоначально причислялась к Грузинскому экзархату, зато весь Казахстан (вплоть до 1917 года) был под окормлением епископов Туркестанских и Ташкентских. Тем временем и Закаспийское православное духовенство оказалось как бы без возглавления: Грузинский экзархат имел особую, очень сложную церковную организацию, требующую постоянного присутствия архиереев: так что экзарх Грузии так ни разу и не сумел лично посетить вверенную ему туркменистанскую паству. В конце XIX века и этот край перешел в ведение Туркестанских архие-

реев. Надо сказать, что закаспийские православные проявили особую ревность. Ашгабат стал самым «церковным» городом Туркестана, здесь было создано 22 храма (даже в Ташкенте их имелось только 16). Верный — Алма-Ата, где вынуждены были размещаться архипастыри, оказывался как бы на окраине епархии, и неизмеримо трудно было с этой кафедры заботиться обо всей пастве Средней Азии.

Появление здесь православных приходов и храмов в большинстве случаев становилось возможно только благодаря горячей любви к Матери-Церкви, которой отличались русские крестьяне. Очевидец создания епархии, священник Евстафий Малаховский свидетельствует: «Переселенец-хлебороб был счастлив, когда после долгих прошений и скитаний ему, наконец, удавалось получить надел земли. Первой заботой его после этого было построить хотя бы маленький храм, и своими жертвами и трудами он вскоре воздвигал его». И в деле храмоиздательства переселенцам нередко помогала добрая рука мусульман. Характерен рассказ одного из крестьян села Троицкое, занимавшегося сбором денег на строительство дома Божия. В его избу однажды явился «человек в большой чалме и очень блестящем халате». Крестьянин сначала даже перепугался. Но неожиданный гость, оказавшийся муллою из соседнего кишлака, положил перед ним мешочек с несколькими золотыми монетами — пожертвование на «русскую мечеть».

Епархия ощущала острую нехватку священнослужителей: пастырское поприще в Туркестане требовало подвижничества, на которое решались немногие. Даже создав самоотверженными трудами храм, жители многих сел на долгие годы оставались сиротствовать без духовного отца. Они собирались в своем храме по воскресным дням, читали часы или совершали чин обедни. Задолго до Пасхи посылали они гонцов в дальние селения, где имелся священник, чтобы освятить куличи — а потом делили их на маленькие кусочки и благоговейно вкушали как святыню в день Воскресения Христова. Там, где не было колоколов, крестьяне встречали великие праздники, разводя костер посреди села, а местные охотники салютовали из ружей. Приобретение колокола, также связанное с немалыми трудностями, становилось огромной духовной радостью. Одна крестьянка из села Васильевского простодушно восклицала: «Слава Богу, мы обзавелись теперь колоколом, а то и звону не слышали лет двадцать! Батюшки нет, так будем ходить и молиться хоть на колокол».

Туркестанские архиереи предпринимали нелегкие попытки для пополнения рядов духовенства. Многие сумели сделать епископ Григорий (Полетаев), окормлявший епархию в 1892—95 годах. До прибытия в наши края Преосвященный Григорий немало лет преподавал в духовных училищах, и ему удалось призвать на служение в Туркестан некоторых своих учеников — ревностных молодых пастырей, не испугавшихся трудностей на ниве Божией. Их так и называли «григорьевцами», эти священнослужители оставили заметный след в летописях епархии. Но все же, вплоть до 10-х годов нынешнего века, Туркестанские архиереи получали «слезницы», в которых криком кричали

православные сердца. В одном из таких прошений, поступившем в 1908 году на имя епископа Дмитрия (Абашидзе), говорится: «Тяжело было нашему сердцу жить без храма, еще тяжелее было разговляться в Светлое Христово Воскресение неосвященным хлебом. И вот собрали мы свои последние гроши и выстроили молитвенный дом. Но все же не исцелили мы своей тоски. Умилосердись над нами, Владыко, укрепи нам слугителя апостольского. Как нам жить без Божественной Литургии, как нам жить без наставника нашей жизни! Горько, очень горько жить так православному человеку, но еще в сто раз горше умирать. Умирать, как бессловесному созданию, без Святого Причащения! Пожалей наши души, Владыко, не дай нам умирать без покаяния, назначь к нам пастыря! А мы будем любить его, будем сохранять его, как отца родного!»

Это прошение писалось, когда на Россию уже надвигалось богоборческое безумие, захлестнувшее и Среднюю Азию, — а наша епархия еще оставалась немощной. Но в канун страшных испытаний Милостивый Спаситель, укрепляя верных, послал и на Туркестанскую ниву Свою усерднейшего архипастыря.

Им стал епископ Дмитрий, происходивший из древнего грузинского рода князей Абашидзе. Когда он вступил на Туркестанскую кафедру, ему еще не было сорока лет — и все силы молодости, всю пылкость своей души Преосвященный Дмитрий посвятил служению православной пастве. Невзирая на трудность тогдашних дорог, он несколько раз из конца в конец объехал необъятный Туркестан, вдохновляя священнослужителей и прихожан, изучая их нужды. Он рукополагал пастырей для дальних приходов, сам подбирая их из числа грамотных и глубоко верующих сельчан, а также — «лаской и таской» добывал в России священников для своей епархии. Всюду, где только мог, — и в российских столицах, и у местных купцов и промышленников, Преосвященный Дмитрий выпрашивал и вымаливал средства на нужды Церкви. Он обогатил епархию бесценными святынями; его попечением сюда были доставлены частицы святых мощей великомученика и целителя Пантелеймона, множество икон из Новгорода, Киева, списки чудотворных Афонских образов. При нем были основаны Иверско-Серафимовский женский монастырь в Алма-Ате и иноческая община в Ашгабате. Всего за шесть лет его архипастырского служения в Туркестане было создано 84 новых дома Божиих, и во всех храмах епархии были пастыри! Прежде между имперскими властями и православными архиереями здесь возникали постоянные конфликты; доброму и обаятельному епископу Дмитрию удавалось как-то смягчать и эти отношения.

В 1912 году императорским указом он был переведен в Крым. Пылкой любовью и болью разлуки с нашим краем, с добрым его народом звучало прощальное восклицание Преосвященного Дмитрия: «Прильпне язык мой гортани моему, аще забуду тебя, Туркестане!» Яркой была и его дальнейшая судьба. Когда началась мировая война, Преосвященный Дмитрий, по собственному настоянию, плавал простым судовым священником на одном из боевых кораблей крымского флота. Он стал архиепископом Таврическим, сыграл заметную роль на Помест-

ном Соборе 1917—18 годов, где ратовал за спасительное для Русской Церкви деяние — восстановление Патриаршества, свершившееся непосредственно перед началом богоборческого террора. Господь не попустил этому ревностному архипастырю оказаться в чекистских застенках: в 1918 году он лишился зрения, и слепого архиерея не тронули. Высокопреосвященный Дмитрий подвизался далее в уединенном молитвенном делании в стенах Киево-Печерской Лавры, и там в 1944 году глубоким старцем отошел ко Господу...

В тяжелейших трудах ради душ собственной паствы, оказавшихся здесь русских людей, совершало свое служение православное духовенство Туркестана. Нет, совсем не похоже было это на «религию колонизаторов».

В течение всего имперского периода, длившегося около полувека, приняли христианство 8 кара-кыргызов, 2 туркмена, 3 узбека и 1 «перс» (вероятно, таджик). В то же время 9 россиян в Туркестане перешли в мусульманство, среди них оказался даже священник по фамилии Громов. Очевидно, что перемена веры была совершена этими немногими людьми из внутренних побуждений, нисколько не затрагивая отношения Православия и Ислама.

Не церковное дело — рассуждать о мирской политике, действиях земных властей и общественных лидеров. Однако глубокий смысл народных судеб — это есть область Божественного Промысла, приоткрывающаяся лишь для духовно просвещенного взгляда. Только какой-нибудь «исторический материалист» либо «позитивист» не разглядит под многоцветной и, увы, окропленной кровью тканью времен ничего, кроме низкой «классовой борьбы» или бурлящего хаоса случайностей. Но мировоззрению верующих доступно понимание того, что Премудрым смотрением Всевышнего и из злых дел падшего рода человеческого могут произрасти благие плоды для народов...

Конечно, сказки советских псевдоисториков о «присоединении» Мавераннахра к Российской империи — прямая фальсификация. Среднеазиатской авантюрой царь Александр II, ввязавшийся в борьбу за «сферы влияния» с Великобританией, вовлек свой народ в исторический грех, требующий покаяния — которое должно быть принесено в трудах честных русских ученых и мыслителей, в сознании сынов России...

Тоталитарный большевистский режим обрушил лютые гонения на поклонников Единого Бога: и на Православие, и на Ислам. Общие страдания роднили мусульман и православных в те жестокие годы. Русская Церковь многим обязана доброй среднеазиатской земле: здесь укрывались от казни тысячи русских священников и иноков, находя убежища с помощью узбеков и туркмен, кыргызов и таджиков.

Не мирской блеск, а страдания за веру составляют славу последователей Распятого Вселюбящего Спасителя. Многих славных исповедников знала наша епархия. Дороги ссылки привели на Среднеазиатскую кафедру крупнейших иерархов Русской Церкви, митрополитов Арсения (Стадницкого) и Никандра (Феноменова), — их обоих Поместный Собор 1917 года

выдвигал кандидатами на Патриаршество, а затем они стали ближайшими сподвижниками святого Патриарха Тихона, вместе с ними предстали перед богоборческим судилищем. Здесь, в горах Таджикистана, вершил уединенный молитвенный подвиг схимник Петр (епископ Питирим) Лодыгин. Здесь сражался с обновленческой ересью ревнитель Православия, епископ Андрей (Ухтомский) — и после лагерной каторги обрел он приют в туркменском городке Теджен. Здесь возрастал и закалялся духом мужественный исповедник и замечательный мыслитель, знаменитый медик архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). В те годы среднеазиатские архипастыри совершали Богослужения возле малой часовенки на ташкентском Боткинском кладбище — но тем ярче сиял светоч веры их паствы, хранящей святыню Православия среди гонений.

Последним среднеазиатским архиереем 30-х годов был архиепископ Борис (Шипулин). В 1924 году, после трех лет, проведенных им в тюрьме, чекистам удалось сломить его и он публично «отмежевался от Патриарха Тихона», — но затем нашел в себе силы для глубокого покаяния и духовного возрождения. До конца своего архипастырского служения Преосвященный Борис оплакивал свой грех, носил вериги и власницу, питался только хлебом и водой. В 1936 году власти пытались вновь принудить его к отступничеству, сделать обновленческим «митрополитом всея Средней Азии», — он решительно отказался примкнуть к еретикам и был арестован, а через год — застрелен конвоем на сибирском этапе.

Даже оставшись без архиерейского возглавления, Средне-Азиатская епархия продолжала хранить острова благодати. Только чудом Господним можно объяснить то, что в самаркандском Покровском соборе никогда не прерывались православные Божественные службы. В избушке на берегу Иссык-Куля продолжал вершить пастырский труд наследник известных Оптинских старцев, архимандрит Борис (Холчев), к которому со всей страны стекались духовные дети. В тесном кругу маленькой общины, в одной из ташкентских квартир совершал Богослужения митрополит Гурий (Егоров), в прошлом — знаменитый основатель православных братств Петербурга и сибирский заключенный, в будущем — восстановитель Троице-Сергиевой Лавры и глава Ленинградской епархии.

Именно митрополиту Гурию довелось в 40-х — начале 50-х годов возрождать приходскую жизнь Средне-Азиатской епархии. Со всех концов края являлись к архипастырю уцелевшие священники (почти все прошли лагерные сроки, а потом устраивались кто куда, чтобы снискать пропитание: работали бухгалтерами, аптекарями, сторожами. Духовно изголодавшийся православный люд устремился восстанавливать храмы и создавать молитвенные дома и пылко принял к роднику Божественных служб. Старейшие наши прихожане вспоминают: «Тогда мы будто воскресли из мертвых». Не успело пройти и года, как десятки приходов вновь открылись в епархии.

Преемник Высокопреосвященного Гурия, архиепископ Ермоген (Голубев), вступивший на кафедру в разгар новых гонений — хрущевщины, совершивший казавшееся немислимым деяние. Когда

по всей стране разрушались еще уцелевшие храмы, — в Ташкенте ему удалось не только восстановить, но практически выстроить заново неказистую госпитальную Свято-Успенскую церковь, ставшую величественным кафедральным собором. За это доблестный архипастырь подвергся травле в печати, домашнему аресту и высылке, — но вряд ли это могло испугать того, кто 12 лет провел в сталинских лагерях...

Славные имена и яркие страницы истории нашей епархии должны вселить мужество и поддержать добрые надежды в нас, ныне живущих в Средней Азии православных христиан. А благожелательность мусульман к православным христианам, как говорилось, имеет глубокие корни. Доводилось слышать от представителей исламского духовенства: «Если у православных возникают трудности, пусть обращаются к нам, — мы всегда рады помочь». Многому мы можем поучиться у наших мусульманских братьев: ими совершен великий духовный подвиг — сквозь десятилетия тоталитарного ига они пронесли неповрежденной свою веру, нравственность, добрые обычаи предков, крепкие многодетные семьи. В труде на благо нашего прекрасного края, в свершении дел милосердия, в утверждении мира и братолюбия открывается поприще и православным христианам. Такое соседство может оказаться очень плодотворным. Знаменитый православный философ прошлого века Константин Леонтьев утверждал и на ярких примерах доказывал: государства с однообразной внутренней жизнью обречены на увядание; только там, где соседствуют несхожие явления духа — возникает «цветение культур». И нет сомнений в том, что древнюю землю Средней Азии еще ждет большое и славное будущее...

Самым дальним из апостольских странствий был путь святого Фомы Ближнеца, чье вдохновенное слово звучало и в нашем краю. В святом своем упорстве апостол не страшился никаких испытаний, но привлекал к себе сердца людей разных народов христианской любовью, чистотою и высотой своего подвижнического жития.

В самом имени святого Фомы скрыта некая тайна. «Фома» в переводе с еврейского значит «близнец», так же переводится и греческое слово «дидим», которым тоже именуется этот ученик Спасителя. Чьим же «близнецом» был святой Фома Дидим, на кого похож был он? На его иконах мы видим очень своеобразное лицо — молодое и строгое, с несколько заостренными чертами, отмеченное горением целеустремленного духа. Этот человек кажется подобным неустанно летящей стреле. Схожей внешности не было ни у кого из других апостолов, и совсем далекой видится она от Лика Самого Спасителя. Однако же, когда Иисус Христос явился в видении согдийскому святителю Дионисию, тот принял Его за своего наставника апостола Фому, а Господь сказал: «Я не Фома, а Брат его». Да, не чертами лица, а духом своим, устремленным вослед Божественному Учителю, сделался святой апостол Фома похожим на Самого Сына Божия, — и Господь назвал его братом, сыном Отца Небесного.

Анатолий Сагдуллаев Шахиста Улжаева

НАСЛЕДСТВО

Древний географ Ибн Хаукаль был мудр. Он нашел очень точные слова для рассказа об этом городе в своей знаменитой книге «Пути и страны»: «Самарканд — средоточие утонченных людей Мавераннахра. Лучшие из них получили воспитание в Самарканде»...

В 1394 году — у великого Амира Тимура родился внук Улугбек.

Старый полководец воевал долго и много. Четыре сына его — Джахангир, Умар Шайх, Мираншах и Шахрух тоже слишком часто держали драгоценные ножны сабель своих пустыни, — сабли были вскинуты к бою...

Такая беспокойная жизнь, прибавляя земли, отнимала многое, — к концу правления Амира Тимура из его сыновей остались в живых лишь Мираншах, впрочем, тоже погибший — чуть позже — в 1408 году, и Шахрух — отец Улугбека.

Идея великих походов была заразительна. Она переходила по наследству. И в дальнейшем, наверное, мог ее подхватить юный еще Улугбек. В пятнадцатилетнем возрасте он взошел — велением своего отца — на престол не одного лишь «утонченного» Самарканда, но и всего, бурлящего жизнью живою, блестящего Мавераннахра.

Походы, конечно, были... Успешные и не очень. Молниеносные и — тянущиеся подолгу, как осенние дожди. Один из самых удачных — поход 1424 года. Тогда у озера Иссык-Куль Улугбек наголову разбил войска моголистанских эмиров, среди богатой добычи захватив, кстати, и знаменитый нефрит, установленный позже на могиле Тимура.

Наследством великого деда, в обладание которым вступал Улугбек, были не только тугие мешки с сундуками, наполненные ценным добром, или земли с чужими людьми, вовсе не видимыми из далекого от них Самарканда, но, может, прежде всего — еще и внешняя, прихлынувшая от всего экуменического, похо-

дами открываемого мира, культура — культуросфера — собранных в единую связку многоязыких народов.

Самарканд стал еще большим, нежели прежде, ее средоточием.

Походы, должно быть, по-своему сделались скучными Улугбеку. Время походов — не время ученых бесед и литературных диспутов. В них не могло быть места ни для Арифа Азари — сказителя и поэта, ни для Кази-заде Руми — «Платона своей эпохи».

Ариф Азари пробудил в юном Улугбеке любовь к литературе, языкам, и тот в совершенстве стал знать тюркский—староузбекский, персидский и арабский. А Кази-заде Руми заложил в Улугбеке любовь к математике и астрономии, которые сделаются его излюбленными науками.

Улугбек, так же как и Амир Тимур, прекрасно понимал, что мощь государства не может быть основана исключительно на походах и войнах, что самое большое государство останется всего лишь большой провинцией, даже провозглашаясь «великим» и «могучим», если оно не начнет всячески поддерживать ремесленников, зодчих, художников, ученых и поэтов. Свидетелем подобной заботы сделался испанский посол Рюи Гонзалес де Клавихо, в своем дневнике путешествия ко двору правителя специально отмечающий, что в Мавераннахр беспрепятственно пропускают купцов, ремесленников, строителей и всякого кто хотел. Однако покинуть Мавераннахр без разрешения никому не дано: на переправах через Амударью тщательно проверяют отъезжающих...

Государство не хотело терять ученых и зодчих, любых людей, способных к творческой работе, имеющих талант умельцев...

В 1420 году в Самарканде, на площади, получившей затем название Регистан, было построено медресе — здание необычно стройных пропорций, с высоко поднимающимися четырьмя куполами и минаретами.

Здесь станет слушать лекции поэт Абдурахман Джами, начнет преподавать Кази-заде Руми и, видимо, сам Улугбек, хотя источники не сохранили об этом конкретных сведений. Зато есть рассказ о том же периоде, переданный академиком В. В. Бартольдом: «Когда постройка приближалась к концу, присутствующие при сооружении здания спросили Улугбека, кто будет назначен мударрисом. Улугбек ответил, что им будет приискан человек, сведущий во всех науках. Слова Улугбека услышал Мавлон Мухаммад Хорезми, сидевший тут же в грязной одежде «среди куч кирпича», и тотчас заявил о своем праве на эту должность. Улугбек стал его расспрашивать, убедился в познаниях, затем велел отвести в баню и надеть на него хорошую одежду...

В день открытия медресе Мавлон Мухаммад прочитал лекцию в качестве мударриса; присутствовало 90 ученых... впрочем,

никто из них не понял лекции, кроме самого Улугбека и Кази-заде Руми».

Широко известны устроительные работы Улугбека на знаменитом кладбище Шахи-Зинда («Живой царь»), где нашли последнее упокоение знатные люди Самарканда, известные военачальники и представители династии Тимуридов.

В 1434 г. здесь был сооружен входной портал, ведущий в комплекс Шахи-Зинда, а в 1437 г. — замечательный мавзолей Кази-заде Руми. Усыпальница наставника Улугбека находилась в южной, пониженной части некрополя, и Улугбек распорядился построить мавзолей в таких пропорциях, чтобы его купол находился на одном уровне с куполами мавзолеев представителей династии Тимуридов. Это была дань уважения к таланту и гению ученого, внесшего удивительно большой вклад в науку.

До последних своих дней Улугбек питал огромное уважение к памяти Амира Тимура и делал все, чтобы продолжить строительные работы, начатые последним; это наследство великого деда ценилось им как никакое другое; в июле 1435 года на родине Сахиб Кирана — в городе Шахрисабзе — он поручил заложить фундамент для мечети, воздвигнутой уже буквально через год после этого, и получившей — благодаря огромному голубому куполу диаметром в 15 метров — название Кук Гумбаз. Мечеть богато украшена майоликовой облицовкой. Это один из шедевров архитектуры эпохи Тимуридов. Здесь же в Шахрисабзе Улугбек распорядился начать строительство усыпальницы для своих потомков — мавзолеем Гумбазы Сайидан.

А в пригороде Самарканда Улугбек основал великолепный сад-дворец Баги Майдан. Сад утопал в цветах и зелени широколистных деревьев, среди которых, словно стремясь к небу, легкими контурами возвышался двухэтажный дворец Чильсугун. Перекрытия его помещений и галерей-айванов поддерживались каменными колоннами. Неподалеку, в глубине фруктового сада, видна была беседка «Чиннихона» с панелями из китайского фарфора синей росписи, особенно выделяющейся весной на фоне буыного животворного цвета.

Все подобное, приобретенное как наследство Тимура, приумножалось достойным Улугбеком, становясь уже наследством его самого...

И устройство внутригосударственных дел — а правил он сорок лет — достойно династического имени. Провел он, например, денежную и земельную реформы. Запретив чеканить разновесные медные монеты в разных городах (Самарканде, Ташкенте, Андижане, Карши, Термезе и других), он, начиная с 1428 года, закрыл все монетные дворы, кроме одного. Единая для всего государства монета, с указанием года реформы, выпускаясь лишь в Бухаре, своей высокою равнозначностью «подталкивала» товарное перемещение, «увязывала» интересы торговцев разных краев обширного государства. Специфический вид и неизменно одинаковый вес этих монет исключал

фальсификацию. На них можно было покупать товар в любых городах и селениях Центральной Азии.

При Улугбеке был уменьшен и размер поземельного налога, — действие, давшее, очевидно, его современнику возможность сказать: «Он придерживался похвальных правил в деле управления и правосудия».

Неправо общее мнение, сложенное о многих, что-де велик был правитель, да вот деяния его умаляют ничтожные придворные. Великий не окружает себя ничтожными, и стоит взглянуть — какие умы сошлись вокруг Улугбека... В его эпоху в Самарканде — часто и при дворе — жили, творили: ученые-математики и астрономы Казизаде Руми, Мавлоно Муин Кашани, Гиясиддин Джамшид, Али Кушчи, поэт Абдурахман Джами, художник Ходжа Гиясиддин, историк Абдураззак Самарканди, музыкант Али Гарибий...

По словам того же де Клавихо, в театральных празднествах Самарканда, массовых городских карнавалах принимали участие тысячи актеров, музыкантов и танцоров. Их песни исполнялись на самых различных языках мира — тюркском, таджикском, арабском, китайском, монгольском...

Сам Улугбек стал — равноправным! — автором пяти музыкальных произведений. Крупнейшее из них — «Шодиёна» — сохранилось до сегодняшних дней.

Но главным в его наследстве стало другое...

В двадцатых годах в местности Накши-Джахан на берегу арыка Обирахмат было начато строительство уникального здания. Обсерватории.

Абдураззак Самарканди, Али Кушчи и Бабур оставили нам описание этого сооружения, представлявшего собой круглое трехэтажное здание высотой более 30 м и диаметром 46 м. Бабур пишет: «Другая высокая постройка Улугбека мирзы — обсерватория у подножия холма Кухак, где находится инструмент для составления звездных таблиц. В ней три яруса. Улугбек мирза написал в этой обсерватории «Гурагановы таблицы», которыми теперь пользуются во всем мире».

Здание было украшено мозаикой и мраморными плитами. Часть главного инструмента обсерватории, секстанта Фахри, начиналась на глубине 11 метров в траншее, выбитой в скале.

Эта обсерватория сыграла огромную роль в развитии астрономии. В ней не только велись наблюдения за Солнцем, Луной и другими планетами; отсюда впервые «определено» положение многих звезд.

Ученый прожил относительно недолго, немногим более 55 лет. Зрелый возраст. Возраст замыслов, возраст новых открытий.

Однако, ножны освобождают от сабель не только для праведных дел...

Нет, не думал Улугбек, что придет время и он будет убит с ведома своего сына, которого горячо любил и называл Абдулатиф — наследник престола.

Стремление к власти, почестям, славе, стремление любой ценою сделаться обладателем наследства, без понимания, что подобное — в области духа и знаний особенно — вряд ли возможно во зле, силою и слабостью зла, похоже, лишило юношу рассудка...

Абдулатиф умертвил также и брата. Но отмщение догоняет; спустя лишь полгода он становится жертвою заговорщиков. Кинжал убивший стал наследством Абдулатифа.

Отрубленная голова преступного сына потом будет выставлена у входной арки медресе Улугбека и люди, пришедшие посмотреть на нее, не тогда ли начнут понимать, что мысли Абдулатифа, приведшие к такому концу, не стоили даже маленького обломка глазурованной плитки этого медресе — монументального храма знаний, достойного напоминать людям о величии и гениальности вечно.

О чем думал он, Улугбек, стоя спиной к убийцам, лицом к Мекке благословенной, куда не дошел? О престоле и утраченной власти? О горьком конце и предательстве мнимых друзей и сына? Или же — о незаконченной работе в обсерватории, о планах строительства хранилища рукописей, о судьбе учеников и единомышленников, о скором разрушении государства и всего, что было создано упорным, ежедневным трудом?

Об этом никто никогда не узнает.

В последний раз закрылись за ним ворота Самарканда, славу которого он так энергично приумножал. Не откроются им никогда и ворота Шахрисабза, где на фоне золотистых осенних садов возвышаются голубые купола зданий, воздвигнутых его волей. Он проедет мимо чужих селений и одиноких крепостей. Редкие встречные вежливо посторонятся и станут долго глядеть ему вслед. В степи будет грустно выть ветер и где-то вдали среди развалин, проросших кустарником, ему станет вторить одинокий волк.

Холодна осень 1449 года. Холодна жизнь земная, предавшая. Но не холодны знакомые звезды на небе. Кажется, что над Самаркандом, Китабом и Шахрисабзом собраны все они со всего мира. И горят так ярко, и лежат так низко, что невольно вскидываешь вверх руки, чтобы прикоснуться к одной из тысяч тысяч. Или ко всем разом — истинному наследству.

ЗИДЖ-И ДЖАДИД-И ГУРАГАНИ

Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!

«Благословен тот, который устроил в небе созвездия и устроил там светильник и сияющий месяц». «Он — Тот, Который ночь и день сделал чередой для тех, кто желает вспомнить и желает благодарить»¹, царственный владыка, который утренний светильник зажег своей мудростью, то есть сделал «...пылающий светильник». Знамя стиха: «и низвели из выжимающих дождь, воду обильную» поднято желанием и волей Его могущества, измеряющей мудрость и наблюдающего за слоями семи небес. Их число и количество, стороны и протяжение закреплены между собою без видимой связи, лишь Его могуществом. Он «Тот, Кто воздвиг небеса без опор» и разукрасил слои небесных сфер звездами: «Мы ведь украсили небо ближайшее украшением звезд» картинами, подобными жемчугам, несколькими тысячами звезд, неподвижными и блуждающими, в необходимом количестве. «И землю после этого распростер» Он по ним — по равнине и по разноцветному ковру своим повелением: «Будь!» — «И она стала» сделанной редкостного вида и искусного рода, ясной и разукрашенной.

Для вещества элементов и порождения ипостаси человеческого Он избрал особый знак: «Мы сотворили человека лучшим сложением», что в высшей степени соответствует его положению «Мы почтили сынов Адама». Ввиду необходимости опоры добродетели, Он облачил обладателя пророческой миссии в платье добродетели с позолоченными рукавами. «Вот — посланники! Одним Мы дали преимущество над другими», способом, упомянутым в словах: «Он властвует над тобой со времени сотворения небес»². И он мудро повелел сподвижни-

Приводятся: перевод введения к «Зиджу» и отрывки из глав.

Более полный текст см.: «Материалы по истории науки и культуры народов Средней Азии», Т., «Фан», 1991 г. Текст подготовлен А. Ахмедовым.

кам своим: «Как звездам, с каким-либо из них вы следовали — вы встали на верный путь; его детям, внукам, друзьям и близким», подобны звездам неба имамства и солнцам мира достоинства. Устроил наградой халифата особо и лучшим украшением имамства: «О вы, которые уверовали! Совершайте молитву над ним и приветствуйте приветствием».

А затем так говорит ничтожнейший из рабов божьих, наиболее стремящийся из них к Аллаху, Улугбек сын Шахруха сына Тимура Гурагана:³ — Да делает Аллах великий лучшими его обстоятельства и удачливее добром его чаяния, который, распростерев крыло и распространив пользу ручательства благами народов и заботясь о достижении истинных путей родом людским над необходимо видимым, летая на крыльях великодушия, а также великодушные и сокращение подозрения по достижению селений совершенства и собиравание деяний щедрости и достиг достоинств окружения и охвата.

Поводья стремления красивы и узды старания весьма досточтимы, когда достижение научных истин и обладание тонкостями мудрости обращены и истрачены на то, чтобы помощь Бога милосердного достигла сего ничтожного.

Поистине «кто ищет вещь и старается, тот достигает» пером пронизательности и водоворотом мысли тайн наук и тонкостей искусств, особенно в философии. Ибо смена народов и изменение религий, разница и изменение языков различных времен не проникают в область ясности их доказательств и открытий⁴. Поскольку Господь Бог, всемогуще Его имя, из глубоких сокровищниц щедрости: «Нет вещи без того, чтобы у Нас были ее сокровищницы, и низводим Мы ее только по известной мере» сему бедному и ничтожному рабу подарил такую великую милость и громадную щедрость и особую привилегию в смысле стиха:

Поистине наши памятники свидетельствуют о нас,
И смотрите после нас на памятники⁵.

Нарисовав чудесную картину мира и водрузив знамя чести и славы на вершину купола вращающегося неба, повелел нам вести наблюдение звезд. Начало работам было положено при поддержке и помощи его высочества учителя и господина ученых мира, водрузившего знамя совершенства и мудрости, следующего путем исследования и уточнения, нашего господина Салах ал-Миллаваддина Мусы, известного как Кази-Заде Руми⁶, милость и прощение ему, и его высочества нашего великого господина и гордости ученых мира, совершенства наук древних, раскрывающего трудности задач Мавляна Гийас ал-Миллаваддина Джамшида⁷, да сделает Аллах великий прохладной его могилу. Светлый ум каждого из них был светочем умов собрания ученых, зеркалом мира, отражающим достоинства человечности. В начале обстоятельства господин Мавляна покойный Гийасадин Джамшид, да будет земля ему пухом, услышав призыв: «Отвечайте призывающему Аллаху...», принял его послушно и отправился из обители гордости сего мира в обитель радости того мира. В середине обстоятельства, еще до того, как

важная книга была выполнена и завершена, его высочество мой учитель, да возблагодарит его великий Аллах, приблизился по соседству с милосердием Творца⁸.

Однако благородный сын Али ибн Мухаммад Кушчи⁹ с юных лет и в расцвете молодости держит пальму первенства на поприще наук и увлечен их отраслями, так что есть твердая надежда и истинное упование, что слава о последствиях этого в ближайшее время и быстрейшие мгновения распространится и разнесется по окрестным краям и государствам, если будет угодно Аллаху великому. И с помощью Божьей и Его бесконечной милости сия важная, достойная и трудная книга будет завершена полностью. Все, что было наблюдено в свечении звезд и определено исследованием, занесено в сию книгу, состоящую из четырех макал¹⁰.

Благодетельных характером и редкостных — великодушием пронизывающих грудь вельмож и мудрецов пронизательных — мы просим, поскольку делать упущения и совершать ошибки свойственно человеческой природе, то если будут найдены такие, — свести их каламом мускусоподобным и пером жемчугоподобным, а то, что исправимо — исправить. Ежели что-либо выходит за пределы поправимого и улучшимого, то сие облачить подолом прощения и прикрыть и быть всепрощающим, но не порицающим, быть покрывающим недостатки, но не извергающим злословия, так чтобы одежда их деяний была вышита по образцу: «...которые прислушиваются к слову и следуют за лучшим из них! Это — те, которых повел Аллах, и они — обладатели разума».

Тот, кто прощает и исправляет, да вознаградит того Аллах великий¹¹.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭР

Поскольку из всех небесных тел наиболее ярко видимыми являются Солнце и Луна, то за год принято одно обращение Солнца по своей орбите; продолжительность одного его оборота, то есть время, прошедшее от момента его отделения от одной точки, как например, начало Овна, до его возвращения в эту точку, принято за один год¹², за месяц принят один оборот Луны по своей орбите, то есть время с момента отделения Луны от определенного места по отношению к Солнцу, как, например, положения соединения при новолунии, до ее возвращения к этому же месту, это принято за один месяц¹³.

Поскольку двенадцать обращений Луны приблизительно равны одному обращению Солнца, то двенадцать обращений Луны по своей орбите принимают за один год и его называют лунным годом, а то другое называют солнечным годом¹⁴. Так как одно обращение Луны приблизительно равно продолжительности движения Солнца по одному знаку зодиака, то время продвижения Солнца по одному знаку зодиака принимают за один месяц¹⁵. Этот месяц называют солнечным, а то второе — лунным месяцем. Как год, так и месяц бывают солнечным и лунным. Каждый из этих двух промежутков бывает

истинным, в котором числа суток и месяцев основываются на истинном движении обоих светил, и бывает условным, если числа основываются не на истинном движении обоих светил. Промежутки имеют восемь частей, о каждой из них мы скажем на своем месте, если будет угодно Аллаху.

Что касается суток, то они имеют два вида. Один из них истинные сутки, они среди астрономов нашего государства и западных земель отсчитываются от середины дня до середины следующего дня. У астрономов Китая и уйгуров отсчитываются от полуночи до другой полуночи, а арабы и люди шариата отсчитывают от начала ночи до начала следующей ночи. Астрономы же других народов отсчитывают от начала дня до начала следующего дня. Хотя эти сутки и были названы истинными, но астрономы имели в виду условность. Второй вид суток — средние сутки, это величина одного обращения большого круга при среднем движении Солнца. По нашему наблюдению, это равно $0^{\circ}59'8''19'''37^{IV}43^{V16}$.

День у астрономов и сведущих людей, персов и румов начинается от восхода центра диска Солнца до его захода, а у людей шариата — от восхода истинного рассвета до полного захода тела Солнца. Поскольку все виды условного дня известны, то также будут известны и условные ночи, ибо начало дня — это конец ночи, а конец этого — это начало того.

Астрономы нашего государства как средние, так и истинные сутки делят на двадцать четыре равные части и называют их равными, а также уравненными часами. Части средних суток также называют средними часами, а истинных суток — истинными часами. Далее и день и ночь делят на двенадцать равных частей и их называют косыми, а также сезонными часами¹⁷.

Астрономы Китая и уйгуров сутки в первый раз делят на двенадцать частей и каждую называют чагом. Названия этих чагов приводятся в следующем порядке: кешку, ут, барс, тавушкан, лу, йилан, юнед, кой, сичен, дадук, ит, тонгуз — по-туркски. Цзы, чоу, инь, мао, чэнь, сы, ву, вэй, шэнь, ю, сю, хай — по-китайски¹⁸.

Каждый чаг они делят на восемь частей и одну из них называют кэ.

Второй раз они сутки делят на десять частей и каждую часть называют фенк. Таким образом каждому чагу соответствует восемьсот тридцать три фенка с третью. Каждому кэ соответствует сто четыре фенка с одной шестой. Начало суток они отсчитывают от пятого кэ первого чага, так что к полуночи у них от начала суток истекает одна половина чага цзы и кешку, а другая половина остается¹⁹.

Если в каком-либо году случилось великое событие, подобно явлению нового народа или государства, либо случился потоп или землетрясение или им подобное, то начало этого года они принимают за начало эпохи, которую называют эрой и будут отсчитывать ее до тех пор, пока со временем не будет отмечено другое великое событие, которое также будут считать началом, но другой эры. У каждого народа за начало эры условно принимается какое-либо другое событие. Таковы, например, эра Хиджры, эра персов, эра румов, эра малики и эра китайцев

и уйгуров. О каждой из них будет сказано в своем месте, если будет угодно Аллаху.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭРЫ ХИДЖРЫ

Началом этой эры является начало месяца мухаррам, в котором пророк Мухаммад — избранник, да будет ему благословение Аллаха и приветствие, переселился из Мекки в Медину. Это было на рассвете в середине четверга, а по преданию — пятницы. Мы же примем четверг. Люди шарията месяц по этой эре отсчитывают от появления одного новолуния до появления другого новолуния. Этот месяц никогда не превышает тридцати суток и не бывает меньше двадцати девяти суток. Четыре месяца последовательно считаются по тридцать суток, но не больше, а три месяца — по двадцать девять суток и не больше, а год берут состоящим из двенадцати месяцев, за год и месяцы у них приняты истинные лунные²⁰. Астрономы у мухаррама считают тридцать суток, у сафара — двадцать девять, и так до конца года поочередно один месяц берут из тридцати суток, другой месяц из двадцати девяти суток. В каждом тридцатилетии зу-л-хиджу одиннадцать раз берут по тридцать суток. Это будет во втором, пятом, седьмом, десятом, тринадцатом, пятнадцатом, восемнадцатом, двадцать первом, двадцать четвертом, двадцать шестом и двадцать девятом годах. Эти одиннадцать лет будут високосными. На языке это объединяется в 2 5 7 10 13 15 18 21 24 26 29. Некоторые вместо пятнадцатого берут високосным шестнадцатый год, тогда порядок будет 2 5 7 10 13 16 18 21 24 26 29. Согласно мнению астрономов, лунный год и месяц бывают условными.

Что касается определения момента вступления года, то из неполных годов Хиджры вычитают двести десять, чтобы осталось двести десять или меньше этого. Остаток делят на тридцать и частное умножают на пять и запоминают. На оставшиеся от деления полные годы смотрят в порядке 2 5 7 10 13 16 18 21 24 26 29; сколько лет високосных и сколько невисокосных. Число високосных годов нужно помножить на пять, а невисокосных — на четыре и слагают с запоминаемым. К сумме прибавляют еще пять. Затем из суммы вычитают по семь до тех пор, пока не станет известным момент вступления искомого неполного года. Для определения момента вступления искомого месяца число полных нечетных месяцев удваивают и прибавляют к числу полных четных месяцев во вступлении года. Из суммы вычитают по семи, остаток будет вступлением искомого месяца.²¹

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭРЫ РУМОВ

Началом этой эры был понедельник через двенадцать солнечных лет после кончины Александра, сына Филиппа румского²². Годы и месяцы этой эры — солнечные, условные. Их год состоит из трехсот шестидесяти пяти с четвертью суток, а месяцев у них двенадцать. В том числе семь месяцев считают

по тридцать один день, четыре месяца — по тридцать дней и один месяц считают состоящим из двадцати восьми дней. В каждые четыре года этот последний месяц считают в двадцать девять дней по причине накопления из указанных четвертей. Этот год они называют високосным. Подобные названия месяцев и количество их дней следующие: тишрин первый — 32, тишрин второй — 30, канун первый — 31, канун второй — 31, шубат — 28, азар — 31, нисан — 30, аяр — 31, хазиран — 30, таммуз — 31, аб — 31, элул — 30.

Для определения мадхаля года из числа неполных лет нужно вычитать по двадцать восемь до тех, пор, пока не останется двадцать восемь или меньшее число. Остаток вместе с частным прибавляют к четырем. Затем к сумме прибавляют единицу и из общей суммы вычитают по семи. Остаток будет мадхалем искомого года...

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭРЫ КИТАЙЦЕВ И УЙГУРОВ

Ученые мужи Китая и Туркестана дни и годы подразделяют на двенадцать циклов, так что части суток имеют те же названия, что и циклы годов. Однако у китайцев есть другой цикл, делящийся на десять частей. Таковы, например, названия частей суток и этих десяти частей; 1. цзя, 2. и, 3. бин, 4. дин, 5. ву, 6. цзи, 7. гэн, 8. синь, 9. жэнь, 10. гуй.

Поскольку они этот цикл упорядочивают в двенадцатиричный цикл, то из их комбинации получается шестидесятиричный цикл. Сутки тоже они считают этим циклом. Этот цикл у них служит вместо нашей недели. Мы этот цикл назовем шестидесятиричным.

Китайцы годы также считают по шестидесятилетнему циклу, но именуют их тремя названиями. Первый цикл называют Шан-Юань, второй — Джун-Юань, и третий — Ся-Юань. Продолжительность этих трех циклов будет сто восемьдесят лет. Годы называют этими циклами. Если они хотят отметить промежуток времени более значительный, чем этот, то они берут промежуток, начинающийся от сотворения мира. Согласно их утверждениям, от этого начала до начала первого года цикла Шан-Юань, соответствующего вторнику восьмого шавваля восемьсот сорок седьмого года Хиджры, прошло восемь тысяч восемьсот шестьдесят три полных Юань, вот его цифры — 8863, а из неполного Юаня прошло девять тысяч восемьсот шестьдесят полных лет, вот его цифры — 9860²³. Каждый Юань равен десяти тысячам лет. Тюрки пользуются укороченным двенадцатилетним циклом, но начало их эры неизвестно.

О ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДНЯХ КАЖДОЙ ЭРЫ

В эре арабов новолуние месяца мухаррам является началом нового года. Первые десять дней этого месяца являются отсчитываемыми днями.

Десятый день мухаррама называется **ашура**.

Пятнадцатый день раджаба — «**вступление**».

Двадцать седьмой день этого месяца — день выступления пророка, мир ему, с пророческой миссией и мираджа.

Ночь пятнадцатого шабана — **барат**.

Ночь двадцать седьмого рамадана — **ночь предопределения**.

Новолуние шавваля — **праздник разговения**.

Первые десять дней зу-л-хидджи — «**известные**» дни.

Восьмой день зу-л-хидджи — **день утоления жажды паломников**.

Девятый день — **арафа**.

Десятый день — «**день жертв и заклания**».

Одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый — «**дни пребывания**» и «**дни бега**».

Десятый день — **день праздника отдельного жертвоприношения**.

Одиннадцатый и двенадцатый дни — **жертвоприношение с пребыванием**. Тринадцатый день — **отдельное пребывание**.

Тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый дни каждого месяца являются днями **байда**.

Месяцы мухаррам, раджам, зу-л-када, зу-л-хиджа являются **запретными** месяцами.

В румской эре двадцать второе месяца тишрина второго называется **праздником ханука**.

Первый день кануна первого называют **праздником благовещения**.

Двадцать пятую ночь этого месяца называют **праздником ночи рождества**, ибо в эту ночь случилось рождество Христово, мир ему.

Первый день кануна второго — **праздник календ**. Шестой день месяца называют **праздником жертвоприношений**.

Второй день шубата называют **праздником свечей**.

Седьмого шубата — **первое выпадение горящих углей**, четырнадцатого — **второе выпадение горящих углей**, двадцать первого — **третье выпадение горящих углей**. Других выпадений горящих углей до этих трех не бывает.

После этого имуществу зимы терпит ущерб и двадцать шестое шубата будет **первым днем из «дней старухи»**. Этих дней семь.

Двадцать пятого нисана — **рождение Бар Хайи**.

Восемнадцатого аяра — **первый день ветров барихов**; этих дней сорок.

Двадцать первое хазира на было **днем рождения Иоанна сына Захарии**.

Третье таммуза называют **днем поминовения святого Фомы**.

Девятнадцатого таммуза — **начало дней бахура**, в них восемь дней. В эти дни бывает начало спада жары.

Первый день аба — **начало поста** по поводу смерти святой Марии. Шестой день называют **праздником преображения**.

Одиннадцатый день — **прекращение поста святой Марии**. Двадцать седьмой день — **убиение Иоанна сына Захарии**.

Тринадцатое элула называют **праздником креста**.

Эра персов не имеет названия семи дней недели, а имеет названия дней месяца. Вот они: хурмуз, бахман, урдибихишт, шахривар, исфандармаз, хурдад, мурдад, дайба-азар, азар, абан, хур, мах, тир, джуш, дайбамихр, михр, сируш, реш, фарвардин, бахрам, рам, бад, дайбадин, дин, ард, аштаз, асман, замбаз, марасфанд, аниран. Названия пяти «украденных» дней следующие: ахнуд, ашнуд, асфандамад, вахушт, хаштавиш. В каждом месяце день, название которого совпадает с названием месяца, считается праздничным. Вот они: девятнадцатый день фарвардин-маха, третий день урдибихишт-маха, шестой день хурдад-маха, тринадцатый день тир-маха, восьмой день мурдад-маха, четвертый день шахривар-маха, шестнадцатый день михр-маха, десятый день абан-маха, девятый день азар-маха, второй бахман-маха, пятый день исфандармаз-маха. Что касается дня дай, то он празднуется восьмого, пятнадцатого и двадцать третьего числа каждого месяца. Эти названия — названия богов, таков и армазд.

Первый день фарвардин-маха является наурузом всеобщим, шестой день является особым наурузом.

Шестнадцатый день михр-маха является всеобщим михраганом, двадцать первый день — особым михраганом.

Персы говорят, что Бог всевышний мир создал в шесть этапов, которые они называют гаханбарами. Начало первого этапа было в одиннадцатый день дай-маха, начало второго этапа — одиннадцатого исфандармаз-маха, начало третьего этапа — двадцать шестого урдибихишт-маха, начало четвертого этапа — двадцать шестого хурдад-маха, начало пятого этапа — шестнадцатого шахривар-маха, начало шестого этапа — тридцать первого абан-маха, который является первым «украденным» днем.

Каждый этап состоит из пяти дней. В пятый день исфандармаз-маха бывает написание «записки скорпиона».

^{1,2} Здесь и далее цитируются приписываемые Мухаммаду изречения — хадисы.

³ Здесь отсутствует основной компонент полного имени Улугбека. Как отмечает В. В. Бартольд, ему при рождении «были даны имена «Мухаммед-Тарагай», но еще при жизни Тимура эти имена были вытеснены прозвищем «Улуг-бек», собств. «великий князь» (См.: Бартольд В. В. «Улугбек и его время»)

⁴ Здесь гениальный ученый особо подчеркивает, что подлинная наука не признает ни национальных, ни религиозных преград.

⁵ Данное двустишие в тексте «Зиджа» приведено на арабском языке. Автор стиха не известен. По-видимому, оно принадлежит самому Улугбеку. По свидетельству современников, он прекрасно владел арабским языком.

⁶ Кази-Заде Руми родился в 1360 г. в г. Бруссе (или Бурсе) в Малой Азии (Руме, отсюда — Руми) в семье судьи (кази, отсюда — Кази-Заде) бруссы. Еще в молодые годы, услышав о славе ученых Востока, для пополнения своих знаний он переезжает в Хорасан, а затем — в Маве-

раннахр и вскоре попадает в Самарканд. Улугбек не случайно называет Кази-Заде «учителем». По-видимому, в детские и юношеские годы Улугбека Кази-Заде был одним из его учителей. Заметим, что другого крупного самаркандского ученого — Джамшида Каши Улугбек не называет учителем, хотя очень уважал его. Из этого абзаца можно сделать вывод, что Улугбек над «Зиджем» начал работать по совету Руми и Каши.

⁷ Гиясаддин Джамшид ибн Масуд Каши происходил из хорасанского города Кашана, входившего в государство Тимура и Тимуридов. Позже — переезжает в Самарканд.

⁸ Относительно даты смерти Кази-Заде и Каши нет единого мнения. Здесь в тексте «Зиджа» Улугбек вполне определенно говорит, что Каши умер еще в начале работы над «Зиджем», а Кази-Заде — в середине. Работы над «Зиджем» могли быть начаты только после построения обсерватории, строительство которой было завершено около 1425 г. Известно, что Каши является автором перевода на арабский язык теоретической (безтабличной) части «Зиджа» Улугбека. Этот перевод можно было выполнить только с аналогичного персидского варианта «Зиджа». Следовательно, первоначально была написана теоретическая часть «Зиджа» на персидском и арабском языках. Еще в начале «Зиджа» в главе 6 первой макалы о дате 8 шавваля 847 г. Х. (29 января 1444 г. Р. Х.) Улугбек говорит как о настоящем времени. Следовательно, кончина Каши могла иметь место в начале 40-х годов XV в. Тогда дата смерти Кази-Заде приходится на вторую половину того же десятилетия.

⁹ Алаадин Али ибн Кушчи родился в 1402 г. в Самарканде. Он был на восемь лет моложе Улугбека. Впоследствии Улугбек покровительствовал ему и непосредственно занимался его воспитанием. Видимо, поэтому он его называет «благородным сыном» (фарзанди арджуманд). Али Кушчи был верным помощником Улугбека при работе над «Зиджем». Однако после зверского убийства Улугбека в 1449 г. в Самарканде сложилась неблагоприятная ситуация для сторонников Улугбека, прежде всего для ученых. Вскоре Али Кушчи был вынужден покинуть Самарканд. Несколько лет он скитался по городам Хорасана и северо-западного Ирана, в феврале 1473 г. оказался в Стамбуле, где и умер в 1474 г.

¹⁰ Информация, данная в этом абзаце, не оставляет сомнения в том, что «Зидж» Улугбека был завершен им самим, в противоположность мнению некоторых ученых, утверждавших, что работа над ним велась и после его смерти.

¹¹ Последний абзац введения к «Зиджу» дает важный штрих к характеристике Улугбека. Из него следует, что наделенный царской властью Улугбек в жизни оставался скромным и весьма самокритичным ученым, признающим свои ошибки и упущения.

В конце введения Улугбек цитирует известное изречение Мухаммада.

¹² Имеется в виду тропический год. В настоящее время его величина принята равной 365,2422 средних суток.

¹³ Период между двумя новолуниями, принятый астрономами средневекового мусульманского Востока за месяц, равен 29, 5306 средних солнечных суток. Это так называемый синодический месяц. Продолжительность лунного года равна 354, 3672 суток.

¹⁴ Как видно из примечаний, продолжительность солнечного года почти на 11 суток больше продолжительности лунного года.

¹⁵ Годичное движение Солнце совершает по большому кругу небесной сферы, называемой эклипкой, а также зодиакальным кругом.

Этот круг, по названиям созвездий, расположенным вдоль него, был разделен на 12 частей. Каждую часть, составляющую 30° , Солнце проходит за один месяц.

¹⁶ Истинными сутками или истинными солнечными сутками считается промежуток времени между двумя последовательными одноименными кульминациями центра диска Солнца на одном и том же географическом меридиане. За начало истинных солнечных суток на данном меридиане в настоящее время принят момент нижней кульминации Солнца, т. е. как у средневековых «астрономов Китая и уйгуров» от истинной полуночи. Но поскольку продолжительность истинных солнечных суток — величина непостоянная, то пользоваться истинным солнечным временем в повседневной жизни неудобно. Поэтому астрономы в древности и средние века считали более удобным для пользования в вычислениях среднее эклиптическое Солнца, измеряемое в градусах эклиптики. Величина среднего Солнца у Птолемея (II в. н. э.) равна $0^\circ 59' 8'' 17''' 13^{IV} 12^V 31^V$, у ал-Хорезми (VIII—IX вв.) — $0^\circ 59' 8''$, у Беруни (X—XI) — $0^\circ 59' 8'' 20''' 38'' 21' 33''$.

¹⁷ Косые или сезонные часы — $1/12$ части дневного или ночного времени суток в любое время года. Следовательно, в зависимости от времени года, косой час меняется и может быть больше или меньше обычного часа.

¹⁸ Приведенные Улугбеком названия чагов означают: кешку — мышь, ут — корова, барс — тигр, тавушкан — заяц, лу — дракон, йилан — змея, юнед — лошадь, кой — овца, сичен — обезьяна, дакук — курица, ит — собака, тонгуз — свинья. Как видно отсюда, каждому чагу соответствует двухчасовой период и, в свою очередь, названия чагов соответствуют названиям животного цикла, применяемого в календарях восточных народов. В современном узбекском языке чаг означает период, время, мгновение.

¹⁹ Из сказанного здесь Улугбеком следует, что у китайцев и уйгуров сутки начинаются в 23 часа, а не в 24, как говорилось выше.

²⁰ Мухаррам, Сафар, Раби I, Раби II, Джумада I, Джумада II, Раджаб, Шабан, Рамадан, Шаввал, Зу-л-када, Зу-л-хиджа.

²¹ Под «вступлением» (мадхал) месяца или года по эре Хиджры Улугбек имеет в виду момент фиксации новолуния искомого месяца или новолуния месяца мухаррам искомого года.

²² Александр Македонский умер в 323 г. до н. э. Так называемая «Эра Александра» на самом деле к нему не имеет отношения. Началом этой эры считается 1 октября 312 г. до н. э. — день восшествия на престол сподвижника Александра — Селевка Никатора. Возможно, восточная традиция связала эту эру с Александром потому, что в последние дни сентября того года скончался один из преемников македонского завоевателя и предшественник Селевка — Александр IV.

²³ Здесь дата 8 шаввала 847 г. Х. (29 января 1444 г. Р. Х.), с астрономической или математической точек зрения какого-либо важного значения не имеет. Следовательно, для Улугбека эта дата важна как настоящий момент, чтобы подчеркнуть древность китайского летоисчисления.

ИЗ ТРАКТАТОВ

«ЦЕЛЬ ИСТИНЫ — САМА ИСТИНА...»

I

Рабби Моше бен Маймон (аббревиатура «Рамбам»), известный в арабском мире как Абу Имран Муса бен Маймун ибн Абд Алла аль Куртуби, в Западной Европе — как Моисей Маймонид и в Древней Руси — как Моисей Египетский, принадлежит к выдающимся умам мировой культуры. Сын далекого XII века, когда пробудившаяся свободная мысль пробивала себе дорогу сквозь невежество и фанатизм, Моше бен Маймон был одним из предвестников Возрождения. «Золотой век» испанско-еврейской культуры, давший миру поэта и философа Ибн Гвироля, поэтов Моше и Авраама ибн Эзра, поэта и религиозного мыслителя Иегуду Галеви, продолжался. Этот список замыкает — по времени, но не по значению — имя Моше бен Маймона.

II

Он родился в 1135 г. в Кордове. Детство будущего ученого прошло безмятежно, за изучением еврейского Священного писания и светских наук. Но когда в 1148 г. Андалус, т. е. мусульманская часть Испании, был завоеван пришедшими из Северной Африки берберскими племенами, для семьи Моше начались годы скитаний, в которых прошла вся юность будущего ученого. Северная Африка, христианская Испания, Прованс, Марокко... В городе Фесе Моше бен Маймон сблизился с кружком мусульманских ученых, проявлявших, несмотря на религиозные догмы, интерес к светским наукам; к пришельцу они отнеслись с почтением, так как его труды уже завоевали ему признание. Но целью стремлений Моше бен Маймона была родина предков. В 1165 г. он решил было перебраться с семьей в Палестину. Но Святая земля в то время была опустошена крестовыми походами. Жить в ней, а тем более заниматься научным творчеством, было невозможно. С тяжелым сердцем покидает ее ученый. Вместе с семьей он обосновался — уже навсегда — в Каире, где в относительном благополучии жила большая еврейская община.

Здесь Моше бен Маймон увлеченно работает над книгами по иудаизму и философии, занимается медициной, в которой достигает таких успехов, что становится одним из лучших врачей в Египте, более того — домашним врачом самого султана. Заняв видное положение при дворе, Моше бен Маймон одновременно выдвинулся как руководитель еврейской общины. Он сочетал обязанности раввина, главы общинной администрации, судьи и попечителя благотворительных фондов. Все это он выполнял бесплатно, так как принципиально выступал против получения жалования раввинами и другими знатоками Священного писания. Приходилось уделять много времени изучению книг о медицине, дающей ему средства к существованию; на философию и другие науки оставалось совсем мало сил. Но несмотря на крайнюю загруженность, ученый находил время для преподавания в каирской иешиве (высшее еврейское конфессиональное учебное заведение), читал лекции по медицине, на которых присутствовали как евреи, так и мусульмане. В это время, уже на закате жизни, он пользовался громкой славой во многих странах Востока; к нему в Каир приезжали почитатели издалека, как, например, известный мусульманский врач и богослов Абдулатиф из Багдада. Отец знаменитого арабского историка литературы Ибн-Аби Осаибии хвалился, что медицине его учил сам Абу Имран. Кроме того, Моше бен Маймону приходилось отвечать на многочисленные письма с просьбами решить тот или иной научный или религиозный вопрос; они приходили подчас из далеких стран, например, из Франции и Йемена. Некоторые из этих ответов представляют объемистые трактаты. Такой напряженный труд и колоссальная нагрузка подорвали здоровье ученого, и раньше не очень крепкое. В декабре 1204 г. он скончался, немного не дожив до семидесяти лет, оплакиваемый простыми и знатыми людьми разных вероисповеданий. В Каире по случаю его смерти был объявлен трехдневный траур, который соблюдали евреи и мусульмане, а в Иерусалиме еврейская община постилась и устроила торжественное поминовение. Тело Моше бен Маймона было перенесено в Святую землю, в город Тверью [Тивериаду] на берегу озера Киннерет [Тивериадского]. И сейчас там можно увидеть могилу ученого — скромный купол из белого камня. Рассказывают, что на траурную процессию, сопровождавшую гроб Моше бен Маймона из Египта в Палестину, напали бедуины, но, узнав, кого собираются хоронить, они присоединились к ней и сопровождали до места погребения.

В другой легенде повествуется, что Моше бен Маймон будто бы много трудился над эликсиром бессмертия, пока, после бесчисленных опытов, не изготовил его из разных трав. Он долго держал чудесный препарат в тайне, но однажды доверительно сообщил о нем одному молодому врачу. Тот стал умолять испробовать снадобье на нем. Моше бен Маймон долго не соглашался, так как прежде чем обрести бессмертие, нужно было принять состав, прерывающий жизнь. Но молодой коллега настаивал, — и Моше бен Маймон, скрепя сердце, уступил. Он дал юноше снадобье, а когда тот перестал подавать признаки жизни, покрыл его тонким слоем эликсира бессмертия, уложил в хрустальный сосуд, установленный под яркими лучами солнца, и сел рядом. Вскоре жизнь стала возвращаться в бездыханное тело — вены наполнились кровью, появилось едва уловимое дыхание. Но в этот миг внезапно налетела хищная птица и разбила сосуд. Начавшаяся вечная жизнь прекратилась; теперь уже ничто не могло оживить юношу. Раздался голос с неба: «Ты отведал плоды от дерева познания, но не дерзай вкушать плоды от дерева вечной жизни!» Потрясенный Моше бен Маймон понял, что бессмертие человека не угодно Богу. Охваченный отчаянием, он

долго сидел рядом с трупом, отказываясь от еды и питья, пока не скончался.

III

Творчество Моше бен Маймона весьма обширно и началось рано. Еще в Испании он написал два сочинения на арабском языке: «Логикку», в которой, наряду с логическими, объяснялись важнейшие физические, метафизические и этические категории (логика в то время считалась своего рода введением в философию), и трактат об астрономических принципах еврейского календаря. Эти труды принесли молодому ученому известность. Первый из них был в конце XV в. переведен на древнерусский язык.

В 1158 г. двадцатитрехлетний Моше приступает к капитальному «Комментариию к Мишне»², над которым он трудился десять лет. В «Комментариии...» ученый применил новаторский подход к исследуемому материалу, соединяя смысловой анализ с текстологическим, в том числе лексикографическим. Так как многие части Мишны, особенно Агада³, ранее часто толковались иносказательно, Моше бен Маймон отделил содержание комментируемого текста от литературных образов. Он провел четкую грань между завершенной, а потому неизменной традицией и законами, которые подлежат интерпретации. В том же труде сформулированы символы веры иудаизма, которые сведены к трем категориям: 1) Бог, его существование, единство, бестелесность, неповторимость, вечность, неизменность и др.; запрет идолопоклонства; 2) Закон, данный Богом через Моисея и 3) вера в воздаяние за добро и зло, в приход Мессии и воскресение мертвых.

В «Комментарий к Мишне» включено несколько самостоятельных философских трактатов, — в том числе обстоятельное введение, в котором подчеркивается, что Закон подлежит исключительно рационалистическому, т. е. основанному на разуме, толкованию и изучению, — и этико-психологический трактат «Восемь глав». В центре этики Моше бен Маймона лежит учение о золотой середине, что в то время было смелым вызовом фундаменталистам — иудейским, мусульманским и христианским, насаждавшим крайности: аскетизм, нетерпимость, уход от практической деятельности.

Закончив «Комментарий...», Моше бен Маймон сразу же приступил к другому фундаментальному труду по иудаизму — «Мишне-Тора». Он также потребовал десятилетней работы и был завершен в 1178 г. Это полный кодекс еврейских законов, обрядов и решений по разным вопросам религии, снабженный необходимыми комментариями, историческими обзорами, ссылками на авторитеты. В историю раввинской литературы он вошел как «Второй Талмуд», отличающийся от первого сжатостью и доступностью не только ученым, но и простому читателю. Приступая к нему, Моше бен Маймон руководствовался принципом, что Священное писание подлежит научному анализу, как и все остальное; «исследование Писания, даже для определения правовых норм, вполне свободно»; «всякий духовный суд вправе отвергнуть вывод какого-либо закона из Св. Писания, хотя бы другой суд раньше

¹ См.: С. Пэн. Моисей Маймонид, его жизнь и деятельность. Одесса, 1896 г.

² Мишна — ранний свод Талмуда, изложение основ гражданского, семейного и религиозного права евреев. Составлена в начале III в. н. э.

³ Агада — предания, притчи, афоризмы, исторические материалы и элементы точных наук, содержащиеся в Талмуде.

самым положительным образом установил таковое». Иудаизм в его интерпретации — религия, основанная на Откровении и многовековой традиции, но не закосневшая в ней, динамичная — ибо путь к Богу есть движение, — и стимулирующая дух исследования.

В трудах Моше бен Маймона по иудаизму, наряду с изложением и разъяснением Закона, заметно стремление подвести под него философский фундамент. Но для последовательного рассмотрения широкого комплекса проблем философии иудаизма требовался специальный труд, — и около 1185 г. ученый принимается за философскую энциклопедию в трех томах «Наставник колеблющихся», которую завершает через пять лет. Она написана по-арабски и вскоре была дважды переведена на иврит.

Пытаться изложить философию Моше бен Маймона в одной небольшой статье — дело безнадежное, поэтому мы остановимся лишь на нескольких центральных положениях. Важнейшее из них — идея совместимости религии с философией. Та и другая дополняют друг друга, а противоречия между ними во многом преодолимы. Без философского не может быть полноценного религиозного знания, так как исследование есть религиозная обязанность человека: «...богооткровенная истина должна вполне совпадать с той, которая заключается в человеческом разуме как в даре, происходящем от Бога». Говоря о философии, Моше бен Маймон имел в виду в первую очередь учение Аристотеля, которое считал «вершиной человеческого разума»; среди последователей Аристотеля выше всех он ставил великого среднеазиатского ученого и мыслителя аль-Фараби. Вместе с тем Моше бен Маймон не шел так далеко, чтобы поставить между философией и религией знак равенства; он утверждал, например, что философия, значение которой он убежденно отстаивал, ограничена уже в силу того, что строится на несовершенной основе человеческого разума; она элитарна, тогда как простые истины религии доступны массам. Философские знания должны быть фундаментальными, поверхностное их усвоение опасно; человек, умеющий плавать в океане философских концепций, достает с его дна перлы, — и тогда «доказывается рациональная идея, которую мы получаем из Закона посредством традиции», не умеющий же плавать тонет.

Большую часть «Наставника...» занимает учение о Боге: его атрибуты, 26 положений, свидетельствующих о его существовании, единстве и бестелесности. Цепь умозаключений Моше бен Маймона о Боге и другие его суждения предвосхищают геометрический (теоремный) метод доказательств Спинозы, каждый аргумент вычленен и логически вытекает из предшествующего, что производит впечатление абсолютной бесспорности.

К принципиальным вопросам «Наставника...» относится интерпретация библейских антропоморфизмов. Моше бен Маймон полагал, что они употребляются как омонимы или как поэтический образ. Так, ангелы тождественны интеллектам в философии Аристотеля, духовным субстанциям, которые занимают промежуточное положение между Богом и эфиробразной материей, заполняющей космические пространства, образующей звезды и т. д. Под воздействием процессов, происходящих в этой эфиробразной массе, образуются безжизненные минералы, которые, в процессе движения, превращаются в живые существа. «Все, это возникает или погибает, в действительности... возникает из элементов и разлагается на них вновь. Точно так же элементы возникают друг из друга и разлагаются друг на друга, ибо они состоят из той же самой материи». На вершине этого движения находится человек — макрокосм, уменьшенная копия Вселенной, которая, хоть и в

иных качествах и измерениях, воспроизводит функции человеческого организма.

Помимо мировоззренческой, «Наставник колеблющихся» имеет большую историко-философскую ценность; без него трудно, например, представить с достаточной полнотой и достоверностью борьбу мутакаллимов и мутазилитов — приверженцев догматического и рационалистического подходов в исламе; сходные течения Моше бен Маймон находит в иудаизме.

Заслугой Моше бен Маймона-философа является разработка этики ученого, основанной на творческой индивидуальности, свободе исследования и его гуманистической направленности. Вот как сформулировал это сам мыслитель:

«Цель истины — сама истина».

«Кто может сообщить людям что-либо важное и не делает этого, тот похищает у них истину; он похож на скрягу, который завещал похоронить себя вместе со своими деньгами».

«Я свободно высказываю свою мысль даже тогда, когда я знаю, что она не нравится толпе. В этом случае я рассчитываю на единственного мудреца, который всегда найдется на тысячу дураков».

Наряду с трудами по религии и философии Моше бен Маймону принадлежит ряд трактатов по медицине, из которых один исследует отдельные болезни (астму, геморрой), другие рассматривают проблемы гигиены и диетологии; в большом двухтомном сочинении речь идет о ядах и противоядиях. Медицинскую науку Моше бен Маймон подразделял на профилактику болезней, лечение и уход за выздоравливающими, а также за инвалидами и пожилыми людьми. Ученый полагал, что медицина должна основываться на исследованиях и экспериментах и категорически осуждал шарлатанские методы лечения (чары, заклинания, амулеты и др.). Он одним из первых указал на опасность для здоровья человека грубого вмешательства в природную среду. Методика лечения некоторых болезней, например, обширных ожогов, предложенная Моше бен Маймоном, успешно используется современной медициной. Физическое здоровье Моше бен Маймон считал залогом духовного; «следует, — говорил он, — укрепить тело, а потом душу; тело — передняя, а душа — салон; чтобы попасть в салон, необходимо пройти через переднюю».

Смелый рационализм Моше бен Маймона, опередившего свое время, доставил ему немало неприятностей. Многочисленные противники, среди которых был Шмуэль бен Али Галеви из Багдада, носивший титул гаона — духовного главы евреев, — усматривали в его учении опасную ересь и обвиняли его чуть ли не в безбожии, что ни в коей мере не соответствовало действительности, так как Моше бен Маймон был человеком глубоко, убежденно и искренне верующим. Нападкам и интригам недоброжелателей он противопоставлял мягкость и терпимость; уже тяжело больной, он ответил одному из них, некоему Пинхасу бен Мешуламу из Прованса: «Знай, что я не принадлежу к тем, которые внимают клевете... и хотя бы я сам лично слышал, что кто-нибудь поносит и хулит мою работу, я остался бы безучастным к этому и сумел бы забыть и простить».

После смерти Моше бен Маймона борьба между его противниками и сторонниками разгорелась с такой силой, что вся еврейская диаспора оказалась расколотой на два лагеря. Дошло до того, что группа раввинов в 1239 г. передала сочинения Моше бен Маймона доминиканцам, которые приговорили их к сожжению. Позднее накал борьбы между крайне ортодоксальным и просвещенным направлениями в иудаизме постепен-

но ослабел, но временами она вспыхивала с новой силой. Распря, вызванная новаторским подходом Моше бен Маймона к проблемам иудаизма, не пощадила даже могилу ученого. По преданию, неизвестный почитатель сделал на ней такую надпись:

Тут покоится человек и все же не человек.
Если ты был человеком, то небесные духи
Осенили твою мать.

Позднее кто-то стер эти строки и написал вместо них:

Тут лежит Моше Маймуни, отлученный еретик.

IV

Имя и учение Моше бен Маймона по значимости далеко перешагнули рамки еврейской культуры, породившей его. Он оказал заметное влияние на весь тогдашний мир, хотя принадлежность к дискриминируемому инаковерующему меньшинству во многом мешала распространению его трудов вне еврейской диаспоры. Под впечатлением идей Моше бен Маймона складывалось мировоззрение Дунса Скота, Альберта Великого, Бенедикта Спинозы, Вильгельма Лейбница и других европейских философов. Некий ученый раввин в XIV в. не без основания применил к Моше бен Маймону слова из библейской книги пророка Малахии: «Велико имя его между народами». На Востоке также признавали его авторитет; арабский поэт и кади Альсанд ибн Сурат Альмульк посвятил ему оду, в которой были такие строки:

Искусство Галена¹ излечивает только тело,
Абу Имрана — и тело, и душу.
Своим искусством он мог бы исцелить от невежества.
Если бы луна была подвластна его искусству,
Он освободил бы ее от пятен в полнолуние
И исцелил бы ее от периодических затмений,
А во время соединения спас бы ее от убывания.

Вопросы, поднятые Моше бен Маймоном, такие, как отношения между наукой и религией, рационалистический и фидеистический² путь к Богу, и многие другие сохраняют актуальность по сей день; и по сей день не ослабевает интерес к жизни и творчеству великого мыслителя. Человека, чья жизнь и даже сама смерть стали символом торжества разума и человечности над фанатизмом и мракобесием. Разбойники из дикого племени, склонившие голову над гробом человека иной веры, но несшего в себе «дар, проходящий от Бога», — это ли не поразительный урок, который преподносит «темная» эпоха нам сегодняшним!..

Р. РАБИЧ,
кандидат исторических наук.

¹ Гален — знаменитый древнеримский врач (II в. н. э.)

² Фидеизм — религиозное мировоззрение, утверждающее примат веры над разумом.

«НАСТАВНИК КОЛЕБЛЮЩИХСЯ»

Глава вторая

...Несколько лет тому назад некий ученый муж выдвинул в качестве вызова мне одно любопытное возражение. Уместно рассмотреть теперь это возражение и наш ответ, который отвергнет его.

Вот что сказал возражающий. Из буквального смысла текста Писания очевидно, что первичная цель в отношении человека состояла в том, что он должен был, как другие животные, быть лишенным разума, мысли и способности различать между добром и злом. Но когда он нарушил Закон, его послушание принесло ему великое совершенство, свойственное только человеку, а именно то, что он наделен способностью, которая имеется у нас, производить это различие. Эта способность — благороднейшая черта, которой мы обладаем, и она составляет нашу сущность. Достоинно удивления, что наказание за послушание состоит в том, что человек наделяется совершенством, которым он ранее не обладал, то есть разумом. Это напоминает мне историю, рассказанную кем-то о том, что некто не подчинился Закону и совершал тяжелые преступления, и вследствие этого должен был претерпеть превращение, обратившись в звезду на небе. Такова цель и смысл возражения, хотя оно и не буквально такое, как мы изложили.

Услышь теперь суть нашего ответа. Мы сказали: разум, который Бог пролил на человека и который является его наивысшим совершенством, был тем, чем был наделен Адам, прежде чем он согрешил. По этой причине о нем было сказано, что он был сотворен «по образу и подобию Божьему». По этой же причине Бог обратился к нему с речью и дал ему заповеди. Ибо заповеди были даны не зверям и существам, лишенным разума. Посредством разума человек различает между правдой и ложью и это было в Адаме во всем совершенстве и целостности. Дурное и хорошее, напротив, относятся к вещам, которые считаются общепринятыми, не к тем, что познаются разумом. Ибо не говорят: хорошо, что небо имеет форму шара, и дурно, что земля плоская; в отношении этих утверждений говорят: правда и ложь. Теперь человек благодаря своему уму отличает правду от лжи; и то же самое происходит со всеми воспринимаемыми разумом вещами. Соответственно, когда человек пребывал в своем совершеннейшем и превосходном состоянии, в согласии со своей природной склонностью и обладая своими интеллектуальными познаниями, из-за которых о нем сказано: «Не много Ты умалил его перед ангелами» (Пс. 8:6), — он не обладал способностью, которая в какой бы то ни было степени была бы занята общепринятыми вещами, и он не понимал их. Поэтому из этих общепринятых вещей даже такая вещь, которая явно дурна, как

обнажение срама, не была дурной в его глазах, и он не понимал, что это дурно. Однако, когда он ослушался и склонился к разделению своего воображения и утехам своих плотских чувств, поскольку сказано, «что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз» (Быт. 3:6), — он был наказан тем, что утратил эту способность познания. Поэтому он нарушил запрет, наложенный на него из-за его разума и, обретя способность восприятия общепринятых вещей, погрузился в рассуждения о дурном и хорошем. Затем он узнал, как велика была его потеря, чего он лишился и в каком состоянии он вступил. Поэтому сказано: «И вы будете, как боги, знающие добро и зло», — а не: «познающие ложь и правду». Что же касается необходимого, то в нем вовсе нет добра и зла, а только правда и ложь. Подумай о словах: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги» (Быт. 3:7). Не сказано: «И глаза у них обоих были открыты, и увидели они». Ибо то, что было видно прежде, то же самое было видно и потом. Не было пелены на глазах, которую сняли, но он вступил в другое состояние, при котором считал дурным то, что не казалось ему таким прежде. Кроме того, знай, что это выражение, я имею в виду — «открыться» относится только к раскрытию духовного видения и ни в каком смысле не к тому, что вновь была обретена способность зрения. Поэтому: «И Бог открыл глаза ее» (Быт. 21:19); «Тогда откроются глаза слепых» (Ис. 35:5)...

Глава тридцать первая

...Знай, что человеческий разум направлен на объекты познания, постижение которых лежит в пределах его способности и соответствует его природе. Напротив, в том, что существует, имеются также сущности и вещи, которые он по своей природе не способен познавать каким-либо способом или объяснить какой-либо причиной, ибо врата к их познанию закрыты перед ним. Существуют также вещи, в которых разум может познать одно состояние, но будучи способен познать другие состояния. Из того, что он обладает способностью познавать, не вытекает, что он может познать все вещи: чувства тоже обладают способностью восприятия, но не в их власти воспринимать на любом расстоянии, на каком могут оказаться объекты восприятия. То же действительно и в отношении всех других телесных способностей, ибо из того, что некий человек способен нести два груза, не следует, что он может нести десять. Различие между индивидуумами одного рода в отношении чувственных восприятий и всех остальных телесных способностей очевидно и ясно всем людям. Тем не менее, это различие имеет предел, поскольку способности не могут простирается на любое расстояние, каким бы далеким оно ни было, и достигать любой степени, какой бы высокой та ни была. Тожественное правило существует в отношении интеллектуальных восприятий человека. Имеются большие различия в способности индивидуумов одного и того

же рода. Это тоже очевидно и вполне ясно сведущим людям. Может таким образом случиться, что один индивидуум открывает некое понятие сам через свое умозрение, а другой индивидуум не способен даже постигнуть это понятие. Даже если бы это понятие объясняли ему в течение очень длительного времени посредством всякого рода выражений и иносказаний, его разум не постиг бы его совершенно, но отвратился бы, не уразумев его. Это различие в способности тоже не бесконечно, ибо человеческий разум бесспорно имеет границу, которую он не преступает. Поэтому именуется вещи, относительно которых человеку ясно, что их невозможно познать. И он не обнаружит, что его душа алчет познать их, поскольку сознает, что такое познание невозможно и что нет ворот, через которые можно было бы прийти к знанию их. Такова природа нашего незнания числа звезд на небе, незнания, является ли это число четным или нечетным, равно как наше незнание количества видов живых существ, минералов, растений и других подобных вещей.

С другой стороны, есть вещи, к познанию которых человек обнаруживает великое стремление. Власть разума, стремящегося искать и исследовать их истинную суть, существует в любое время и в каждой группе людей, занятых умозрением. В отношении таких вещей имеется разнообразие мнений, между людьми, занятыми умозрительным размышлением, возникают разногласия, рождаются сомнения. Все это потому, что разуму свойственно восприятие этих вещей (я имею в виду его тяготение к ним), а также потому, что каждый полагает, что он нашел путь к познанию истинной природы вещей. Но не в силах человеческого разума дать доказательство этим вещам. Ибо во всех вещах, чья истинная суть познается посредством доказательства, нет ни спора, ни отказа принять доказанную вещь, если только такой отказ не исходит от невежды, который оказывает сопротивление, называемое сопротивлением доказательству.

Александр Афродисийский* утверждает, что имеются три причины несогласия о вещах. Одна из них — это любовь к господству и страсть к раздорам, которые обе отвлекают человека от постижения истины такой, какая она есть. Вторая причина — это неуловимость и неопределенность предмета познания самого по себе и трудность познания его. И третья причина — невежество того, кто познает, и неспособность постижения вещей, которые можно познать. Эти три причины назвал Александр. Однако в наши времена существует четвертая причина, которую он не упомянул, потому что тогда ее еще не существовало. Это привычка и воспитание. Ибо в природе человека питать любовь и склонность к тому, к чему он приучен. Так, ты можешь увидеть, что люди пустыни — несмотря на беспорядочность их жизни, отсутствие удовольствий и скудость пищи — не любят городов, не алчут их удовольствий и предпочитают плохие условия, к которым они привыкли, хорошим, к которым

* Древнегреческий философ (III—II вв. до н. э.)

они не привыкли. Поэтому они не нашли бы душевного покоя, если бы жили во дворцах, носили шелковые одежды и наслаждались омовениями, притираниями и благовониями. Точно так же человек любит и желает защищать мнения, к которым он привык и в которых он воспитан, и питает отвращение к другим мнениям. По этой же причине человек слеп к восприятию истины и склоняется к вещам, к которым его приучили. Это справедливо в отношении веры множества людей в телесность Бога и многих других вещей, как мы объясним в дальнейшем. Все это происходит потому, что люди учились и воспринимались на текстах, которые по обычаю высоко ценятся и считаются истинными и чей внешний (буквальный) смысл свидетельствует о телесности Бога и о других фантастических идеях, лишенных правды, ибо эти идеи приводятся как иносказания и загадки. Это происходит по причинам, которые я приведу далее.

Глава тридцать вторая

Изучающий мой трактат, знай, что нечто подобное тому, что происходит с нашим чувственным восприятием, происходит и с нашим интеллектуальным восприятием, поскольку связано с материей. Ибо когда ты видишь своими глазами, ты воспринимаешь то, что твое зрение в силах воспринять. Если, однако, твои глаза вынуждены делать нечто, что они не хотят делать, — если их понуждают пристально всматриваться или перед ними стоит задача смотреть на большое расстояние, слишком большое, чтобы можно было что-нибудь разглядеть, или если ты рассматриваешь очень мелкий почерк или мелкий рисунок, воспринять который ты не способен, — и если ты напрягаешь свои глаза, вопреки их желанию, чтобы узреть истинную суть вещи, твое зрение окажется не только слишком слабым, чтобы воспринять то, что ты неспособен воспринять, но и слишком слабым, чтобы воспринять то, что ты способен воспринять. Твои глаза начнут уставать, и ты не будешь способен воспринять то, что ты мог разглядеть до того, как начал пристально всматриваться, и до того, как перед тобой была поставлена эта задача. Аналогичное открытие делается каждым, кто занимается умозрительным изучением какой-то науки, в отношении своей способности к размышлению. Ибо если он сосредоточится на созерцании и поставит перед собой задачу, требующую всего его внимания, он отупеет и не поймет даже того, что в пределах его возможностей понять. Ведь состояние всех телесных способностей в этом отношении одно и то же. Нечто подобное может произойти с тобой и в отношении интеллектуальных восприятий. Ибо если ты приостановишь свое продвижение из-за вызывающего сомнение вопроса и не введешь себя в заблуждение, полагая, что имеется доказательство в отношении вопросов, которые не были доказаны, если ты не поспешишь отвергнуть и безоговорочно провозгласить ложными любые утверждения, чья противоречивость не доказана; если, наконец, ты не будешь стремиться поз-

нать то, что ты неспособен познать, — ты достигнешь человеческого совершенства и обретешь высокое положение... Напротив, если ты стремишься познать вещи, которые вне твоей познавательной способности, или если ты поспешишь провозгласить ложными утверждения, хотя обратное им не было доказано и возможность которых, хотя бы и весьма отдаленная, не опровергнута, — ты не только будешь не совершенным, но и будешь самым несовершенным среди несовершенных; и ты окажешься во власти фантазий и наклонностей к вещам порочным, грешным и нечестивым, — и это будет следствием того, что твой разум поглощен заботами и что свет его погас. Точно так же различные обманчивые образы возникают перед глазами, когда сила зрения ослабла, как это происходит с больными людьми и с теми, кто пристально и долго смотрит на блестящие или слишком мелкие предметы...

Мудрецы тоже намеревались выразить это понятие в своем речении: «Не взыскуй вещей сокровенных; не исследуй сокрытого от тебя, выясняй вещи, которые разрешены тебе, не твоё дело заниматься сокровенным». Это означает, что твой разум может блуждать только в сфере вещей, которые человек может постигнуть. Ибо, как мы объяснили, заниматься постижением вещей, противным природе человека, весьма вредное дело. Это то, что мудрецы намеревались выразить в своем речении: «Всякий, кто рассматривает четыре вещи» и так далее, завершая речение утверждением: «...тот, кто не чтит славы своего Творца», тем самым указывая на то, что уже объяснили, а именно: что человек не должен стремиться заниматься умозрительным изучением ложных фантазий. Когда ему попадутся вызывающие сомнения вопросы или вещь, которую он исследует, не кажется ему доказуемой, он не должен отрицать или отвергать ее, торопясь провозгласить ее ложной, но должен упорно продолжать исследовать и тем самым «чтить славу своего Творца». Он должен воздерживаться от суждения. Этот вопрос уже был объяснен. Назначение этих текстов, написанных пророками и мудрецами, состоит, однако, не в том, чтобы закрыть наглухо врата к умозрительному размышлению и лишить разум способности познавать вещи, которые можно познать, как думают невежда и нерадивый, которым нравится полагать свою собственную неполноценность и слабоумие совершенством и мудростью, а совершенство и мудрость других — неполноценностью и отклонением от Закона, и которые таким образом «тьму почитают светом, а свет тьмою». Цель этих текстов состоит в том, чтобы засвидетельствовать, что разум живых существ имеет предел, у которого он останавливается...

Глава семьдесят первая

...Знай, что существовавшие некогда в нашей религиозной общине науки, посвященные установлению сущности этих предметов, пропали, потому что с тех пор прошло много време-

ни, потому что мы были под властью языческих народов и потому что, как мы объяснили, не разрешается разглашать эти тайны всем. Ибо всех разрешается посвящать только в Священное Писание. Ты уже знаешь, что даже наши законоположения не были записаны в старые времена из-за предписания, которое широко известно в народе: «Слова, которые Я сообщил тебе устно, ты не должен записывать»... Этот запрет имеет чрезвычайно глубокий смысл и был провозглашен в интересах Закона. Ибо он преследовал цель предотвратить то, что в конце концов произошло: я имею в виду возникновение многочисленных мнений, различных школ, появление недоразумений при выражении того, что излагается в письменном виде, небрежность при записи, что повлекло за собой раскол среди людей, которые разделились на секты, и вызвало смятение в отношении правильности действий. Все эти вопросы должны были решаться Великим Синедрионом, как мы объяснили в своих талмудических произведениях и как о том свидетельствует текст Торы. Если существовало столь настоятельное требование, учитывая вред, который был бы нанесен (в противном случае), не увековечивать правовые знания в письменном своде законов, доступном всем, то тем более никакие тайны Торы не могли быть записаны и сделаны доступными всем. Напротив, они передавались немногими избранными лицами другим таким же лицам, как я объяснил тебе, исходя из их речения: «Тайны Торы могут быть переданы только мужу совета, умудренному в искусствах»... Это послужило основной причиной исчезновения этих великих основ знания среди нашего народа. Ибо ныне от тех ничего не осталось, кроме слабых намеков и указаний, встречающихся в Талмуде и Мидраше. Они представляют собой как бы несколько зернышек сердцевин, скрытые многими оболочками, вследствие чего люди занимались этими оболочками, полагая, что за ними нет сердцевин.

То немногое, что ты найдешь относительно единства Бога и относительно того, что связано с этим понятием, в сочинениях некоторых гаонов и караимов, заимствовано ими у мусульманской секты мутакаллимов, и это составляет ничтожную часть того, что мусульмане написали по этому поводу. Случилось также, что ислам начал развиваться в этом направлении благодаря некоей секте под названием «мутазила», у которой наши единоверцы переняли некоторые вещи, вступив на тот же путь, которым ходили приверженцы мутазилов (мутазилиты). По прошествии некоторого времени в исламе возникла другая секта, так называемые «ашариты», в которой появились другие взгляды. Этих последних взглядов ты не найдешь среди наших единоверцев. Это произошло не потому, что они предпочли первое направление второму, но потому, что случилось так, что они переняли и усвоили мнение первой секты и считали его доказанным...

...Когда я изучал книги мутакаллимов, насколько мне это удавалось, подобно тому, как я по мере своих сил занимался трудами философов,— я нашел, что метод всех мутакаллимов был одним и тем же, хотя он и подразделялся на различные виды. Ибо они все исходят из того, что не следует рассмат-

ривать основания сущего, ибо они — всего лишь привычка и с точки зрения интеллекта сущее вполне могло быть другим. Помимо того, во многих местах они следуют воображению и называют это мышлением. Например, когда они выдвигают положения, с которыми мы тебя познакомим, они выводят посредством своих доказательств решительное заключение, что мир сотворен во времени. И когда таким образом устанавливается, что мир сотворен во времени, то из этого несомненно вытекает, что имеется Творец, который создал его. После этого они приводят доказательства, что Творец один. И, наконец, основываясь на том, что он один, — что он бестелесен. Таким путем следует каждый мусульманин-мутакалим во всем, что касается этого предмета. Точно так же поступают и наши единоверцы, которые подражают им и ходят их путями. Общим для всех них является прежде всего утверждение сотворенности мира во времени, а на основании сотворенности его утверждается как истина бытие Бога.

Каждый довод, который считался доказательством сотворенности мира во времени, сомнителен и не почитается убедительным доказательством никем, кроме тех, кто не умеет различать между доказательством, диалектикой и софистическим аргументом. Тому же, кто знает эти искусства, ясно и очевидно, что существуют сомнения в отношении всех этих доказательств и что они основываются на посылах, которые не доказаны. Высшая способность того, кто привержен Закону и кто обрел знание истинного бытия, состоит, по моему мнению, в опровержении приводимых философами доказательств вечности мира. Как высоко поднялся бы тот, кто был бы способен сделать это! И каждый, кто предается умозрению, кто восприимчив и обрел истинное знание реальности, не вводит себя в заблуждение, знает, что в отношении этого предмета, — то есть вечности мира или его сотворенности во времени, — нельзя достигнуть убедительного доказательства, и что это удел, у которого останавливается разум...

ВОСЕМЬ ГЛАВ

Глава первая

О человеческой душе и ее способностях

Знай, что человеческая душа одна, но что она имеет разнообразные активно действующие силы. Некоторые из этих сил в самом деле были названы душами, что было причиной возникновения мнения, что у человека много душ, как полагали врачеватели, и это привело к тому, что наиболее известный из них утверждает в введении к своей книге, что существуют три души: физическая, животная и психическая. Эти активно действующие силы суть способности и части, так что общераспространенным является выражение «части души», которое часто употреблялось философами. Слово «части» не подразумевает, однако, что душа делится на части, как тела; они прос-

то перечисляют различные активно действующие силы души как части целого, которые в своем единстве составляют душу.

Ты знаешь, что совершенствование моральных качеств осуществляется врачеванием души и ее активно действующих сил. Поэтому, как врачеватель, который стремится лечить человеческое тело, должен обладать совершенным знанием его как целого и его отдельных частей, как он должен быть знаком со средствами, которыми больного можно излечить,— так же тот, кто пытается излечить душу, желая улучшить моральные качества, должен обладать знанием души как целого и ее частей, знать, как предотвратить ее заболевание и как сохранить ее здоровье...

Я говорю, что душа имеет пять способностей: питания (известную также как способность возрастания), ощущения, воображения, стремления и размышления...

Способность ощущения состоит из пяти хорошо знакомых чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания...

Воображение есть способность сохранять впечатления о вещах, воспринимаемых разумом, после того как они перестали воздействовать прямо на чувства, которые воспринимали их. Эта способность, сочетающая некоторые из этих впечатлений и различающая между другими, может формировать новые идеи, которые на самом деле никогда не воспринимала и вероятно не могла воспринять. Например, можно вообразить железный корабль, плывущий по воздуху, или человека, чья голова достигает неба и чьи ноги покоятся на земле, или животное с тысячью глаз и многие другие подобные невероятные вещи, которые воображение способно сотворить и наделить бытием, что нереально. В этом отношении мутакаллимы впали в прискорбное и пагубное заблуждение, в результате которого их ложные теории образуют краеугольный камень софистической системы, которая разделяет вещи на необходимые, возможные и невозможные, дабы они верили и побуждали других верить, что все творения и воображения возможны, не имея в виду, как мы утверждали, что эта способность может приписать бытие тому, что не может видимо существовать.

Способность стремления — это способность, благодаря которой человек желает чего-то или испытывает к чему-то отвращение и из которой возникают следующие действия: стремление к предмету или удаление от него, склонность и избегание, гнев и привязанность, страх и смелость, жестокость и сострадание, любовь и ненависть и многие другие подобные душевные качества...

Разум, эта способность, свойственная человеку, дает ему возможность размышлять и обретать знание наук и различать между правильными и неправильными действиями.

Глава вторая

О нарушении способностей души и обозначении способностей, которые есть вместилище добродетелей и пороков

Знай, что нарушение и соблюдение Закона происходят только из способностей души, а именно: [способности] ощу-

щения и [способности] стремления,— и что лишь этим двум способностям должно приписать все нарушения и соблюдения [Закона]. Способности питания и воображения не служат причиной соблюдения или нарушения [Закона], ибо никакой сознательный или произвольный акт не связан ни с одной из них. Это означает, что человек не может сознательно приостановить их функционирование и он не может прекратить какое-либо из их действий. Доказательство этого [состоит в том], что обе эти способности, питание и воображение, продолжают действовать, когда человек спит, что неверно в отношении какой-либо другой способности души.

Что касается способности размышления, то [среди философов] преобладает неуверенность, но я утверждаю, что соблюдение и нарушения могут тоже происходить из этой способности, поскольку некто верит в истинную или ложную доктрину, хотя из этого не проистекает действие, которое может обозначаться как соблюдение или нарушение.

Что касается добродетелей, то они бывают двух видов: моральные и интеллектуальные, с соответствующими двумя классами пороков. Интеллектуальные добродетели принадлежат к способности размышления. Они суть: 1. Мудрость, которая есть знание прямых и косвенных причин вещей, основанное на предшествующем понимании существования тех вещей, причины которых исследовались; 2. Разум, состоящий из: а) приобретенного интеллекта, который нам нет надобности рассматривать здесь; и в) сообразительности и интеллектуальной одаренности, которая есть способность быстро понимать и схватывать мысль без промедления или за очень короткий срок. Пороки этой способности суть антитезы или противоположности этих добродетелей.

Нравственные добродетели принадлежат только к способности стремления, по отношению к которой способность чувственного восприятия в этой связи имеет чисто подчиненное значение. Добродетели этой способности весьма многочисленны. Это — умеренность, [то есть боязнь греха], великодушие, честность, кротость, смирение, удовлетворенность (которую законоучители называют «богатством», когда они говорят «Кто богат? Довольный долей своей»...), храбрость (верность) и другие добродетели, наподобие этих. Пороки этой способности состоят из недостатка или преувеличения этих качеств.

Глава третья О недугах души

Древние утверждали, что душа, подобно телу, может быть здоровой или больной. Здоровье души определяется ее состоянием и состоянием ее способностей, посредством которых она постоянно делает то, что правильно, и совершает то, что надлежит [совершать], тогда как болезнь души вызвана ее состоянием и состоянием ее способностей, которое ведет к тому, что она постоянно поступает дурно и совершает действия, которые неуместны. Наука врачевания исследует здоровье тела. Как те, кто физически болен, воображают, по причине

своего извращенного вкуса, что сладкое — горько и горькое — сладко, и как их желание возрастает, и усиливается удовольствие, испытываемое ими от [вкушения] таких вещей, как пыль, уголь и очень острая и кислая пища и тому подобных [вещей], к которым здоровый человек испытывает отвращение и которые он отвергает, так как это не только не полезно даже для здорового, но, возможно, вредно, — так те, чьи души больны, то есть порочные и нравственно извращенные, воображают, что дурное — хорошее и хорошее — дурное. Порочный человек, помимо того, постоянно стремится к излишествах, которые на самом деле пагубны, но которые по причине болезни его души он считает хорошими. Как люди, незнакомые с наукой врачевания, которые понимают, что они больны и обращаются за советом к врачу, и он говорит им, что делать, запрещая отведывать от того, что они полагают полезным, и предписывая вещи неприятные и горькие, дабы их тела выздоровели и они снова могли выбрать хорошее и отвергнуть дурное, — так же те, чьи души заболевают, должны обратиться за помощью к мудрецам, врачевателям нравов, которые посоветуют им не потакать своим порокам, которые они [нравственно больные] считают благом, дабы они могли быть исцелены искусством, о котором я буду говорить в следующей главе и через которое моральные качества возвращаются в нормальное состояние. Но если тот, кто нравственно болен, не замечает своей болезни, воображая, что он благополучен, или замечая, что он болен, не ищет лекарства, конец его будет таким же, как человека, который, страдая телесным недугом, продолжает потворствовать себе, пренебрегая лечением, и который, вследствие этого, находит преждевременную смерть.

Те, кто, зная, что они находятся в болезненном состоянии, тем не менее уступают своим неумеренным страстям, описываются в верном Законе, приводящем их собственные слова: «я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего» (Втор. 29:18). Это означает, что, намереваясь утолить свою жажду, человек, напротив, усиливает ее. О том, кто не знает о своей болезни, во многих местах говорит Соломон, который речет: «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр» (Пр. 12:15). Это означает, что тот, кто слушает совет мудреца — мудр, ибо мудрый учит его пути, который действительно правилен и не такому, какой он [нравственно больной] ошибочно полагает таковым. Соломон также говорит: «Есть пути, которые кажутся человеку приятными, но конец их — путь к смерти» (там же, 14:12). Опять-таки, в отношении тех, кто нравственно болен, не зная различия между тем, что вредно, и тем, что полезно, он говорит: «Путь же беззаконных — как тьма, они не знают, обо что споткнутся» (там же, 4:9).

Искусство врачевания болезней души составляет, однако, предмет четвертой главы.

Глава четвертая Об излечении недугов души

Добрые дела — это те, которые уравновешены, держатся середины между двумя крайностями: слишком многим и слишком малым. Добродетели суть душевные состояния и склонности, которые образуют средний путь между двумя достойными порицания крайностями, одна из которых характеризуется чрезмерностью, другая — недостаточностью. Добрые дела являются продуктом этих склонностей. Поясним: воздержанность — это склонность, которая избирает средний путь между неумеренной страстью и полным безразличием к наслаждению. Воздержанность, стало быть, — это правильная норма поведения, и душевная склонность, вызывающая ее, — этическое качество; но неумеренная страсть, крайность излишества и полное равнодушие к наслаждению, крайность недостатка — оба абсолютно пагубны. Душевные склонности, из которых проистекают эти две крайности, неумеренная страсть и апатия, — одна есть чрезмерность, другая — недостаточность, равно причисляются к нравственным порокам.

Точно так же, щедрость есть среднее между скарденностью и расточительностью, храбрость — между безрассудством и трусостью, достоинство — между высокомерием и угодливостью, смирение — между надменностью и самоуничижением, удовлетворенность — между стяжательством и нерадостью и благотворительность — между скупостью и мотовством. [Так как не существует определенных терминов] в нашем языке, чтобы посредством их выразить эти последние качества, необходимо объяснить их содержание и сказать, что подразумевают под ними философы. Благотворителем называют человека, единственное намерение которого состоит в том, чтобы делать добро другим посредством личной услужливости, посредством денег или совета и, насколько это только в его силах, не навлекая в то же время страдания или позора на себя. Это средняя линия поведения. Презренный человек — тот, кто не хочет, чтобы другие преуспели в чем либо, даже если он сам не понесет при этом какой-то потери, не потерпит невзгод или ущерба. Это — одна крайность. Щедрый человек, напротив, тот, кто охотно совершает вышеупомянутые деяния, несмотря на то, что тем самым навлекает на себя большой ущерб или позор, ужасные невзгоды или терпит немалые потери. Это другая крайность. Доброта есть среднее между раздражительностью и нечувствительностью к позору и бесчестью; и скромность — между дерзостью и робостью. (Объяснение этих последних терминов, заимствованных из поучений наших мудрецов — да будет благословенна их память! — представляется таким: по их мнению, скромный человек тот, кто весьма застенчив, и поэтому скромность достойна презрения. Мы делаем такой вывод из их речения: «Застенчивый не изучает». Они также говорят: «Скромный на пути к раю», — но они не утверждают, что это застенчивый человек. Поэтому я расположил их в таком порядке). Так обстоит дело и с другими качествами. Человек не обязательно должен употреблять общепринятые термины для

обозначения этих качеств, если только идеи ясно установились в его уме.

Часто случается, однако, что люди заблуждаются насчет этих качеств, воображая, что одна из крайностей хороша и добродетельна. Иногда крайность считается благородной, когда [например] безрассудная смелость делается добродетелью и те, кто безрассудно рискуют своей жизнью, провозглашаются героями. Таким образом, когда люди видят человека, безрассудного в высшей степени, который преднамеренно подвергает себя опасности, умышленно искушая смерть и избегая ее только по чистой случайности, они превозносят его до небес и говорят, что он — герой. В другие времена чрезвычайно ценится противоположная крайность, и трус считается сдержанным человеком, ленивец — особой, довольной своей долей, и тот, кто по вялости своей природы бесчувствен к всякой радости, восхваляется как умеренный человек (то есть как тот, кто удаляется от греха). Точно так же, чрезмерная щедрость и крайняя расточительность ошибочно превозносятся как отменные черты. Это, однако, совершенно ошибочный взгляд, ибо действительно достоин похвалы средний путь, придерживаться которого должен стремиться всякий, всегда взвешивая тщательно свое поведение, дабы достигнуть должной середины.

Знай, помимо того, что эти моральные совершенства или недостатки не могут быть обретены или вселены в душу, кроме как через посредство частого повторения деяний, протекающих из этих качеств, которые, если их практикуют в течение длительного периода, приучают нас к ним. Если эти совершаемые действия хороши, тогда мы обретаем добродетель; но если они дурны, то мы обретаем порок. Так как, однако, ни один человек не является на свет с врожденной добродетелью или пороком, и так как поведение каждого человека с младенчества подвергается воздействию со стороны образа жизни, какой ведут его родные и соотечественники, его поведение может согласовываться нормами умеренности, но тогда опять-таки возможно, что его действия могут тяготеть к другой крайности, как мы показали, в случае чего его душа заболевает. В таком случае ему надлежит прибегнуть к лечению, как он сделал бы, если бы его тело страдало от недуга. Поэтому, как в случае нарушения физического здоровья, когда мы замечаем, в какую сторону оно склоняется, мы побуждаем его развиваться в прямо противоположном направлении, пока оно не вернется к должному состоянию, и как при достижении надлежащего состояния мы прекращаем этот процесс и устанавливаем положение, при котором сохраняется надлежащее равновесие,— так же мы должны установить нравственное равновесие. Приведем в качестве примера случай с человеком, в чьей душе развилась склонность [к ненасытному стяжательству], вследствие чего он лишает себя всякой утехы в жизни, и которая, между прочим, есть один из самых отвратительных пороков и безнравственное действие, как мы показали в этой главе. Если мы желаем излечить этого больного человека, мы не должны

приказывать ему осуществлять только деяния щедрости, ибо это было бы столь же неэффективно, как если бы врач пытался излечить больного, пожираемого жаром, прописывая ему слабые лекарства, что не повело бы ни к каким результатам. Мы должны, однако, понудить его к мотовству и заставить его повторять действия расточительства непрерывно, пока совершенно не исчезнет эта склонность, которая была причиной его жадности. Потом, когда он достигнет ступени, на которой он начнет превращаться в мота, мы должны научить его умерять свое расточительство и рекомендовать ему продолжать дела благотворительности, следя с должным тщанием, чтобы он не впадал ни в чрезмерную щедрость, ни в скардность.

Если, напротив, человек — мот, его надо наставлять практиковать строгую экономию и повторять акты скупости столько раз, сколько слабый человек [повторяет] акты расточительства. Этот щекотливый вопрос, который есть закон и тайна науки врачевания, служит нам свидетельством того, что легче для человека со склонностями к расточительности умерить их до щедрости, чем для скряги расщедриться. Точно так же, легче для человека, который апатичен и удаляется от греха, возбудиться до умеренного наслаждения, чем для того, кто горит от страсти, подавить свои желания. Вследствие этого, распущенного человека надо заставить практиковать сдержанность больше, чем побуждать апатичного человека потворствовать своим страстям; и точно так же, трус нуждается в том, чтобы чаще подвергаться опасности, чем безрассудный человек должен побуждаться к трусости. Слабый человек должен проявлять расточительство в большей степени, чем от расточительного требуется проявление скупости. Это фундаментальный принцип науки излечения нравственных болезней.

По этой причине праведники не приучались понуждать свои природные склонности сохранять точное равновесие между двумя крайностями, но отклонялись слегка посредством осмотрительности и сдержанности то в сторону чрезмерности, то в сторону недостаточности. Таким образом, например, воздержанность склонялась в какой-то мере к полному отказу от всех удовольствий, доблесть приближалась несколько к безрассудной смелости, щедрость к расточительности, скромность к крайнему смирению и так далее. На это намекали законоучители в своем поучении: «Делай больше, чем требует буква Закона».

Когда, время от времени, некоторые благочестивые люди доходили до крайности, постясь, бодрствуя ночами, воздерживаясь от мяса или вина, отказываясь от половых сношений, облакаясь в грубошерстные одежды, пребывая в горах и бродя по пустыне, они делали это отчасти для восстановления здоровья своих душ, как мы объяснили выше, и отчасти по причине безнравственности городских жителей. Когда благочестивые люди видели, что они сами могли загрязниться, общаясь с дурными людьми или постоянно наблюдая их действия, боясь, что их собственные нравы могут испортиться вследствие соприкосновения с ними, они бежали в пустыню, подальше от общества, как

сказал пророк Иеремия: «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них: ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных» (Иер. 9:1). Когда невежды наблюдали праведных людей, поступающих таким образом, не зная их побуждений, они считали их поступки как таковые добродетельными и слепо подражали их действиям, думая тем самым стать подобными им. Они укрощают плоть посредством разного рода истязаний, воображая, что они обрели совершенство и нравственное достоинство и что через посредство этого человек приблизится к Богу, как если бы Он ненавидел человеческое тело и желал его гибели. Им никогда не приходило на ум, однако, что эти действия дурны и ведут к нравственному несовершенству души. Таких людей можно сравнить только с невеждой в искусстве врачевания, который видит искусных врачей, лечащих больных на смертном ложе прописыванием [слабительных средств, известных на арабском языке как] колоквинт, скаммония, алоэ и тому подобное, и лишением их пищи, и делает нелепый вывод, что, так как эти вещи лечат болезнь, они должны быть тем более действенными в сохранении здоровья или продления жизни. Если бы человек принимал эти вещи постоянно и относился бы к себе как к больному, он бы и в самом деле захворал. Точно так же, кто духовно здоров, но прибегает к лекарствам, несомненно станут нравственно больными.

Закон, который ведет нас к совершенству, — как некто, хорошо знающий это, свидетельствует словами: «Закон Господа совершенен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых» (Пс. 9:9), — не рекомендует ни одной из таких вещей (как самоистязание, отшельничество и т. д.). Напротив, он стремится к тому, чтобы человек следовал тропой умеренности в соответствии с велениями природы, вкушая пищу, совершая возлияния, наслаждаясь законными половыми сношениями, всем в меру, и жил среди людей честно и бесхитростно, а не пребывал в пустыне или в горах, или одевался во власяницу, или истязал тело. Закон даже предостерегает нас против этих обычаев, если мы толкуем его, согласно традиционной интерпретации отрывка о назорее: «и очистит священник его от осквернения, ибо он согрешил против души» (Чис. 6:11). Законоучители спрашивают: «Против чьей души он согрешил? Против своей собственной души, потому что он лишил себя вина. Не есть ли это умозаключение от меньшего к большему? Если тот, кто лишает себя лишь вина, должен очиститься от осквернения, сколь больше возлагается на того, кто отказывается от всякого удовольствия?»

Из слов наших пророков и мудрецов нашего Закона мы видим, что они склонялись к умеренности и заботе о своих душах и телах в соответствии с тем, что предписывает Закон, и в соответствии с ответом, который дал Бог через Своего пророка тем, кто спрашивал, должен ли ежегодно проводить день поста продолжаться или нет. Они спросили Зхарию: «Плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет?» (Зх. 7:3). Его ответом было: «Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, — для

Меня ли вы постились? Для Меня ли? И когда вы едите и когда вы пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?» (там же, 7:5). После этого он обязал их быть только справедливыми и добродетельными, а не поститься, сказав им: «Так говорил тогда Господь воинств: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему» (там же, 7:9). Он сказал далее: «Так говорит Бог воинств: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого и пост десятого содедается для дома Иехуды радостью и веселым торжеством; только любите истину и мир» (там же, 8:19). Знайте, что под «истиной» подразумеваются интеллектуальные добродетели, ибо они неизменно истинны, как мы объяснили в главе второй, и что «миром» обозначаются моральные добродетели, ибо от них зависит мир в мире.

Но предположим: если наши единоверцы — я говорю о них одних, которые подражают последователям других религий, утверждают, что, истязая свои тела и отказываясь от всякой радости, они поступают так лишь для того, чтобы дисциплинировать способность своей души некоторым склонением к одной крайности, как надлежит и в соответствии с нашими собственными рекомендациями в этой главе, мы отвечаем, что они заблуждаются, как я теперь докажу. Закон не устанавливал свои запреты для иной цели, кроме той, чтобы посредством его воспитывающих влияний мы могли постоянно сохранять надлежащее расстояние от любой крайности. Ибо ограничения относительно всех запрещенных видов пищи, запрещение незаконных половых сношений, предостережение против проституции, долг совершения имеющих законную силу свадебных обрядов, — что, тем не менее, не разрешает половых сношений в любое время, запрещая их, например, в период месячных и после родов, помимо того, что они ограничиваются нашими мудрецами и совершенно запрещаются в дневное время, — все это Бог повелел, дабы мы держались в полном отдалении от крайности беспорядочного потворствования страстям, и, даже отступая от точной середины, мы должны были несколько склоняться к самоотречению, дабы в наших душах пустило крепкие корни расположение к умеренности.

Точно так же все, что содержится в Законе касательно десятины, собирания урожая, нескошенных колосьев, отдельных ягод и небольших гроздьев в винограднике для бедных, закона о субботнем годе и о юбилее, о благотворительности согласно потребности нуждающегося, — все они приближаются к крайности расточительности, практикуемой, дабы мы могли отойти далеко от ее противоположности, скарденности, — и таким приближением к крайности чрезмерной расточительности в нас может быть вселено качество щедрости. Если ты должен был бы проверить большинство заповедей с этой точки зрения, ты нашел бы, что все они даны ради дисциплины и руководства способностями души. Так, Закон запрещает таить злобу и прибегать к кровной мести, говоря: «не мсти и не имей злобы» (Лев. 19:18). «развьючь вместе с ними» [осла врага твоего] (Исх. 23:5); «подними их с ним вместе» [осла брата твоего или вола его, упавших на пути] (Втор. 22:4). Эти предписания предназна-

чены ослабить силу гнева или ярости. Точно так же повеление «возврати их» [заблудившихся вола брата твоего или овцу его] (там же, 22:1), должно помочь тебе избавиться от склонности к жадности. Точно так же: «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца» (Лев. 19:32); «Почитай отца твоего и мать твою» и далее (Исх. 20:12); «Не уклоняйся... от того, что они скажут тебе» и далее (Втор. 17:11)—направлены на то, чтобы покончить с дерзостью и породить скромность. Тогда, дабы сторониться другой крайности, то есть чрезмерной застенчивости, нам говорят: «обличи ближнего твоего» и далее (Лев. 19:17); «Не бойся его [лжепророка]» и так далее (Втор. 18:22), — чтобы чрезмерная застенчивость тоже исчезла, дабы мы следовали средним путем. Если, однако, человек — который, без сомнения, был бы глуп, если бы он поступил так, — искал бы осуществлять эти заповеди с дополнительной строгостью, как, например, более запрещающая есть и пить, чем это делает Закон, или ограничивая супружеские отношения в большей степени или раздавая все свои деньги бедным, или расходуя их на священные нужды более щедро, чем того требует Закон, или тратя их всецело на священные предметы и на святилище, он на самом деле совершил бы неправильные действия и бессознательно приблизился бы к той или другой крайности, совершенно отказываясь таким образом от правильной середины...

Из всего, что мы установили в этой главе, ясно следует, что долг человека состоит в стремлении совершать действия, которые соблюдают надлежащую середину, и не уклоняться от этого, переходя к той или другой крайности, разве что для восстановления душевного здоровья, обращаясь к противоположности того, от чего страдает душа. Тот, кто знаком с наукой врачевания, например, после того, как он замечает малейший симптом изменения к худшему в состоянии своего здоровья, не остается безразличным к этому, не дает болезни разрастись до такой степени, которая потребует обращения к сильнодействующим лекарствам. Точно так же, когда человек чувствует, что один из его членов поражен, он тщательно лечит его, воздерживаясь от вещей, которые вредны для того и применяя любое средство, которое восстановило бы его в его здоровом состоянии или по крайней мере не допустило бы ухудшения. Подобным же образом, нравственный человек будет постоянно проверять черты своего характера, обдумывать поступки и ежедневно изучать свое душевное состояние; и если в какое-либо время он находит, что его душа склоняется к той или другой крайности, он немедленно торопится применить надлежащее лекарство, а не терпеть, чтобы дурная подверженность обрела силу, как мы показали, посредством постоянного повторения того дурного действия, которое вызвало ее. Он точно так же должен помнить о своих недостатках и постоянно стремиться исправить их, как мы говорили ранее, ибо нет человека, свободного от всех пороков. Философы говорят нам, что труднее всего и [чрезвычайно] редко можно найти человека, который по своей природе наделен всяким совершенством, нравственным и духовным. Эта мысль выражается часто в пророческих книгах, как например: «Вот, Он и слугам Своим не доверяет и в анге-

лах Своих усматривает недостатки» (Иов. 4:18); «И как человеку быть правым перед Богом, и как быть чистым рожденному женщиною?» (там же, 25:4); и Соломон говорит о человечестве в целом: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» (Эккл. 7:20)...

Глава шестая

О различии между «праведным» (высоко нравственным) человеком и тем, кто «[смиряет свои страсти и] умеет владеть» собой.

Философы утверждают, что хотя человек, владеющий собой, совершает нравственные и достохвальные поступки, однако он желает и страстно алчет совершать все время безнравственные поступки; но, смиряя свои страсти и действительно борясь со стремлением совершать вещи, к которым его побуждают его способности, желания и физическая склонность, добивается, хотя и испытывая постоянное раздражение и гнев, того, что действует согласно морали. Праведный человек, однако, руководствуется в своих действиях тем, к чему наклонность и расположение побуждают его, вследствие чего он поступает нравственно из природенного стремления и желания. Философы единодушны в том, что последний более совершенен, чем тот, кто обуздывает свои страсти, хотя они и добавляют, что такой человек может сравниться с праведным человеком во многих отношениях. В общем, однако, он должен непременно занимать более низкую ступень на лестнице добродетели, потому что в нем таится желание творить зло, и хотя он не совершает его, то обстоятельство, что все его склонности направлены в эту сторону, тем не менее, означает наличие безнравственного душевного расположения. Соломон тоже придерживался этой мысли, когда он говорил: «Душа нечестивого желает зла» (Пр. 21:10), — и в отношении того, что праведный человек радуется, делая добро, и что испытывает досаду тот, кто праведен не от рождения, когда от него требуют поступать по справедливости; он говорит: «Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло» (там же, 21:15). В этом существует явная согласованность между Писанием и философией.

Когда, однако, мы советуемся по этому поводу с законоучителями, представляется, что они считают того, кто желает беззакония и стремится к нему (но не совершает это), более достойным похвалы и совершенным, чем того, кто не испытывает мучения, воздерживаясь от зла; и они даже доходят до утверждения, что чем более достоин похвалы и совершенен человек, тем сильнее жаждет он совершить беззаконие и тем большую досаду чувствует он, сознавая, что должен воздержаться от совершения его. Это они выражают, говоря: «Всякий, кто больше, чем его ближний, имеет точно так же больше дурных наклонностей». И далее, как если бы этого было недостаточно, они заходят так далеко, что утверждают, будто награда того, кто преодолевает свою дурную склонность, соразмерна с мучением, вызванным противодействием ей, каковую мысль они выражают в словах: «По труду и награда». Кроме того, они предписывают, что человек должен превозмогать свои желания, но запрещают ему говорить: «Я по своей природе не же-

лаю совершать такого-то и такого-то проступка, хотя бы Закон и не запрещал этого». Рабби Шимон бен Гамлиэль резюмировал эту мысль в словах: «Человек не должен говорить: «Я не хочу есть мясо вместе с молоком; я не хочу носить одежду, изготовленную из шерсти и льна, я не хочу вступать в кровосмесительный брак». Но на самом деле он должен сказать: «Я действительно хочу, но я не должен, ибо мой Отец в небесах запретил это».

На первый взгляд, при поверхностном сравнении речений философов и законоучителей, можно склониться к тому, чтобы сказать, что они противоречат друг другу. Это, однако, не так. И те, и другие правильны и, более того, не расходятся в самом малом, как пороки, которые философы называют так, — и о коих они говорят, что того, кто не испытывает сильного влечения к ним, надо больше хвалить, чем того, кто желает их, но обуздывает свою страсть, — есть вещи, которые по общему мнению грабеж, обман, причинение ущерба человеку, который неповиновен в нанесении вреда другому, неблагодарность, непочтение родителей и тому подобное. Предписания против них называются заповедями, о коих законоучители говорят: «Если бы они уже не были записаны в Законе, следовало бы добавить их»...

Нет сомнения, что душа, которая желает и вожделеет совершать вышеуказанные преступления, несовершенно; что благородная душа не имеет абсолютно никакого стремления к каким-либо таким преступлениям и не подвержена борению, воздерживаясь от них. Когда, однако законоучители утверждают, что преодолевающий свое желание заслуживает большей награды, чем тот, кто не испытывает искушения, они говорят это только в отношении ритуальных запретов. Это совершенно верно, так как, если бы не Закон, они бы вообще не считались закононарушителями. Поэтому, говорят законоучители, такой человек должен позволить своей душе питать естественную склонность к этим вещам, но только Закон должен удерживать его от совершения их. Помысли, что мудрость этих мужей благословенной памяти проявляется в примерах, которые они приводят. Они не заявляют: «Человек не должен говорить, что у него нет желания убивать, грабить и лгать, но должен признавать, что у него есть желание совершать эти вещи, однако Отец на небесах запрещает это!» Нет, примеры, которые они приводят, все — из области ритуального права, как то: смешивание мяса и молока, ношение одежды, изготовленной из шерсти и льна, и вступление в брак с единокровными родственниками. Эти и подобные предписания суть то, что Бог называет «Моими уставами», — которые, по словам законоучителей, суть «уставы, которые Я [Бог] ввел для вас, которые вы не имеете права подвергать критике, на которые нападают народы мира и которые осуждает Сатана, как, например, уставы касательно непорочной телицы, козла отпущения, и так далее» (Исма 67:2). Эти запреты, однако, названные позднейшими мудрецами рациональными законами, именуются предписаниями...

Теперь из всего сказанного нам очевидно, каковы прегрешения каждого из нас: если человек вовсе не имел желаний, он на более высоком уровне, чем тот, кто имеет вожделение, но

управляет своей страстью [совершать] это; также очевидно, что прегрешения суть то, противоположность чего есть истина...

Глава восьмая

О естественном расположении человека

Невозможно, чтобы человек родился наделенным природой с самого рождения добродетелью или пороком, как невозможно, чтобы он родился искушенным по природе в каком-нибудь искусстве. Возможно, однако, что по естественным причинам он может от рождения быть устроен так, чтобы иметь склонность к некоей добродетели или пороку, так что он будет охотнее проявлять их, чем какие-нибудь другие [добродетели или пороки]. Например, человеку, чья природная конституция склоняется к сухости, чье мозговое вещество чисто и не перегружено флюидами, гораздо легче учить, запоминать и понимать вещи, чем флегматичному человеку, чей мозг стеснен большей влажностью. Но если некто, кто по конституции склоняется к некоему преимуществу, останется совершенно без обучения и если развитие его способностей совершенно не поощряется, то он, несомненно, останется невеждой. Напротив, если человек, от природы тупой и вялый, обладающий в избытке влажностью, обучается и просвещается, он — хотя, правда, и с трудом — постепенно преуспевает в обретении знания и понимания. Точно так же, тот, чья кровь несколько горячее, чем это необходимо, имеет необходимое качество, чтобы сделаться храбрым человеком. Другой, однако, темперамент сердца которого холодней, чем это должно было бы быть, естественно склоняется к трусости и страху, так что если его обучать и приучать быть трусом, он легко стал бы им. Если, однако, желают сделать из него храброго человека, он без сомнения станет таким, при условии, что получит надлежащую подготовку, для чего потребуется, разумеется, большое усилие.

Я углубился в этот предмет, дабы ты не поверил несуразным идеям астрологов, которые ложно утверждают, что взаимное расположение небесных светил во время чьего-либо рождения определяет, будет ли он добродетельным или порочным, в результате чего индивидуум необходимо понуждается следовать определенной линии поведения. Мы, напротив, убеждены, что наш Закон согласуется с греческой философией, которая подкрепляет убедительными доказательствами утверждение, что поведение человека всецело зависит от него самого. Человека не подвергают никакому принуждению и никакому внешнему влиянию, дабы заставить его быть добродетельным или порочным. Разумеется, как мы сказали ранее, человек может от природы иметь такую конституцию, чтобы совершение той или иной вещи казалось ему легким или трудным, в зависимости от случая; но то, что он необходимо должен что-то совершить или воздержаться от совершения, — совершенно неверно. Если бы человек понуждался действовать согласно велениям предопределения, тогда предписания и запреты Закона утратили бы силу и Закон был бы совершенно ложным, так как у человека не было бы свободы выбора в том, что он делает. Кро-

ме того, было бы бесполезно, даже совершенно напрасно, человеку изучать какое-либо искусство, как было бы совершенно невозможно для него из-за внешней силы, принуждающей его, согласно мнению тех, кто разделяет такой взгляд, удержаться от совершения некоего действия от усвоения некоего знания или от обретения некоего качества. Награда и наказание тоже были бы абсолютной несправедливостью, что распространяется как на отношение человека к человеку, так и на отношение Бога и человека. Предположим, при таких условиях, что Шимон убил Реувена. Почему первого следовало наказать, если принять во внимание то, что он был вынужден совершить убийство и Реувену было суждено быть убитым? Как мог Всемогущий, который праведен и справедлив, покарать Шимона за деяние, которого тот не мог не совершить и которого, хотя он и стремился к этому изо всех сил, он не был способен избежать? Если таким было истинное положение, все меры предосторожности, как то: строительство домов, обеспечение средствами к существованию, бегство из страха опасности и так далее, — были бы совершенно бесполезными, ибо то, что было предрешено заранее, должно было необходимо случиться. Поэтому эта теория, несомненно, ошибочна, противна разуму и здравому смыслу, и, приписывая несправедливость Богу (да будет она далека от Него!), подрывает фундаментальные принципы религии. Действительно, бесспорная истина состоит в том, что человек совершенно властен в своих действиях. Если он желает что-то сделать, он делает это; если он не желает чего-то делать, он может этого не делать, без какого-нибудь внешнего принуждения, управляющего им. Поэтому Бог повелел человеку, говоря: «Вот Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло... Избери жизнь» (Втор. 30:15,19), — предоставляя нам в этом отношении свободу выбора. Вследствие этого наказание налагается на тех, кто не повинуется, и награда даруется повинующемуся, как сказано: «Если послушаете» и «Если не послушаете» (Втор. 11:27-28). Учение и обучение тоже необходимы, согласно повелениям: «И учите им сыновей своих» (там же, 11:19); «и выучите их, и старайтесь исполнять их» (там же, 5:1), и точно так же все другие отрывки, относящиеся к изучению заповедей. Необходимо также предпринять все предохранительные меры, изложенные в Законе, как то: «сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом свой» (там же, 22:8); «дабы не умер не в сражении» (там же, 20:5,7); «в чем будет он спать?» (Исх. 22:26) и «Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова» (Втор. 24:6) и во многих других местах в отношении предостережений, содержащихся в Торе и Пророках.

Высказывание, содержащееся в поучениях мудрецов Талмуда: «Все во власти Бога, кроме страха Божьего», — тем не менее, истинно и согласуется с тем, что мы изложили здесь. Люди, однако, очень часто склонны заблуждаться, предполагая, что многие из их действий — на самом деле результат их свободной воли — навязаны им, как например, женитьба на какой-нибудь женщине или приобретение некоей суммы денег. Такое предположение неверно. Если человек вступает в брак или женится на какой-нибудь женщине по закону, тогда она становится его

законной женой и, женившись на ней, он выполняет Божественную заповедь плодиться и размножаться. Бог, однако, не предпринимает, что заповедь должна быть выполнена. Если, напротив, человек вступил с женщиной в незаконную связь, он совершил прегрешение. Но Бог не предпринимает, чтобы человек грешил. Далее, предположите, что человек отнимает у другого деньги, крадет у него или обманывает его, а затем, дав ложное показание под присягой», отрицает это. Если бы мы сказали, что Бог предопределил, что эта сумма денег должна перейти в руки одного и из владения другого, это означало бы, что Бог предопределил акт беззакония. Но это не так. Скорее все деяния человека подвержены его свободной воле и, несомненно, подчиняются Божественным заповедям или нарушают их; ибо, как было разъяснено в главе второй, повеления и запреты Закона относятся только к тем действиям, в осуществлении которых человек пользуется полной свободой воли. Кроме того, этой способности души (то есть свободе воли) подвластен «страх Божий», и вследствие этого, она не предопределена Богом, но, как мы объяснили, полностью во власти человеческой свободной воли. Словом «все» законоучители пользовались, чтобы обозначить только природные явления, которые не подвержены влиянию человеческой воли, как то: высокого или низкого роста человек, идет ли дождь или сухо, чистый или грязный воздух, и все другие подобные вещи, происходящие в мире, которые не связаны с поведением человека.

Утверждая, что послушание или непослушание Божественному Закону не зависит от могущества или воли Бога, но только от самого человека, мудрецы следовали речению Иеремии, который сказал: «Не от уст... Всевышнего происходит бедствие и благополучие» (Плач 3:38). Под словом «бедствие» он подразумевает порок, а под «благополучием» — добродетель; и, соответственно, он утверждает, что Бог не предопределяет, что некий человек должен быть порочным или добродетельным. А раз это так, человеку приличествует скорбеть и оплакивать грехи и проступки, которые он совершил, так как он грешил по своей собственной свободной воле, в соответствии с тем, что говорит пророк: «Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои» (там же, 3:39). Он продолжает затем говорить нам, что средство против этого недуга в наших собственных руках, ибо, как наши преступления были результатом наших злых дел, мы обладаем и способностью раскаяться в своих злых делах, и он в дальнейшем говорит: «Испытуем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу, вознесем сердце наше и руки к Богу, существу на небесах» (там же, 3:40-41).

Учение, принятое всеми людьми и содержащееся в сочинениях законоучителей и пророков, согласно которому сидение и вставание человека и все его движения управляются волей и желанием Бога, верно лишь в одном отношении. Например, когда бросают камень вверх и он падает на землю, правильно сказать, что камень падает в соответствии с волей Божьей, ибо верно, что Бог предопределил, чтобы земля и все ее элементы были центром притяжения, дабы, когда какая-нибудь часть бросается вверх, она притягивалась бы назад, к центру. Точно так же,

все частицы огня восходят согласно Божьей воле, которая решила, что огонь должен подниматься вверх. Но верно предположить, что когда некая часть земли брошена вверх, Бог хочет в то же самое мгновение, чтобы она упала. Мутакаллимы, однако, придерживаются другого мнения по этому поводу, ибо я слышал, что они говорят, будто Божественная воля всегда действует, декретируя все, происходящее в каждый момент времени. Мы не согласны с ними, но полагаем, что Божественная воля предопределила все при сотворении и что все вещи, во все времена, управляются законами природы и идут своим естественным ходом, в соответствии с чем Соломон сказал: «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Эккл. 1:9). Это побудило мудрецов сказать, что все чудеса, которые отклоняются от естественного течения событий, произошли ли они уже или, согласно обетованию, могут случиться в будущем, были предопределены Божественной волей в шесть дней творения, ибо природа была тогда так образована, что эти чудеса, которые должны были произойти, действительно осуществились впоследствии. Итак, когда такое событие происходит в назначенное ему время, оно может рассматриваться как нечто абсолютно новое, тогда как в действительности оно не было таковым...

Законоучители, да будет с ними мир, избегали ссылаться на Божественную волю в качестве действующей силы, определяющей особое событие в особое время. Поэтому, когда они говорили, что человек встает и садится в соответствии с волей Бога, они имели в виду, что, когда человек был впервые сотворен, его природа была установлена так, что вставать и садиться он мог по своей воле, но они не подразумевали, что Бог желает в любой определенный момент, чтобы человек вставал или не вставал, как Он определяет в любое данное время, чтобы некий камень упал или не упал на землю. Итог и сущность вопроса, следовательно, состоит в том, что ты должен верить, что точно так, как Бог желал, чтобы человек имел прямую осанку, был широкоплечим и имел пальцы, Он желал, чтобы человек передвигался или находился в состоянии покоя по собственной воле и чтобы его действия были такими, как диктует ему его свободная воля, без какого-либо внешнего влияния или сдерживания, каковое обстоятельство Бог ясно устанавливает в истинном Законе, который освещает эту проблему, когда он утверждает: «Вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Человек стал единственным существом в мире, обладающим свойством, которое не разделяет с ним ни одно другое существо. Что это за свойство? Это то, что сам по себе человек может различать между добром и злом и делать то, что ему угодно, без какого-либо стеснения. А раз это так, для него было бы возможно протянуть руку и взять от древа жизни, дабы вкусить его плод и благодаря этому жить вечно.

Так как существенная особенность характера человека состоит в том, что он должен по своей свободной воле действовать нравственно или безнравственно, поступая по своему выбору, — становится необходимым научить его путям праведности и заповедать ему и наставлять его, наказывать и награждать его по

заслугам. Человеку надлежит также приучать себя к совершенн-
ию добрых дел, пока он не обретет добродетели, соответ-
ствующие этим добрым делам; и, помимо того, воздерживаться
от дурных дел, дабы он мог искоренить пороки, которые при-
вились в нем. Пусть он не предполагает, что его особен-
ности достигли этого состояния, что они больше не подвержены
изменениям, ибо каждая из них может превращаться из добра в
зло и наоборот, и, кроме того, все в соответствии с его собствен-
ной свободной волей. Чтобы подтвердить это положение, мы
упомянули все эти факты о соблюдении и нарушении Закона...

Есть вещь, имеющая большое касательство к этой проб-
леме, вещь, о которой мы должны сказать несколько слов, дабы
рассмотреть всесторонне предмет этой главы. Хотя я вовсе не
намеревался говорить об этом, необходимость побуждает меня
сделать это. Это тема Божественного предвидения. С помощью
доказательства, основанного на этом понятии, нашим взглядом
противятся те, кто полагает, что человеку предопределено Бо-
гом совершать добро или зло и что человек не имеет выбора
в отношении своего поведения, так как его желание зависит от
Бога. Свое убеждение они основывают на следующем утвержде-
нии: «Ведомо или неведомо Богу, что некий индивидуум бу-
дет хорошим или плохим? Если ты говоришь, что Он ведает, то
из этого необходимо следует, что человек вынужден действо-
вать так, как Бог знал заранее, что он будет действовать, в про-
тивном случае, знание Бога было бы несовершенным. Если ты
говоришь, что Бог не ведает заранее, то в результате этого мо-
гут возникнуть большие нелепости и разрушительные религиоз-
ные учения. Поэтому послушай, что я скажу тебе, поразмысли
хорошо над этим, ибо это, несомненно, истина».

Наука о Божественном, то есть метафизика, имеет своей
аксиомой, что Бог (да будет Он благословен!) не знает через
посредство знания и не живет через посредство жизни. Поэ-
тому Он и Его знание не могут считаться двумя различными
понятиями в том смысле, в каком это предположение верно
относительно человека, ибо человек отделен от знания и знание
от человека, вследствие чего это две разные вещи. Если бы Бог
знал посредством знания, Он необходимо был бы множеством
и первосушность была бы составной, то есть состояла бы из
Самого Бога, знания, посредством которого Он знает, жизни,
посредством которой Он живет, могущества, посредством ко-
торого Он имеет силу, и то же самое относится ко всем Его ат-
рибутам. Я должен только упомянуть одно доказательство,
простое и легко понимаемое всеми, хотя имеются веские и убе-
дительные доводы и доказательства, которые разрешают это
затруднение. Очевидно, что Бог тождествен своим атрибутам, и
Его атрибуты Ему, так что можно сказать, что Он есть ведение,
ведающий и ведомое и что Он есть жизнь, живущее и источник
Своей собственной жизни, что верно и в отношении других Его
атрибутов. Эту концепцию очень трудно постигнуть и ты не дол-
жен был надеяться понять ее до конца по двум или трем стро-
кам в этом трактате. Тебе может быть передано лишь слабое
представление об этом...

Человеческий разум не может полностью постигнуть Бога и

Его истинной сущности из-за совершенства Божественной сущности и несовершенства нашего собственного разума и потому, что Его сущность не обусловлена причинами, через которые она может познаваться. Кроме того, неспособность нашего разума постигнуть Его можно сравнить с неспособностью наших глаз пристально смотреть на солнце, не из-за слабости солнечного света, но потому, что этот свет сильнее того, кто пытается всмотреться в него. Многие, что было сказано по этому поводу — не требующая доказательства истина.

На основании утверждаемого нами доказывалось и то, что мы не можем постигнуть ведения Бога, что наши умы не могут понять всего того, ибо Он есть Его ведение и Его ведение есть Он. Это особенно поразительная идея, но те, кто возбуждают вопрос о ведении Богом будущего не могут понять ее до своего смертного часа. Они, правда, осознают, что Божественная сущность, какова она есть, непостижима, однако они стремятся постигнуть Божественное ведение, дабы познать Его, но это, разумеется, невозможно. Если бы человеческий разум мог постичь Его ведение, он был бы способен и определить Его сущность, так как Бог и Его сущность составляют единство, а совершенное знание Бога есть постижение Его, каков Он есть в своей сущности, которая состоит из Его ведения, Его воли, Его бытия и всех других Его величественных атрибутов. Таким образом, мы показали, как совершенно тщетно притязание определить Его ведение. Все, что мы можем постигнуть, это — что мы знаем, что Бог существует и что нам известно, что Он ведает. Если нас спрашивают: «Какова природа Божественного ведения?» — мы отвечаем, что нам это известно не больше, чем мы знаем природу Его истинного существа. Писание, помимо того, осуждает того, кто пытается постигнуть истину Божественного бытия, как мы видим из слов: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» (Иов 11:7).

Помысли же обо всем сказанном нами, что человек властен над своими поступками, что он сам решает, совершая добро или зло, не будучи подвластен ни в первом, ни во втором случае судьбе, и что в результате этого Божественного повеления уместны учение, подготовка, награда и наказание. В этом нет совершенно никакого сомнения. Что касается, однако, Божественного ведения того, как Он ведает все, это, как мы объяснили, вне пределов досягаемости человеческого знания...

КОНТРАБАНДА

В 1329 году Хиджры, или в 1910 году по христианскому летоисчислению умер представитель кунградской династии Мухаммед-Рахим-хан — правитель Хорезма. И его наследник Асфандиярхан, возвратившийся после посещения Санкт-Петербурга, где ему российским императором был пожалован генеральский чин, приступил к укреплению собственной ханской власти.

За время болезни Мухаммед-Рахим-хана сильнейшее влияние на государственные дела ханства стали оказывать его визири, особенно главный из них — Ислам Ходжа, сторонник реформ. Но молодой хан стремился освободиться от тяготившей опеки ближайших сподвижников отца и мечтал сформировать правительственный кабинет из своих приверженцев. Обязанные возвышением только ему лично, они не стали бы мешать в проведении его собственной политики.

Кроме того, Ислам Ходжа почти все средства, поступавшие от населения страны, тратил на ее благоустройство, чем — естественно — сильно подрезал бюджет молодого расточительного хана, стремившегося к удовольствиям за счет государственной казны.

Ислам Ходжа открыл несколько новометодных школ, начал подготовительную работу по постройке почты, больницы, мостов и — тоже нововведение — выстроил тюрьму в европейском стиле.

Реформируя государство, главный vizирь пытался удержать Асфандияра от безудержного мотовства, способного погубить страну. Но хан почти непрерывно, — даже будучи в Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках, — устраивал дорогостоящие пиршества. Кавказские красавицы пригоршнями собирали разбрасываемые им бриллианты...

Присутствие Ислам Ходжи заметно стесняло действия хана, побуждало к неудовольствию. А тут и вообще Ислам Ходжа дошел до неслыханной дерзости: когда Асфандиярхан при сви-

дании с царевичем хотел пожертвовать последнему 100.000 рублей, главный визирь объявил, что эти деньги будут израсходованы на постройку в Хиве больницы имени престолонаследника.

Когда же в неурожайный год главный визирь сумел привезти хлеб из России для раздачи населению, каждый житель Хорезма в молитвах своих благодарно повторял его имя. Популярность Ислам Ходжи возросла невероятно.

И тогда Асфандиярхан, с искусством, достойным лучшего применения, продемонстрировал, что он не зря под руководством опытных наставников изучал книгу о правлении, написанную визирем XI столетия Низамом ал-Мульком, знаменитую «Сиасет-наме».

Тем Низамом аль-Мульком, который задолго до итальянца Макиавелли учил государей побеждать своих политических противников всеми доступными способами.

Для устранения Ислам Ходжи от власти хан решил ударить по нему с двух сторон: и разорив, и поссорив с сановниками.

Для начала Асфандиярхан объявил о своем высоком желании жениться на дочери Ислам Ходжи.

Внешне это была большая честь. И Ислам Ходже пришлось весьма крепко потратиться на достойное хана приданое для дочери, а там и на саму свадьбу. Далее, именно на него возложили торжественное и дорогостоящее проведение обряда обрезания ханского наследника, одновременно поручив постройку во дворце «Нуруллабай» здания в европейском стиле.

Ислам Ходжа справился со всеми заданиями; пожалуй, — лишь слегка пошатнувшись... Главное же, государственные дела им отставлены в сторону все еще не были; закончив постройку больницы и почты, он тут же приступил к постройке железнодорожных мостов...

Подошло время приступать ко второй части в сложной интриге.

Пользуясь отсутствием Ислама Ходжи, Асфандиярхан спровоцировал высших сановников государства Ибрагима Ходжу, Сахиб Назара Михтара, Хусана Мухаммеда Диванбеги, Шейха Назара Ясаулбаши, Мухаммеда Салих-Аталыка, Сардарбая и других написать коллективную жалобу на главного визиря с просьбой о его смещении.

Потом сам же принял это заявление.

После возвращения Ислам Ходжи с Кавказа, где тот лечился на минеральных водах, ему была показана коллективная жалоба сановников. Раскол состоялся. Сановники, служившие еще отцу хана, попали в оппозицию. И хан — не промедлив, издал распоряжение... об аресте почти всех подписавших письмо.

¹ Палваннияз Юсупов. «Воспоминания». Перевод Б. Чепурнова. Рукописный фонд библиотеки Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан.

Всем стало ясно: не все спокойно в Хорезме, не все... Сначала заволновались в нем, потом притихли. Что-то должно было произойти. Пускай эти люди арестованы ханом, но... первопричиной всех неприятностей явно был слишком вознесшийся, слишком все делающий по-своему Ислам Ходжа...

Ожидаемое всеми — произошло.

Заговорщики подстерегли Ислам Ходжу, возвращавшегося из ханского дворца «Нуруллабай» домой и — возле сада Рафия, находящегося в местности Углян-Адиз-Бобо, — остановив коляску, выволокли визиря и задушили его.

Убийцы скрылись. Поговаривали, что их нанял сам хан. Слишком большие деньги были заплачены...

Конечно, выразив соболезнование в связи со смертью Ислам Ходжи, хан распорядился устроить пышные похороны. А его гибель обернул предлогом к сведению личных счетов с другими своими врагами. Сделать это стало теперь легко; на них была переложена вся вина...

Особая следственная комиссия из Санкт-Петербурга во главе с генералом Цейлем, приехавшая для расследования причин гибели Ислам Ходжи, была подкуплена и — после торжественного открытия больницы — возвратилась в северную столицу Российской империи...

Реформам в Хорезме пришел конец.

Обиженные ханом сановники, среди которых был и Хусаин Мухаммед Диванбеги, затаились. Их теперь тайно объединило общее самоназвание — «младохивинцы».

11

Таким образом, хивинский хан первым начал торить дорогу будущему военному перевороту в Хорезме: разрушив начавшееся реформирование государства и толкнув высших сановников в оппозицию к себе.

Это был шаг к гибели государства. Увы, за ним следуют и другие.

Победив своих соперников, Асфандиярхан — никем и ничем не сдерживаемый — предался беспечной и развратной жизни. Во всех городах начали выскивать для его гарема самых красивых девушек и женщин. Правоверные мусульмане, как узбеки, так и туркмены, возмущенные ханским произволом, после безуспешных попыток образумить Асфандиярхана, в поисках защиты обратились к влиятельному туркменскому вождю Джунайдхану. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, обеспечивающей ему ореол борца за справедливость, Джунайдхан вошел в столицу Хорезма город Хиву.

Хана, захваченного во дворце «Нуруллабай», Джунайд помиловал, взыскав с него 36 000 рублей контрибуции. Но его сановников Мухаммада-Вафа Махтара, Абдулладжана и Кадырбергена-Махрама, захватив с собой, расстрелял возле городских ворот Анкарик.

Узбекско-туркменские отношения издавна являлись стержневым вопросом внутренней жизни Хорезмского ханства. Узбеки, осевшие и перешедшие к земледелию несколько веков назад, заняли места, наиболее удобные для орошения. Туркмены, непрерывно — с переменным успехом — выясняющие отношения с узбеками, к земледелию стали переходить лишь к концу XIX века. Процесс оседания переживался туркменами чрезвычайно мучительно, поскольку свободных хороших земель не оставалось. Очистку и восстановление ирригационной сети — разрушенной временем и раздорами — правительство Хорезма возложило на узбеков, но за это собиралась особая подать с туркмен, из которой — впрочем — работающим ничего не перепало.

Существовавшие проблемы как бы оправдывали необходимость пребывания русских воинских частей в ханском государстве.

Эти перманентные сложности и выдвинули одного из родовых туркменских вождей племени иомудов Мухаммед Курбан Сардар Джунаидхана, человека, вокруг которого, несмотря на внутренние распри, произошло в значительной степени военное объединение туркменских народов.

Военная экспедиция генерала Галкина, осуществляя «операцию возмездия», освободила в начале 1916 года столицу ханства.

Джунаидхан отступил в пески, узбекскому населению была возвращена ранее взятая огромная военная контрибуция и просто награбленные туркменскими нукерами добро и скот.

Однако и после возвращения Хивы правящая узбекская династия не почувствовала себя более спокойной. Туркменскую армию от нового вторжения удерживало только русское военное присутствие.

В истории Хорезмского государства, — как впрочем и в мировой истории, — были поучительные примеры того, как опасно приглашать соседние воинственные народы к решению внутренних проблем. Они обычно охотно соглашались участвовать в этом, но и компенсация за помощь была велика: очень часто — потеря независимости. Но ни младохивинцы, ни даже один из их лидеров — Палваннияз Юсупов, глубоко знавший историю Хорезма, — и не вспомнили об этих поучительных уроках истории, когда вольно или невольно провоцировали внешние силы — в данном случае Джунаидхана — на борьбу с собственным национальным правительством.

Сделан был второй шаг... Шаг к гибели государства. Но в нем уже не хан был повинен. Точнее, не только он, но и младохивинцы.

В то время кружок младохивинцев, группировавшийся вокруг Палваннияза Юсупова, — выписывавшего единственный на весь Хорезм комплект из нескольких газет и журналов, в том числе газету «Тарджиман», — обсуждал пути освобождения страны от тирании Асфандиярхана. В число единомышленников входили Хусаин Мухаммед Диванбеги, его брат Шайх Назарбай, Аман Кельды, Сардарбай, Атаджан-Махрам, Худайберган-диван, Мухаммедярбай, Назар Шалкаров, Бабаджан Бай, Хаван Али-Акбаров и другие.

Развитие революционных событий в России и последовавшее отречение от престола российского императора застали хивинского хана в России, откуда он поспешил вернуться в Хорезм.

Палваннияз Юсупов, Хусаин Мухаммед Диванбеги и другие недовольные и обиженные ханом сановники решили в день, когда русские войска, дислоцированные в столице, начнут присягать Временному правительству, организовать вооруженную манифестацию и свергнуть хана. Между младохивинцами и российскими войсками при посредничестве солдат Шакира Тинева и Абдушукура Латыпова установилась хорошая связь.

Все это совершалось в столь глубокой тайне, что большинство участников незадолго до заговора, — как свидетельствует Палваннияз Юсупов, — в течение трех суток еще верноподданчески ждало пароход хана на берегу Амударьи. Впрочем, — радостно обсуждая и осмысливая суть событий в России.

Накануне, в магазине Худайбергена Диванова, находящемся у ворот Куша, и в доме Хусаин Мухаммед Диванбеги был выбран план действий. Подготовка вооруженной манифестации была продумана умно, тонко, толково и — вероломно; ее построили на обмане всех участников, в том числе солдат, не говоря уже о хане. Построили на самой беззастенчивой «контрабанде революции» в Хорезмское государство. Младохивинцы готовили переворот, целиком исходя из внешнего фактора. Опираясь на поддержку извне, они — одновременно — обманывали российских представителей, убедив их в том, что и в ханстве назрели объективные предпосылки.

О таком положении нимало не стесняясь повествует сам Палваннияз Юсупов: «...мы пришли к Хусаину Мухаммеду Диванбеги. Немедленно были посланы люди с поручением сделать объявление о предстоящей манифестации, на которую приглашались все баи, муллы, дехкане и трудящиеся. Местом сбора объявили дом диванбеги. Населению же сообщили, что демонстрация будет направлена к солдатам для поздравления; предлагалось явиться всем поголовно.

Через полчаса люди стали стекаться к месту сбора. Пришедшим вручались красные ленты. Все терялись в догадках и не понимали значения красных лент, прикалываемых к их груди. На вопрос: «Что это за знаки и что они означают?» — мы отвечали,

что эти ленты прикалываются в честь праздника и что без этой ленты никого на место праздника не пропустят». Поднялся невероятный шум. Все стали кричать: «Приколите мне! Приколите мне!»

Приколкой ленты занималось несколько человек.

В течение 3—4 часов сошлось около тысячи желающих.

Я внес предложение избрать для поздравления делегацию. Оно было принято единогласно. Я выставил список — из 16 человек, — который и был утвержден.

Среди избранных делегатов многие абсолютно не имели никакого понятия о свободе. В числе их были даже друзья и близко стоящие к хану люди. Эти лица в список делегатов были включены для того, чтобы скрыть от народа нашу цель, сводящуюся к свержению хана. В противном случае, запуганный и забитый произволом, народ не решился бы на такой резкий шаг¹.

В то же время Асфандиярхан направил вместе со своим представителем — известным хорезмским купцом Абдурахманбаем Баккаловым — свои поздравления, подарки и деньги русским содатам по случаю принятия присяги. Но младохивинец Назар Шалкаров, пригрозив Баккалову и объявив о неминуемом аресте хана, заставил его присоединиться к прежде организованной делегации.

Теперь нетрудно себе представить, почему начальник гарнизона, офицеры и солдаты, — находящиеся под внешним впечатлением от огромного количества людей, украшенных красными бантами, и столь представительной делегации из именитых людей ханства, — со вниманием отнеслись к младохивинцам, срежиссировавшим достаточно грандиозное представление. Тем не менее — все выслушав — командование войсками сочло несвоевременной просьбу «помочь свергнуть тирана и деспота хана и провозгласить свободу».

Поддержка была обещана лишь при условии провозглашения конституционной монархии.

Младохивинцам пришлось пойти на это, иначе возникла ситуация, при которой они были бы просто-напросто казнены.

V

5 апреля 1917 г. лидеры младохивинцев, пользуясь поддержкой российских военных, от имени подданных вручили хану проект манифеста о реформе с просьбой дать свободу согласно шариату.

И Асфандиярхан, напуганный свержением царизма, подписал манифест. Отныне в Хорезме устанавливалась конституционная монархия. Власть хана ограничивалась Меджлисом — парламентом и Советом назиров (министров). Устанавливался контроль над приходом и расходом казны, назначалась заработ-

¹ Палваннияз Юсупов. «Воспоминания».

ная плата всем чиновникам и государственным служащим. Предусматривалось и введение местного самоуправления через общественные комитеты, реформа школьного образования и т. д. В Меджлис и Совет назиров вошли представители узбекского населения и туркменских родоплеменных вождей¹.

Официальная советская историография совершенно неверно и упрощенно трактовала события, происшедшие в апреле 1917 года в Хорезме: «Получив власть, они (младохивинцы — В. Г.) считали, что революция завершена». Между тем, все было далеко не так. Лидеры младохивинцев, в том числе Палваннияз Юсупов, открыто выступали за республиканский государственный строй.

В этом смысле интересен характерный богословский диспут, происшедший в то время между признанным лидером младохивинцев Палванниязом Юсуповым и царским генералом — мусульманином по вероисповеданию — Мирбадальевым. Диалог настолько интересен и характерен, что приведем его полностью: «...однажды генерал Мирбадальев по науськиванию муллы из сторонников хана выступил с вопросом о том, что можно ли согласно шариату жить без имама (т. е. халифа). Один мулла из числа представителей ответил, что жить без имама по шариату нельзя. Генерал очень обрадовался и захохотал. Я немедленно взял слово и, выступив, сказал: «Господин генерал! Если имеются подобные вопросы, требующие исторических справок и данных, то задавайте такие вопросы лицам, имеющим знакомство с историей. Муллы наши знают лишь канонику, и в области светской науки они профаны. Господин генерал! Религия наша основана на республиканском принципе. Фактом подтверждения этого может служить то обстоятельство, что пророк Мухаммад перед своей смертью завещал своим последователям установить выборность халифа. Халифом после смерти Мухаммада был избран хазрат абу-Бекр».

Генерал мне возразил, что абу-Бекр был провозглашен халифом лишь благодаря отсутствию наследника Мухаммада. Я возразил против этого и сказал: «Это неверно! В данном случае пусть даже будет по-вашему. Но ведь и абу-Бекр — тоже умирая — выразил свою волю: установить принцип выборности халифа. А ведь у хазрата абу-Бекра сыновей было много, каждый из них был начальником какого-либо города и являлся должностным лицом. Также и у хазрата Омара были сыновья. Между тем и он, умирая, завещал придерживаться принципа выборности халифа. В дальнейшем халифами выбирались Осман и затем Али. Лишь пятый по списку халиф — хазрат Наовия — нарушил этот принцип и насильно установил наследственность халифов. Это, конечно, насилие. Наовия основал династию и

¹ См. например: Непесов Г. «Из истории Хорезмской революции». Ташкент, 1962.

этим нарушил волю пророка. Но еще раз повторяю, что религия наша основана на республиканском принципе»¹.

Хусаинбек Диванбеги, избранный премьер-министром, давно стремившийся к ханской власти, заинтересованный раньше в устранении своего потенциального соперника Ислам Ходжи, теперь на пути к цели имел самого хана. Но — до поры до времени — он был вместе с младохивинцами.

Вскоре на одном из заседаний парламента было принято решение о посылке делегации в Ташкент с просьбой о возвращении оружия, ранее изъятого у населения — во время восстания 1916 года — генералом Галкиным. Формально указывалось, что оружие необходимо для защиты от грозных набегов туркменского предводителя Шами Кале. Узнав об этом, Асфандиярхан понял, что медлить нельзя, ибо, вооружившись, младохивинцы станут смертельно опасными... Пользуясь отсутствием в ханстве их наиболее авторитетных руководителей, он вынудил Хусаинбека Диванбеги подать в отставку и вывел из парламента делегатов-революционеров.

9 июля 1917 года 17 активных руководителей младохивинцев были арестованы. Ханская власть была полностью восстановлена. Временное правительство приняло меры по укреплению власти хана. В Хиву были направлены дополнительные казачьи части под командой полковника Зайцева, имеющего права комиссара и командующего войсками в хивинском ханстве и Амударьинском отделе.

VI

Октябрьский переворот в России и захват власти большевиками способствовали еще большей смуте, брожению и межнациональной борьбе в Хорезмском ханстве. Полковник Зайцев в своем докладе генералу Дутову в 1919 году указывал: «После захвата власти большевиками в Туркестане под влиянием их агитации началось сильное брожение среди солдат хивинского гарнизона, явно враждебных казакам и офицерам. Предполагалось повторение той катастрофы, которая произошла в Ташкенте»¹.

12 мая 1918 года в Ташкенте был создан Центральный революционный комитет младохивинцев в составе Палваннияза Юсупова (председатель), Бабаджана Якубова (заместитель председателя), Атаджана Сапаева (секретарь), Мухиддина Умарова (казначей), Назара Шалкарова и других.

Первое время численность младохивинцев была невелика, но с момента возникновения Петроалександровского² отде-

¹ Центральный государственный архив Российской Федерации, ф. 147, оп. 33, д. 3.

² Петроалександровск — ныне город Турткуль.

ления — конец сентября 1918 года — их число превысило 700 человек¹, в основном — представителей средней и мелкой торговой буржуазии, мулл и служащих.

В начале 1918 года до Хорезма докатились сведения о демобилизации Российской армии. В отряде полковника Зайцева началось брожение: казаки требовали отправки домой. Понимая опасность положения, когда он один на один останется с собственными сановниками во главе с Хусаинбеком Диванбеги, мечтавшими о дворцовом перевороте, и — особенно — с туркменами, возглавляемыми Джунаидханом, Асфандиярхан пытался удерживать казаков. Но тщетно... 6 января 1918 года казачьи части оставили столицу ханства и ушли в направлении Чарджуя². С ними ушли некоторые узбекские интеллигенты и купцы. Эти — потому что тысячи туркменских всадников во главе с Джунаидханом недалеко от стен Хивы уже ждали ухода русских, готовясь вступить в город.

Мирное дехканское население и хан, не имевший армии, не смогли оказать никакого сопротивления хорошо вооруженным войнам туркменам. И Хива — столица ханства — в январе 1918 года пала.

Сначала, заняв Хиву, Джунаидхан не тронул хана и весь его аппарат чиновников, он лишь поставил над ними своих неграмотных соглядатаев. Но это его устраивало недолго — 30 сентября 1918 года Асфандиярхан, как «пособник русских и угнетатель туркмен», был убит Эшиханом, сыном Джунаида.

Ханом был провозглашен брат Асфандиярхана — Сейид Абдулла.

Повторилась история обычных завоеваний воинственными кочевниками мирных земледельцев.

В Хорезмском ханстве после установления диктатуры Джунаида свирепствовал жесточайший террор, резко ухудшилось экономическое положение населения. Оно облагалось новыми тяжелыми налогами, в частности поземельным («ер салгыт») и налогом с урожая («хасыл салгыт»). При их сборе царил полный произвол. Поземельный налог, например, взимался с дехкан независимо от того, была ли у них земля или нет, орошалась она или нет³.

«...Джунаид и его разбойники угоняют скот, поджигают дома, ежедневно расстреливают хивинцев, женщин забирают в плен и вместе с хивинским ханом налагают на города контрибуцию... Бывшая богатая Хива теперь разорена, города превращены в развалины, а в кишлаках никого не осталось, все

¹ Российский Государственный Военный Архив, ф. 267, оп. 1, д. 6.

² Архив Аппарата Президента Республики Узбекистана, ф. 617, оп. 2, д. 917.

³ Мухаммедбердыев К. Б. «История Хорезмской революции». Ташкент: «Фан», 1986.

разбежались. Бедные хивинцы погибают»¹, — так писала об этом «Наша газета».

«Голод в Хиве принял всенародный характер, — сообщила газета «Улуг Туркестан». — Каждый день поступают вести о том, что в кишлаках погибают от голода десятки людей. Этим несчастным людям никто — ни органы власти, ни разные общества — не оказывают помощи. Положение с каждым днем становится все труднее и тяжелее»².

В результате бесчинств и произвола людей Джунаида хозяйство страны пришло в глубокий упадок. Продукция сельского хозяйства в 1919 году по сравнению с 1917 годом сократилась на 55 процентов, поголовье крупного рогатого скота — на 53 процента, рабочего скота — на 41 процент.

25 процентов населения Хорезма покинуло пределы ханства³. Засорились оросительные каналы, выходили из строя ирригационные сооружения, не хватало воды, резко сократились посевные площади, а такая ценная культура, как хлопок, почти не высевалась.

VII

Ненависть к Джунаидхану была всеобщей. Но и в среде самих туркмен начала группироваться оппозиция; сначала — вокруг Гочмамедхана, позднее вокруг Гуламалихана. Платформой для нее послужила, пусть и довольно расплывчатая, программа младохивинцев с ее требованиями свержения ханской власти, предоставления политических свобод, дававших туркменам фактическую автономию с ее обещаниями — урегулировать туркмено-узбекские отношения путем справедливого отпуска воды, организации выборной власти.

Воспользовавшись тем, что в конце октября 1919 года в северных районах ханства вспыхнуло дехканское восстание против Джунаидхана, младохивинцы обратились в Турккомиссию ВЦИК и Реввоенсовет республики с просьбой о вооруженной поддержке. В качестве чрезвычайного уполномоченного Турккомиссии и Реввоенсовета в Петроалександровск был направлен Г. Б. Скалов с предоставлением ему права решить вопрос о времени оказания поддержки вооруженной силой «восставшим массам Хивы против деспотического хорезмского правительства». Общее политическое руководство действиями войск Красной Армии в случае перехода ими хивинской границы также возлагалось на Г. Б. Скалова.

22 декабря 1919 года части Красной Армии вместе с хорезмским добровольческим отрядом, насчитывавшим в своих рядах около 600 человек, перешли границу Хорезмского хан-

¹ «Наша газета», 1918, 7 сентября.

² «Улуг Туркестан», 1918, 2 марта.

³ Архив внешней политики России, ф. 0208, оп. 2, д. 72.

ства и вступили в решительный бой с армией Джунаида¹.

Быстрое продвижение Красной Армии было обусловлено поддержкой ее со стороны коренного населения ханства, надеявшегося на освобождение от туркменских захватчиков.

Но и цели большевиков были конкретны... Предупреждая младохивинцев о том, что «революция должна начаться после ликвидации Джунаида...»², они были убеждены, что ликвидация Джунаидхана предрешала и успех их собственной революции, так как «борьба против первого (Джунаидхана — В. Г.), была фактически и борьбой против второго (Сейида Абдуллы — В. Г.)»³.

Разыгранная комбинация принесла успех.

1 февраля 1920 года объединенные воинские силы большевиков и младохивинцев без боя заняли столицу ханства. 2 февраля состоялся массовый митинг, после которого по требованию народа хивинский хан Сейид Абдулла отрекся от престола.

Однако не все туркестанские большевики сочли действия Г. Б. Скалова в Хорезме соответствующими ранее провозглашенной национальной политике самоопределения народов. С резкой критикой вмешательства во внутренние дела сопредельного государства выступил заведующий Отделом Внешних сношений Туркестанской комиссии ВЦИК и С.Н.РСФСР Г. И. Бройдо.

В своем письме Г. Б. Скалову, отправленном незамедлительно в Хиву, Г. И. Бройдо утверждал: «Эксперименты Колосова в Бухаре дают нам достаточные основания для предположения о том, что вторжение в Хиву работу нашу в этом направлении совершенно аннулирует. И эмиры, и народы вправе задать нам ехидный вопрос: «В чем выражается пункт о самоопределении наций РКП?», а английская дипломатия закрепит с помощью этих наших шагов свои позиции, может быть, последнее время немного колебавшиеся в Бухаре и Афганистане. Таким действием мы, безусловно, скомпрометируем младохивинцев, которые могут быть использованы для организации новых политических условий жизни в Хиве. Революционная партия, выезжающая на чужих штыках, обречена на гибель, а при условиях в Средней Азии — очень скоро. Впредь до получения ясной для нас информации мы поставлены перед фактом, что мы вынуждены заниматься политическими подлогами. Во всех ваших известиях о славных советских войсках, занявших тот или иной город, мы все эти победы записываем на счет младохивинцев, вытравливая из всех сообщений участие русских войск. Дальше мы поднимаем на ходули живой труп, местный младо-

¹ Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, ф. 122, оп. 1, д. 14, л. 27.

² Там же, л. 26.

³ Скалов Г. «Хивинская революция 1920 г.» («Новый Восток». 1923 г., № 3).

хивинский комитет, который выступает с воззванием к правительству советской республики и к русским рабочим и крестьянам о помощи в борьбе с русским самодержавием.

Далее, мы посылаем вам 15 коммунистов мусульман, желающих стать инструкторами хивинской революции. Необходимо всеми силами стремиться как можно скорее поставить дело так, чтобы инициатива в движении хотя бы формально была в руках местных представителей, помочь им как можно скорее организовать собственные военные силы и предотвратить учиненное русоплетство в местном революционном движении, не командуя и не предписывая им развивать «свою революцию по нормам российской революции...»¹

В своем особом мнении на заседании Турккомиссии 10 февраля 1920 года Г. И. Бройдо говорил: «...при нашей дезорганизации, когда каждый член комиссии действует самостоятельно, Скалову, очевидно, кем-то даны инструкции... поступать так. (Мандат был выдан Скалову Реввоенсоветом Туркфронта, подтвержден подписями Ш. Элиавы и В. Куйбышева — В. Г.). Я дал ему указания прямо противоположного характера, предупредив его о всех тех осложнениях, которые могут последовать от вмешательства наших военных отрядов...»

Мы поставлены в нелепое положение и выйти из него очень трудно, т.к. восстановление «статус кво» еще более все осложнит... Мы оттолкнем от себя всех. Я полагаю поэтому, что необходимо:

1) поднять на ноги политического рахитичного младенца — младохивинскую партию.

2) через мусульман Туркестана дать ей возможность немедленно организовать при нашей помощи хивинскую армию, дающую возможность как можно скорее убрать наши части.

3) поспешить с организацией Туркмени, что должно уврачевать раны, нанесенные хивинским туркменам.

4) тогда пребывание наших частей в Хиве превратится в соглашение с хивинским правительством... необходимое... для ликвидации русско-белогвардейских отрядов в Ходжейлях, Чимбае и неразборчиво — В. Г.)

5) отстраниться русским работникам и дать место туркменским (видимо, туркестанским — В. Г.) мусульманам и при их посредстве развить революционное движение, подводя его быстрыми шагами к свержению хана и созыву совета трудовых масс.

6) купить молчание и устранение от дел духовенства и чиновничества.

7) внешней Турккомиссии нужно объявить о том, что отряды заняли Хиву вопреки распоряжениям Турккомиссии и Реввоенсовета, что назначен чрезвычайный уполномоченный для устранения нарушений, допущенных нашими частями»².

¹ Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, ф. 2, оп. 1, д. 14345, л. 31 (об).

² Там же, л. 32 (об).

О том, что в Хиве не было реальной революционной партии, способной самостоятельно возглавить революционный переворот, видно и из письма Г. Б. Скалова от 17 января 1920 года из Петроалександровска в адрес председателя Турккомиссии Ш. Элиавы, в котором говорится: «Силы младохивинцев вздуты больше мыльного пузыря, влияние же их в Хиве почти равно нулю, работы они не ведут никакой. Персонально же работники здесь настолько слабы, что предлагают нам, русским (не мусульманам — что население помнит всегда), по вступлении в Хиву уничтожить мулл и ишанов. За ними приходится смотреть все время, как бы они не наделали каких-либо глупостей». То же самое вынужден признать он в конце своего другого письма — от 16 марта 1920 г., направленного в Отдел Внешних сношений Турккомиссии, — тем самым перечеркнув почти безукоризненно выстроенную перед этим аргументацию в защиту своей концепции развития хивинской революции. Он честно информирует: «Никакого общественного движения незаметно. Сменились одни верхи, но в социальном отношении в существенном пока [преобладании] остаются те же; может быть, вновь приехавшим младохивинцам удастся что-либо сделать... До сих пор, главным образом, отсутствие каких бы то ни было работников не позволяло вести агитацию... пока что страна еще спит. (Заведующим агитотделом при Временном правительстве назначен приехавший ко мне дипломатический курьер Отдела Внешних сношений младобухарец г. Камиллов). О всем положении Хивы я собирался сделать Турккомиссии личный доклад, для чего 12 марта предполагал выехать в Ташкент, но известие о предстоящем приезде Бройдо удержало меня здесь».

9 марта газета «Известия ТуркЦИКа» опубликовала хроникальную заметку Туркроста о том, что принимая во внимание сложность политических событий, происходящих в Хиве, и возможность неправильных действий со стороны органа Советской власти в Амударьинском отделе, могущих произойти вследствие оторванности от руководящих органов власти, и во избежание нарушения принципов РСФСР по отношению к слабым государствам, бывшим в полузависимом состоянии, комиссия ВЦИК постановила назначить тов. Г. И. Бройдо чрезвычайным уполномоченным в Хиве и Амударьинском отделе Туркестанской АССР для высшего руководства органами Советской власти и полномочного представительства РСФСР в Хиве.

29 марта 1920 года миссия Г. И. Бройдо — около 150 человек — прибыла в Петроалександровск. В ее состав вошли лица, представляющие: военный трибунал, отдел прокуратуры, группу особого отдела. Поддерживали их: военный советник, рота охраны и несколько командиров, только что окончивших Ташкентское военное училище.

¹ Архив Аппарата Президента Республики Узбекистан, ф. 617, оп. 2, д. 919.

² Там же.

Изучая обстановку, члены миссии вскрыли очень серьезные злоупотребления. «Такого ужаса, какой нами здесь сразу обнаружен,— нигде не приходилось видеть,— пишет в Ташкент Реввоенсовету (копия Турккомиссии) председатель Ревтрибунала Туркфронта И. Р. Фонштейн,— открытый организованный военный грабеж, во главе коего в качестве организатора стоит штаб командующих людей... распределяющий награбленное с оставлением себе львиной доли; увод женщин, содержание их, как пленниц, рабынь, продажа с аукционного торга на базарной площади Петроалександровска и Хивы; разгром хивинских дворцов; расстрел красноармейцами первого встречного, как предосылка ограбления имущества.

Скалов стоит во главе и потому по меньшей мере виновен в преступном попустительстве, а с нашим приездом — также и в активном противодействии Трибуналу в обнаружении преступников¹.

Член ВЦИК Шакиров в телеграмме в Ташкент 4 апреля 1920 года сообщает, что Временное правительство, организованное Скаловым, держалось только тем, что исполняло роль военного приказчика местных грабительских частей, которые открыто оголяли население и немедленно же делили добычу между собой. Отдельным красноармейцам давали записки: «таким-то... разрешается расстрелять таких-то». Сам Скалов расстрелял военного министра Хивы Сардарбая.

В докладе Турккомиссии Скалов спокойно заявил: «Я извинился перед ханом, что военный министр мною расстрелян. Хан сказал, что очень хорошо, и что вообще у всей аристократии слишком повыветривались головы... Не мешает их немного одернуть...»

Полемизируя с Г. Б. Скаловым и с М. В. Фрунзе (ставшим впоследствии близким другом семьи Г. И. Бройдо) по проблемам, связанным с политикой партии в Хиве и Бухаре, последний считал, что все это необходимо для выводов по отношению к другим сопредельным странам. «Здесь, может быть, нет индивидуальной вины Скалова,— говорил он.— Здесь «скаловщина», «колесовщина» — результат полного неверия в творческие силы трудящихся других стран».

С этих выводов, собственно, у него и начались особые разногласия со многими товарищами по Туркестану, с руководителями Турккомиссии.

В Турккомиссии по-иному понимали особенности «политического момента» и — вдогонку комиссии — было отправлено письмо, отзывающее Г. И. Бройдо в Ташкент.

Права чрезвычайного уполномоченного по делам Хивы предлагалось вместе со всеми делами, полномочиями, кредитами и наличностью передать Г. Б. Скалову.

Тем не менее, Г. И. Бройдо успел кое-что сделать в Хиве.

За время его присутствия была оказана помощь хивинскому Временному правительству: открыто 8 школ первой ступени, учительские курсы, Политическая школа, Дворец просвещения,

¹ Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, ф. 2, оп. 1, д. 14345.

образцовый детский сад, кинематограф, типография, исторический музей. Основаны: газета, больница, родильный приют, убежище для стариков и трудовая колония для «бачей» (мальчиков, занимавшихся проституцией). Дома бачей Постановлением Временного правительства были закрыты. А начавшему свою работу Народному банку ссуда от имени РСФСР — в 40 миллионов. Техниками из состава комиссии был отремонтирован хивинский печатный станок, стали выпускаться деньги — собственная валюта. Начато строительство четырех мостов и рытье канала, проведена телеграфная линия Чарджуй — Хива. Вместе с миссией прибыли 18 инструкторов-мусульман для организации хивинской Красной Армии.

Разъяснения, данные Г. И. Бройдо хивинским коммунистам об интенсивной сущности Советской власти в России, его агитационные поездки по Хиве (из 21 округа он объездил 16) перед выборами на Курултай способствовали стабилизации и укреплению новых органов управления. При его деятельном участии состоялся Всетуркменский съезд, принявший резолюцию об организации единой — совместно с узбеками — Красной и Трудовой Армии: последняя, сразу же после образования, приступила к очистке магистральных каналов. Организовано 8 комиссариатов (назиратов). В Совет назиратов вошли 5 коммунистов, 1 младохивинец и 2 беспартийных. Власть на местах вместо старых губернаторов-беков стали осуществлять «малые советы» (ревкомы).

К числу прогрессивных мероприятий, проведенных в это же время, следует отнести вновь изданный избирательный закон, декрет о ростовщических сделках, о судебных пошлинах, о взяточничестве, о вакуфных землях, о верховном революционном суде, о национализации всех ханских имуществ. Действительным шагом вперед сделалась организация союза малоземельных крестьян, которым предполагалось вручить управление ирригационными магистралями с последующей реорганизацией округов в соответствии с площадью, орошаемой каналами.

На заседании Временного революционного правительства Хорезма, посвященного революционным преобразованиям в республике, состоявшемся в начале апреля 1920 г., И. Г. Бройдо говорил о том, что на РСФСР лежит обязанность оказывать помощь революционному Хорезму всеми имеющимися средствами. «Я везу вам не карательную экспедицию, — указывал он, — а учителей, инженеров, врачей, пособия, помощь...»

3 апреля в Хиве на торжественном открытии (в бывшем дворце Асфандиярхана) Дворца просвещения Бройдо сделал заявление, что Советское правительство ассигнует 5 миллиардов рублей на народное просвещение.

IX

16 апреля 1920 года Г. Б. Скалов попросил у Турккомиссии разрешение выехать для личного подробного доклада в Ташкент.

Тогда же, считая, что необходимо безотлагательно познать высшие органы партии и государства с его видением развития революционных событий в сопредельных государствах, Г. И. Бройдо стал готовиться к отъезду в центр. Предваря свой выезд из Хивы, он обратился с письмом на имя Ш. Эливы, в котором писал: «Я убедительно прошу не делать никаких выводов в смысле директив или назначений до моего приезда. Везу большой материал. Выезжаю сегодня и 28 буду в Чарджоу. Помимо того убедительная просьба подождать меня и не ехать без меня в Москву, дабы я мог скоро попасть в ЦК и участвовать в обсуждении вопросов, имеющих громадное принципиальное значение и раз навсегда долженствующих быть разрешенными ЦК».

В эти же дни едва удалось предотвратить расправу над ним, которую готовила местная партизанская вольница.

В Ташкенте и — вскоре — в Москве Г. И. Бройдо подробно изложил все сомнения и проблемы, возникшие в связи с образованием Хорезмской республики, он старался привлечь внимание ЦК к изучению уникального опыта революции в полувисимом феодальном государстве. Но к большинству советов из его докладных записок, меморандумов и выступлений тогда не прислушались...

До конца своего существования Хорезмская республика не смогла добиться определяющих результатов в решении стоящих перед ней проблем политического, экономического и культурного развития. Усугубились давние противоречия между отдельными районами. Не утихла гражданская война и оппозиционное движение. Выбор собственного пути последующего исторического развития стал невозможен. Военно-коммунистическая атака довершила процесс...

Х

«Революция не экспортируется»... Но искушение протянуть ее контрабандой всегда велико.

А победителей не судят. Во всяком случае — современники. Разве что только история?

Джеймс Боллард

РАССКАЗЫ

ЗОНА УЖАСА

Ларсен весь день прождал Бейлиса — психолога, жившего в соседнем коттедже. Бейлис, высокий, мрачноватый мужчина с бесцеремонными манерами, не отличался излишней пунктуальностью. Вчера вечером он небрежно махнул рукой, сжимавшей в пальцах шприц, и буркнул, что заглянет к Ларсену завтра. Конечно, заглянет, не сомневался Ларсен. Существует ведь профессиональный интерес, в конце концов. А потом, это одинаково важно для них обоих.

Уже три часа пополудни, а Бейлис еще не материализовался. Чем он там занимается? Сидит в своей стерильно белой гостиной и слушает квартеты Бартока? Ларсену тем временем оставалось, подобно тигру в клетке, мерить шагами квартиру или готовить на скорую руку завтрак — кофе с тремя таблетками амфитамина, вытащенными из тайничка, о котором Бейлис не знал, но начинал догадываться. Ей-богу, Ларсен здорово нуждался в подкреплении сил после такой мощной серии барбитуратовых уколов, которые Бейлис закатил ему после припадка. Потом попробовал было погрузиться в чтение «Анализа психотического времени», тяжеленного тома, полного графиков и таблиц, — он был вынужден читать его по настоянию Бейлиса, утверждавшего, что такое чтение необходимо для создания соответствующей установки при лечении, — но, убив два часа, не продвинулся дальше предисловия к третьему изданию.

Время от времени он подходил к окну и выглядывал наружу через пластиковые жалюзи. Позади соседнего коттеджа простиралась залитая солнцем пустыня, на фоне которой огненно-красный «понтак» Бейлиса пылал, как хвостовое оперение горящей птицы Феникс. Остальные коттеджи были пустыми. Стоявший вдали от людных мест комплекс использовался Электронной компанией как оздоровительный пункт для старшего административного персонала и отдельных

представителей «мозгового центра». Пустыня была выбрана из-за ее предполагаемой гипотенсивной ценности, равной нулевому психическому воздействию. Двух-трех дней бездумного чтения и созерцания неподвижного горизонта было достаточно, чтобы снизить нервное возбуждение и беспокойство до необходимого уровня.

Однако, размышляя Ларсен, он провел здесь уже пять дней, но, несмотря на это, находится на грани нервного срыва. Ему повезло, что здесь оказался Бейлис с его шприцем. Хотя единственное, что он сделал — это надавил большим пальцем на поршень шприца при уколе, швырнул на колени том «Психотического времени» и произнес многозначительную реплику, словно предназначенную кому-то другому.

Возможно, он бездействует в ожидании чего-то.

Ларсен едва поборол искушение позвонить Бейлису под каким-нибудь предлогом, но тут же услышал хлопанье двери снаружи и заметил высокую квадратную фигуру психолога, пересекавшего бетонированную площадку между коттеджами. Он шел, залитый солнечными лучами, склонив в задумчивости голову.

Ларсен впустил Бейлиса в прихожую и, немного суетясь, проводил его в гостиную.

— Куда вы, к чертям, запропали? — спросил он. — Ведь уже почти четыре часа!

Усевшись за небольшую конторку посередине гостиной, Бейлис критически огляделся по сторонам — тактический ход, раздражавший Ларсена и всегда заставлявший его врасплох, как бы он ни старался подготовиться к нему.

— У меня мало времени, — буркнул Бейлис. — Как мы сегодня чувствуем себя? — Он указал на стул, стоявший перед конторкой. — Садитесь и попробуйте расслабиться.

Ларсен нервно махнул рукой.

— Как я могу расслабиться, если слоняюсь без дела, дожидаясь, когда взорвется следующая бомба. — Он принялся анализировать свое психическое состояние за последние сутки, сдабривая рассказ щедрой порцией умозрительных догадок.

— Ночью мне было немного легче. Кажется, моя болезнь входит в новую зону, и психика начинает стабилизироваться. Теперь я не оглядываюсь поминутно по сторонам. Я оставляю двери открытыми и, прежде чем войти в комнату, стараюсь заранее представить себе ее размеры и интерьер для того, чтобы не приходить от них в ужас. А раньше я открывал дверь и нырял в комнату, как человек, решивший шагнуть в пустую шахту лифта.

Ларсен расхаживал взад-вперед по комнате, хрустя костяшками пальцев. Бейлис наблюдал за ним из-под прищипленных век.

— Я почти уверен, что у меня больше не будет приступов, — продолжал Ларсен. — Возможно, мне лучше вернуть-

ся на производство. В конце концов, что толку торчать здесь без дела? Я чувствую себя более или менее здоровым.

Бейлис кивнул:

— Почему же вы в таком случае нервничаете?

Ларсен в отчаянии стиснул кулаки. В висках тяжело застучала кровь.

— Ничуть не нервничаю. Ради бога, Бейлис, насколько я разбираюсь в передовых идеях психиатрии, пациент и врач разделяют тяжесть болезни на двоих, растворяются в личности друг друга и несут в равной степени ответственность за лечение, а вы увильваете, словно...

— Ошибаетесь, — решительно прервал его Бейлис. — Я полностью беру на себя ответственность за ваше лечение. Вот почему я хочу задержать вас здесь до тех пор, пока вы не придете к согласию с призраком.

Ларсен фыркнул:

— С призраком?! Вы заговорили совсем как герой из фильма ужасов. У меня была всего-навсего галлюцинация. И даже не уверен, что она мне привиделась на самом деле. — Он кивнул на окно. — Это могла быть всего лишь тень от двери раскрытого гаража.

— А как насчет точных деталей, описанных вами, — возразил Бейлис. — Цвет волос, усы, одежда и прочее?

— Знаете, подробности, виденные во сне, тоже бывают достоверными. — Ларсен убрал с дороги стул и перегнулся через стол. — И вот еще что: я чувствую, доктор, вы не вполне искренни со мной.

Их взгляды встретились. Некоторое время Бейлис изучал Ларсена, вглядываясь в его расширенные зрачки.

— Так что? — настаивал Ларсен. — Я прав?

Бейлис застегнул пиджак и обернулся уже от двери:

— Не хочу пугать вас, Ларсен. Проблема гораздо сложнее, чем вам представляется. Навещу вас завтра, а пока постарайтесь расслабиться. — Он кивнул и выскользнул за дверь прежде, чем Ларсен нашелся с ответом.

Подойдя к окну, Ларсен наблюдал сквозь жалюзи, как психолог скрылся в своем домишке. Солнечный свет, взбаламученный его движением, вновь недвижно застыл на бетонированной площадке. Спустя несколько минут из коттеджа опять послышались звуки заунывной музыки.

Ларсен вернулся к конторке и тяжело опустился за нее, агрессивно расставив локти. Бейлис раздражал его — поведением, идиотской музыкой, неопределенными высказываниями о диагнозе. Ему захотелось забраться в машину и укатить на завод, невзирая на запрет Бейлиса, на то, что психолог выше по служебному положению и обладает определенной властью, пока Ларсен находится в оздоровительном центре, на то, что время, проведенное им здесь, оплачивается компанией.

Ларсен обвел глазами комнату: узкие горизонтальные полосы, прочерченные по стенам светом, пробивавшимся сквозь жалюзи на окнах, тихое и успокаивающее гудение кондиционера. Спор с Бейлисом подбодрил его, он чувствовал себя гораздо увереннее.

Он прибыл в Оздоровительный центр пять дней тому назад. В течение трех месяцев до этого он без отдыха отлаживал программу работы огромного мозгового симулятора, сооружаемого Электронной компанией по заказу одного из Психиатрических фондов. Это была гигантская модель центральной нервной системы человека, состоявшая из многих компьютеров, каждый из которых хранил в банке памяти информацию о той или иной функции мозга: сон, возбуждение, агрессивность и т. д. Встроенные в симулятор определенными блоками, они помогали моделировать по требованию различные стадии разрыва нервных связей при заболеваниях или любых психических отклонениях.

Коллектив, работавший над созданием симулятора, находился под наблюдением Бейлиса и его помощников. При одном из еженедельных осмотров у Ларсена была выявлена крайняя степень переутомления. Бейлис был вынужден отстранить его от работы и направить на отдых в Оздоровительный центр.

Ларсен обрадовался возможности переменить обстановку. Первые два дня он бродил между заброшенными коттеджами, любовался белыми песчаными холмами, ощущая блаженную тупость, оставшуюся после препаратов, прописанных ему Бейлисом. Каждое утро из соседнего городка приезжала смотрительница, которая прибирала в коттедже и доставляла продукты, но Ларсен ни разу не застал ее, ведь он ложился спать в восемь часов и просыпался в полдень. Ларсен не сожалел об этом — он был рад одиночеству и не хотел никого видеть до тех пор, пока не восстановится нормальный ритм его умственной активности.

Вот почему первый посторонний человек, встретившийся ему здесь, привел его в ужас, словно явившись из кошмарного сна. Ларсен до сих пор не может вспоминать эту встречу без содрогания.

На третий день пребывания в Оздоровительном центре Ларсен решил съездить в пустыню и осмотреть заброшенную кварцевую выработку в одном из каньонов. Поездка должна была занять не менее двух часов, поэтому Ларсен приготовил термос с охлажденным martini. Гараж примыкал к коттеджу со стороны кухни — он был оборудован дверью из гофрированного железа, которая поднималась вверх и откатывалась под крышу.

Ларсен закрыл дверь коттеджа на ключ, поднял дверь гаража и выкатил машину на бетонированную площадку. Вернувшись за термосом, оставленным на верстаке у задней стены, он заметил канистру с бензином, стоявшую в углу.

Некоторое время он помедлил у верстака в задумчивости, подсчитывая расстояние в милях, и на всякий случай решил забрать канистру с собой. Он отнес ее в машину и повернулся, чтобы закрыть гараж.

Дверь откатилась не до конца, застряла на уровне груди. Нажав на рукоятки, он пытался довести ее до низа, но дверь опустилась только на несколько дюймов. Чтобы придать ей большую инерцию, решил приподнять ее. Солнечный свет, отражавшийся от поверхности гофрированного железа, слепил глаза. Ларсен уперся ладонями и рывком приподнял дверь чуть выше глаз. Образовалась достаточно широкая щель, и Ларсен ненароком заглянул внутрь темного гаража.

Там, возле верстака у задней стены, он увидел скрытую в сумерках мужскую фигуру — смутно видимую, но, несомненно, реальную. На незнакомце был светло-кремовый костюм, покрытый пятнами тени, придававшими ему фрагментарный вид, аккуратная синяя тенниска и двухцветные туфли. Он стоял неподвижно, глядя сквозь Ларсена.

Держась обеими руками за дверь, Ларсен уставился на него дикими глазами. Как он мог попасть сюда? В гараже нет ни окон, ни другой двери. Ларсен хотел окликнуть человека, как вдруг тот шагнул вперед и вышел из тени. Ларсен в ужасе отпрянул. Темные пятна на костюме незнакомца были не тенями, но очертаниями верстака позади него.

Тело и одежда человека были прозрачными.

Подстегнутый страхом, Ларсен ухватился руками за дверь, с грохотом опустил ее до пола. Поспешно захлопнул задвижку и прижал дверь к полу руками и коленями. Его костюм пропитался потом, прерывистое дыхание с хрипом рвалось из груди, по спине от страха бежали мурашки.

Когда через полчаса Бейлис подъехал к Оздоровительному центру, Ларсен все еще держался за дверь.

Нервно побарабанив пальцами по столу, Ларсен прошел на кухню. Три таблетки амфитамина, нейтрализовавшие действие барбитуратов, привели его в возбуждение. Он включил кофеварку, тут же выключил ее, вернулся на дыпочках в гостиную и уселся на диван с книгой в руках.

Ларсен прочитал несколько страниц, чувствуя, как все больше его охватывает нетерпение. Какое отношение имеет «Анализ психотического времени» к его заболеванию — совершенно не ясно. Автор приводит в основном случаи глубокой шизофрении и необратимой паранойи. У него, Ларсена, куда более легкая форма расстройства — временное помрачение сознания на почве переутомления. Почему Бейлис, черт побери, все так усложняет?!

Ларсен отшвырнул книгу и взглянул через окно на пустыню. Гостиная внезапно показалась ему мрачной и темной, словно он, кроме всего прочего, страдает клаустрофо-

бий. Он направился к двери и вышел во двор, на свежий воздух.

Ларсен достиг края бетонированной площадки и обернулся. Коттеджи, выстроенные полукругом по периметру площадки, казалось, приникли к земле. Позади них вздымались огромные горы. Приближался вечер, и красный диск солнца повис над ними. Ларсен оглядел коттеджи; нигде не видно признаков движения. Лишь слабое эхо нестройной музыки из дома Бейлиса доносилось до его слуха. Вся эта картина показалась ему нереальной.

Задумавшись об этом, Ларсен почувствовал, как что-то сдвинулось в его мозгу. Ощущение было неопределенным, наподобие затухающего радиосигнала, как какое-то намерение, возникшее, но забытое. Он пытался вызвать в памяти воспоминание о том, выключил ли кофеварку, но так и не мог вспомнить.

Он вернулся к коттеджу, заметив по дороге, что оставил дверь на кухню открытой. Проходя мимо окна гостиной с намерением закрыть дверь, он заглянул в окно.

На диване, скрестив ноги и читая книгу, сидел мужчина. На миг Ларсену померещилось, что это Бейлис, и он прошел дальше, решив сварить кофе на двоих. Но тут же отметил, что из дома Бейлиса доносятся звуки музыки. Осторожно ступая на цыпочках, он вернулся к окну. Голова человека все еще склонялась над книгой, его лицо было скрыто от Ларсена, но даже беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться — это не Бейлис. На человеке был тот же кремовый костюм, те же двухцветные туфли, что и в прошлый раз. Но сейчас этот человек не был галлюцинацией. Руки и одежда у него были плотными и осязаемыми. Он переменял положение, опершись локтем на одну из диванных подушек, и перевернул страницу, перегнув корешок книги.

У Ларсена учащенно забилось сердце, он был вынужден опереться руками о подоконник — что-то в человеке: его поза, жесты, повадки, — убеждало, что он видел его прежде, до встречи в гараже.

Потом человек опустил книгу и швырнул ее на диван рядом с собой. Он откинулся на спинку дивана и посмотрел в окно, устремив взгляд мимо лица Ларсена.

Словно под воздействием гипноза, Ларсен в полной растерянности вытаращился на него. Он узнал это одутловатое лицо, встревоженные глаза, густые усики. Теперь, когда он отчетливо видел человека, он осознал, что знает его слишком хорошо, лучше всех остальных людей на свете.

Это был он сам.

Бейлис кинул шприц в медицинскую сумку. Лицо его приняло озабоченное выражение.

— Галлюцинация — совсем не подходящий для данного случая термин, — сказал он Ларсену, который растянулся

на диване в коттедже Бейлиса после успокоительного укола. — Не стоит употреблять его: образ, удержанный сетчаткой глаз, необыкновенной силы и продолжительности — вот что это такое, а не галлюцинация.

Ларсен, потягивая горячее виски, слабо махнул рукой. С полчаса тому назад он ворвался в дом Бейлиса, буквально ошалев от страха. Бейлис успокоил его, потом насильно сводил к окну его гостиной и убедил, что двойник исчез. Бейлиса ничуть не удивило сходство привидения с Ларсеном, отчего Ларсен пришел в бешенство не меньше, чем от самой галлюцинации. Какой еще сюрприз припас Бейлис?

— Удивляюсь, что вы не опознали его раньше, — заметил Бейлис, — тот же кремовый костюм, те же туфли и тенниска, не говоря уж о ваших усах.

Оправившись немного от шока, Ларсен уселся, пригладил ладонью одежду, смахнул пыль с туфель.

— Благодарю за разъяснение. Остается только объяснить — кто он такой?

Опустившись в одно из кресел, Бейлис всплеснул руками.

— Что вы хотите сказать этим — кто он? Да вы сами, конечно!

— Это мне известно, но откуда он взялся? Черт, я верно совсем спятил.

Бейлис щелкнул пальцами.

— Да нет же, соберитесь с духом. Это чисто функциональное расстройство вроде раздвоения зрения или амнезии. Если бы было что-нибудь более серьезное, я давно отправил бы вас на лечение в больницу. Возможно, так и следовало бы поступить, но я надеюсь вытащить вас из беды более простым способом.

Он извлек из кармана пиджака записную книжку.

— Давайте подумаем. Очевидны две основные вещи: во-первых, есть фантом, тут сомневаться не приходится, — он ваша точная копия. Затем, и это очень важно, он ваш современник, поскольку фантом таков, какой вы есть сейчас, ничуть не хуже и не лучше. Он не явился вам в образе эдакого героя — супермена или седого старца, дышащего на ладан. Просто он ваш фотографический двойник. Нажмите пальцем на глаз и чуть сместите в сторону глазное яблоко — и вы увидите моего двойника. Точно так же появляется и ваш двойник, с той только разницей, что раздвоение происходит не в пространстве, а во времени. Во-вторых, из вашего путаного описания я понял, что он не только ваш двойник, но и занят точно тем же, чем и вы занимались несколькими минутами ранее. Человек в гараже стоял у верстака там, где стояли вы, когда размышляли, брать ли с собой канистру. Человек, сидевший на диване, повторил в точности то, что делали вы пять минут назад: читал книгу. Он даже глянул в окно, как это сделали вы перед тем, как отправиться на прогулку.

Ларсен кивнул и отхлебнул виски.

— Так вы предполагаете, что мои галлюцинации — это своего рода запечатленный в мозгу стоп-кадр?

— Вот именно: поток образов, достигший зрительной доли мозга, есть не что иное, как диафильм. Какие-то образы откладываются в сознании, образуя части фильма бесконечной длительности. Обычно «обратные сцены» возникают преднамеренно, когда мы сознательно выбираем отдельные кадры из записки — например, сцены из детства, картину соседних улиц, стражившиеся в нашей памяти и т. д. — но стоит слегка повредить проектор, как ролик начинает периодически отмазываться назад и вы получаете наложение одного кадра на другой, как в вашем случае, когда вы увидели себя, сидящего на диване с книгой в руках.

Ларсен махнул рукой, сжимавшей стакан.

— Подождите-ка. Когда я сидел на диване, читая книгу, я не мог видеть себя со стороны, как не вижу себя в данный момент. Откуда могли появиться наложенные образы?

Бейлис отложил в сторону записную книжку.

— Не нужно принимать аналогию с роликом слишком буквально. Вы могли не видеть себя на диване, но ваше ощущение от пребывания там не менее сильно, чем визуальное впечатление. Оно определяется потоком осознанных пространственных и физических образов, образующих реальный запас данных. Требуется совсем небольшая фантазия, чтобы совместить свое ощущение «изнутри» со взглядом на себя со стороны. Чисто визуальные восприятия даже менее точны в этом отношении...

— А как вы объясните, что человек в гараже был прозрачен?

— Очень просто: тогда процесс только начинался, плотность образа была слабой. Образ, который вы видели сегодня, проявился четче. Я отменил прием барбитуратов нарочно, зная, что те стимуляторы, которые вы тайком принимаете, окажут более сильное воздействие, если их не подавлять.

Он подошел к Ларсену и плеснул в его стакан еще немного виски из графина.

— Но подумаем о будущем. В свете проблемы раздвоения личности представляет большой интерес новый взгляд на привидения и вообще на целый сонм сверхъестественных явлений: фантомов, ведьм, демонов, и т. д. — как на прототипов человеческой психики. Не являются ли они отражением на сетчатке глаза трансформированного образа самого наблюдателя, возникшего под влиянием страха, горя и религиозного экстаза? Примечательно то, что у большинства этих привидений весьма прозаический облик, особенно если мы сравним их с изысканными фантазиями знаменитых мистиков и романтиков. Вероятнее всего, туманный белый саван не что иное, как отражение ночных халатов самих наблюдателей. Да, интересная тема для размышления. Например, возьмем самое знаменитое привидение в литературе и подумаем о

том, насколько интереснее станет Гамлет, если мы примем призрак его убиенного отца за самого Гамлета.

— Будет вам, — нервно оборвал его Ларсен. — Скажите лучше, как все это поможет мне.

Бейлис, вышагивавший по комнате, как солдат в дозоре, внезапно остановился и устремил пристальный взгляд на Ларсена.

— Как раз к этому вопросу я собирался переходить Ваше функциональное нарушение психики можно лечить двумя методами. Традиционный метод — уложить вас в постель на год и более и накачивать транквилизаторами до тех пор, пока, возможно, не восстановятся психические связи. Дело долгое, требующее большого терпения и от вас и от всех окружающих. Альтернативный метод, честно говоря, еще не апробирован, но надеюсь, он сработает. Я говорил вам о привидениях, имея в виду следующий возможный эксперимент. Известны тысячи случаев преследования человека привидением и несколько других, когда человек преследовал привидение, но не было случаев, чтобы человек и привидение встретились по обоюдному желанию. Скажите-ка, что случилось бы, если бы вы, увидев своего двойника сегодня днем, вошли в гостиную и заговорили с ним?

Ларсен вздрогнул.

— Вероятно, ничего, если верна ваша теория. Но мне не хотелось бы подвергать ее проверке.

— Тем не менее, вам придется сделать это. Не ударяйтесь в панику. В следующий раз, когда вы увидите двойника в кресле, подойдите и заговорите с ним. Если он не ответит, садитесь в кресло сами. Больше ничего не надо делать.

Ларсен вскочил с дивана.

— Ради бога, Бейлис, вы в своем уме? Вы отдаете себе отчет в том, что значит увидеть самого себя? У вас возникает единственное желание убежать и скрыться с его глаз.

— Я прекрасно это понимаю. Но ничего худшего вы не могли бы придумать. Насколько мне известно, когда кто-то вступает в борьбу с привидением, оно тут же исчезает, разве не так? Насильственно заняв те же координаты, что и у двойника, вы совмещаете психический проектор в одном канале. Два различных потока образов на сетчатке сольются воедино. Попробуйте это, Ларсен. Возможно, с вашей стороны потребуются усилия, но игра стоит свеч — вы можете излечиться раз и навсегда.

Ларсен упрямо потряс головой.

— Это безумная идея. — А про себя добавил: «Я скорее пристрелю этого двойника». Ведь у него в чемодане лежит револьвер 30-го калибра. А обладание оружием всегда придает больше уверенности в своей безопасности, чем все советы и лекарства.

Полуприкрыв веки от усталости, Ларсен уже почти не слушал Бейлиса. Спустя полчаса он вернулся в свой коттедж,

вытащил револьвер и спрятал его в почтовый ящик у парадного входа под ворохом старых журналов. Носить его с собой было бы слишком вызывающе, к тому же тот мог случайно выстрелить и ранить его самого, а в почтовом ящике у входа револьвер был надежно спрятан, легко доступен в случае, если понадобится наказать любого двойника, вторгшегося в его жизнь.

Удобный случай для неожиданного мщения представился через два дня.

Бейлис уехал в город, поручив Ларсену готовить ужин на двоих. Ларсен притворился недовольным, но втайне был рад любому занятию. Ему до смерти наскучило без дела склоняться по коттеджу, словно он был подопытным животным.

Накрыв стол в кухоньке Бейлиса и приготовив побольше льда для мартини (алкоголь — самый верный антидепрессант, решил Ларсен), он вернулся в свой коттедж надеть свежую рубашку. Он решил также сменить костюм и туфли, поэтому вытащил из чемодана форменный пиджак и черные полуботинки, в которых прибыл сюда, в Оздоровительный центр. Разглядывая себя в зеркало, он решился пойти в перемене внешности еще дальше — включил электробритву и сбрил усы, затем зачесал волосы назад, плотно пригладив их на макушке.

Когда Бейлис вылез из машины и вошел в гостиную, он едва узнал Ларсена и отшатнулся при виде человека в синей униформе с гладко прилизанными волосами, появившегося на пороге кухни.

— Какого черта?! — рявкнул он на Ларсена. — Нашли время для розыгрыша. У вас вид, как у дешевого детектива.

Ларсен хмыкнул. Реакция Бейлиса позабавила его, а после нескольких мартини он и вовсе пришел в отличное настроение. В течение ужина он оживленно болтал. Странно, но Бейлис почему-то стремился поскорее избавиться от него. Ларсену это стало понятно, когда он вернулся к себе. У него участился пульс, он настороженно заглядывал в каждую комнату, чувствуя себя на взводе, ум был перевозбужден и сверхактивен. Такое самочувствие можно было лишь частично объяснить действием мартини. Теперь, когда опьянение стало проходить, Ларсен понял, что секрет его возбуждения кроется в стимуляторе, который этот чертов психолог, вероятно, подбавил ему в мартини, надеясь на новый кризис.

Ларсен стоял у окна, сердито вглядываясь в коттедж Бейлиса. Он нервно царапал ногтями по жалюзи. Внезапно ему захотелось разнести к чертям все это проклятое гнездо и убраться отсюда подальше. Этот коттедж со стенами из тонкой фанеры не что иное, как картонная психушка. Все, что здесь произошло — нервные срывы и кошмарные фантомы — было, вероятно, нарочно подстроено Бейлисом.

Возбуждение Ларсена непрерывно возрастало. Он сделал

безнадежную попытку расслабиться, пошел в спальню, пнул ногой свой чеходан, валявшийся на полу, закурил сразу две сигареты, не понимая, что делает. Наконец, не в состоянии сдерживать себя, вышел из дома, хлопнув изо всех сил дверью, и понесся через бетонированную площадку к дому Бейлиса, чтобы выяснить с ним отношения и потребовать успокоительного.

Гостиная была пуста. Заглянув в спальню и кухню, Ларсен убедился, что Бейлис принимает душ в ванной. Некоторое время он болтался в гостиной, потом решил дожидаться выхода Бейлиса из ванной у себя дома.

Наклонив голову, он быстро шагал через двор между коттеджами, и ему оставалось сделать еще несколько шагов, как вдруг он заметил, что в дверях стоит человек в синем костюме, наблюдая за ним.

Ларсен обмер и отпрянул назад, узнав двойника даже раньше, чем воспринял перемену в его одежде и увидел его гладко выбритые щеки и верхнюю губу без усов. Человек нерешительно топтался на пороге, сгибая и разгибая пальцы, и казалось, был готов ступить на солнечный свет.

Ларсен стоял в нескольких шагах от него, по прямой линии к двери в дом Бейлиса. Он попятился, забирая одновременно влево, в сторону гаража. Здесь он остановился и перевел дух, набираясь мужества. Двойник все еще нерешительно стоял в дверях, гораздо дольше, чем он сам, подумалось Ларсену. Он глянул ему в лицо, испытывая отвращение не столько от полного сходства образа с собой, сколько из-за странной, почти прозрачной одутловатости, придававшей щекам двойника восковую бледность трупа. Именно этот неприятный оттенок кожи удерживал Ларсена на месте — двойник находился на расстоянии вытянутой руки от почтового ящика с револьвером и ничто на свете не вынудило бы Ларсена приблизиться к нему.

Он решил зайти в коттедж и понаблюдать за двойником сзади. Вместо того, чтобы воспользоваться дверью в кухню, откуда легко можно было попасть в гостиную, он обогнул гараж, намереваясь проникнуть в спальню через окно — кухонная дверь была в пределах видимости фантома.

Он с трудом пробирался через кучи старой штукатурки и мотки проволоки за гаражом, как вдруг он услышал: — Ларсен, идиот, что вы там делаете?

Это окликнул его Бейлис, высунувшийся из окна своей ванной комнаты. Ларсен споткнулся, едва удержался на ногах и сердито махнул Бейлису рукой. Тот покачал головой и высунулся из окна еще дальше, вытирая полотенцем шею.

Жестом дав Бейлису понять, что все в порядке, Ларсен двинулся дальше. Он уже пробирался от гаража к ближнему углу коттеджа Бейлиса, как вдруг краем глаза заметил фигуру в синем костюме, стоявшую спиной к нему возле входа в гараж.

Двойник пошевелился! Забыв о Бейлисе, Ларсен застыл на месте и принялся осторожно наблюдать за двойником. Тот стоял в напряженной позе, в какой стоял Ларсен минут пять — а может быть, меньше — тому назад. Глаз его не было видно, однако взгляд был устремлен на дверь ларсеновского коттеджа. Инстинктивно Ларсен тоже взглянул в этом направлении. Там все еще стоял первый призрак, уставившись в пространство, залитое солнечным светом.

Теперь перед ним был не один, а сразу два двойника. Какое-то время Ларсен беспомощно глядел на двух фантомов, неподвижно стоявших по обеим сторонам бетонированной площадки. Вдруг фантом, стоявший спиной к нему, повернулся на пятке и быстро зашагал к Ларсену. Он смотрел на Ларсена невидящим взглядом, и Ларсен впервые увидел его лицо при солнечном свете, с ужасом признав полное сходство двойника с самим собой — такие же одутловатые щеки, родинка у правого крыла носа. Но больше всего его поразил страх на лице двойника, нервный изгиб губ, напряженность во всей позе и выражение крайней усталости.

С криком, застрявшим в горле, Ларсен повернулся и бросился бежать.

Он пришел в себя и остановился, когда очутился в пустыне, метрах в двухстах от бетонированного двора. Тяжело дыша, он опустился на одно колено за бровкой слежавшегося песчаника. Здесь Ларсен высунул голову из-за гряды. Пробираясь между мотков старой проволоки, первый шел по бетонированному двору между коттеджами. Не обращая на них внимания, Бейлис пытался распахнуть окно шире, чтобы взглянуть в сторону пустыни.

Стараясь успокоиться, Ларсен вытер потное лицо рукавом пиджака. Выходит, Бейлис был прав, хотя и не предполагал, что Ларсен может увидеть более одного фантома в ходе приступа. А случилось так, что воображение Ларсена породило сразу двух за последние пять минут, в самые критические моменты болезни. Размышляя, подождать ли ему исчезновения двойников, Ларсен вспомнил о револьвере в почтовом ящике. Каким бы неразумным ни было это решение, револьвер стал его единственной надеждой. С его помощью он проверит реальность своих двойников.

Гряда песчаника тянулась по диагонали к краю бетонированного двора. Пригнувшись, Ларсен начал потихоньку пробираться вдоль гряды, останавливаясь время от времени, чтобы оглядеть местность. Двойники все еще находились на прежнем месте, однако Бейлис уже захлопнул окно и исчез.

Ларсен достиг края бетонированной площадки, приподнятой на фут над плоскостью пустыни, и двигался вдоль ее края к резервуару для воды, где можно было бы занять удобный наблюдательный пункт. Чтобы подобраться к револьверу, он решил обогнуть заднюю стену коттеджа Бейлиса и оттуда незаметно подкрасться к дверям своего коттеджа.

Он уже хотел двинуться вперед, как вдруг что-то заставило его оглянуться через плечо.

Вдоль гряды, отпустив голову, с руками, болтающимися почти у земли, быстро двигалось в его сторону какое-то существо. Через каждые десять-пятнадцать ярдов оно останавливалось и смотрело через гряды на коттеджи. Взглянув ему в лицо, Бейлис — и страшное, Ларсен узнал в нем еще одно себе подобие.

— Ларсен! Ларсен!

Возле своего коттеджа стоял Бейлис, махая рукой куда-то в сторону пустыни. Ларсен взглянул на двойника, мчавшегося к нему не далее чем в тридцати шагах, вскочил и помчался в беспомощности к Бейлису, который остановил его, обхватив руками.

— Ларсен, что с вами? У вас снова приступ?

Ларсен указал пальцем на фигуры вокруг себя.

— Остановите их, Бейлис, ради бога! Я не могу спрятаться от них.

Бейлис грубо потряс его.

— Вы увидели больше одного? Где они, покажите их!

Ларсен ткнул пальцем в сторону ярко освещенных фигур, топтавшихся возле коттеджа, затем наугад махнул рукой в сторону пустыни.

— Вот там, у гаража и возле стены. А еще один прячется за грядой.

— Наберитесь мужества, парень. Вы должны встретиться с ними лицом к лицу. Убегать бесполезно. — Бейлис пытался тащить Ларсена за руку к гаражу; но Ларсен опустился на бетон.

— Не могу, Бейлис, поверьте мне. В почтовом ящике лежит револьвер. Достаньте его мне. Иного выхода я не вижу.

Бейлис поколебался, глядя сверху вниз на Ларсена.

— Ладно, попытаюсь достать его.

Ларсен кивнул на дальний угол коттеджа Бейлиса.

— Идите, я подожду вас там.

Как только Бейлис засеменил ко входу в его коттедж, Ларсен направился к углу дома. На полпути он споткнулся о стремянку, валявшуюся на земле. Схватившись за ногу, он уселся на бетон как раз в тот момент, когда из-за коттеджа показался Бейлис с револьвером в руках. Он стал озираться по сторонам в поисках Ларсена, которому пришлось откашляться, прежде чем окликнуть психолога. В этот самый миг из-за водяного бака выскочил двойник, преследовавший Ларсена вдоль песчаной гряды, и тут же подбежал к Бейлису. Волосы у него были взлохмачены, расстегнутый пиджак едва держался на плечах, узел галстука сбился на сторону и висел под ухом. Фантом, преследовавший Ларсена, держал его след, как хорошая собака.

Ларсен снова пытался позвать Бейлиса, но при виде того, что представилось его глазам, у него перехватило дыхание:

Бейлис увидел его двойника!

Ларсен поднялся с бетона, охваченный скверным предчувствием. Он хотел махнуть рукой Бейлису, но тот не сводил глаз с двойника, который указывал пальцем на фигуры в разных местах двора — Бейлис согласно кивал головой, прислушиваясь к его словам.

— Бейлис!

Выстрел заглушил его крик. Бейлис целился куда-то между двумя гаражами. Стоявший рядом двойник тыкал указательным пальцем в разные стороны. Бейлис поднял револьвер и выстрелил снова. Звук выстрела заметался над бетонной площадкой, ошеломив Ларсена до того, что у него к горлу подступила тошнота.

Ларсен пополз вдоль стены, пытаясь скрыться за углом коттеджа. В воздухе прогремел третий выстрел, вспышка от которого сверкнула в стеклах ванной комнаты.

Он уже почти дополз до угла, когда послышался окрик Бейлиса. Опершись рукой в стену, Ларсен обернулся. Раскрыв рот, Бейлис дикими глазами уставился на него, стискивая в руке револьвер, словно бомбу. Рядом с ним стояла фигура в синем костюме, поправляя сбившийся галстук. Наконец Бейлис сообразил, что видит перед собой два образа Ларсена — один рядом с собой, другой у стены коттеджа.

Откуда ему было знать, кто из них настоящий Ларсен?

Пристально уставившись на Ларсена, он, казалось, колебался, не зная, на что решиться.

Тогда двойник, что был рядом с ним, поднял руку и указал пальцем на Ларсена, стоявшего возле стены коттеджа, точно так, как он сам указывал минутой раньше.

Ларсен пытался крикнуть, потом кинулся к стене и распластался по ней, раскинув руки. Позади раздалась тяжелые шаги Бейлиса по бетону.

Он услышал только первый из трех выстрелов.

НИКТО ДРУГОЙ, КАК МИСТЕР Ф.

А с ребенком будет трое.

...Одиннадцать часов. Хэнсону уже давно следовало бы быть здесь.

— Элизабет!

Черт, почему она всегда так неторопливо двигается?

Неуклюже спустившись с подоконника, откуда он высматривал дорогу, Чарльз Фримен вприпрыжку вернулся к кровати, вскочил на нее и натянул на колени одеяло, тщательно разгладив его. Когда жена просунула голову в дверь, он простодушно улыбнулся ей, делая вид, что целиком занят журналом.

— Что-нибудь нужно? — спросила она, окидывая его проницательным взглядом. Она приблизилась к нему, легко неся

свое пышное тело, и принялась поправлять постель. Чарльз стал капризничать, отталкивая ее от себя, когда она хотела поднять его с подушки, на которой он сидел.

— Ради бога, Элизабет, я не ребенок! — протестующе захныкал он, стараясь не сорваться на фальцет. — Что случилось с Хэнсоном? Он должен был быть здесь уже полчаса назад.

Жена покачала головой и подошла к окну. Свободное платье скрывало ее фигуру, но когда она потянулась к задвижке на окне, легко можно было заметить увеличенный живот.

— Должно быть, он опоздал на поезд. — Одним движением руки она плотно закрыла задвижку, с которой Фримен провозился минут десять, прежде чем открыл.

— Мне послышалось, кто-то хлопнул окном, — сказала она с нажимом, — мы не хотим простудиться, правда, дорогой?

Поглядывая на часы, Фримен с нетерпением ждал, когда жена выйдет из комнаты, но она остановилась возле кровати, задумчиво рассматривая его, и он едва удержался, чтобы не заорать на нее.

— Я там перебираю детское приданое, — сказала она как бы про себя, — ну и подумала, что тебе нужен новый халат, старый уже пообносился.

Фримен запахнул полы халата, чтобы прикрыть свою голую грудь и показать, что он ему ничуть не велик.

— Элизабет, я его ношу уже несколько лет, и он еще вполне годится. У тебя какая-то мания менять вещи. — Он остановился, поняв бестактность своих слов: ему нужно гордиться, что жена в мыслях не отделяет его от долгожданного ребенка.

— Элизабет, прости, очень мило, что ты ухаживаешь за мной так заботливо. Может быть, нужно вызвать врача?

«Нет!» — твердо возражал внутренний голос.

Словно услышав его, жена отрицательно покачала головой:

— Ты скоро поправишься. Пусть сама природа помогает выздоровлению.

Чарльз прислушался к звуку ее шагов. Элизабет спускалась по лестнице. Через несколько минут из кухни донесся гул стиральной машины.

Фримен соскользнул с постели и вошел в ванную. У раковины стоял шкаф, плотно забитый детской одеждой, которую Элизабет тщательно выстирала и простерилизовала. Стопки аккуратно сложенных вещей на всех пяти полках были накрыты марлей. Большая часть белья была голубого цвета, некоторые распашонки — белого. Розовый цвет совершенно отсутствовал.

«Надеюсь, Элизабет не ошибается, — подумал Фримен. — Если родится мальчик, он наверняка будет обеспечен одеж-

дой лучше всех на свете, — чуть ли не вся промышленность работает на нас одних».

Он наклонился и вытащил из-под ванночки небольшие медицинские весы. Скинул халат и стал на площадку весов. В зеркале на дверце шкафа отразилось маленькое безволосое тельце с узкими плечами, тонкими бедрами и длинными, как у жеребенка, ногами.

Вчера было девяносто три фунта. Фримен отвел глаза от шкалы на весах и прислушался к гулу стиральной машины, дожидаясь, пока успокоится стрелка.

Восемьдесят шесть фунтов! За одни сутки он похудел почти на семь фунтов!

Чарльз Фримен поспешно вернулся к кровати, сел на нее и машинально потрогал пальцами верхнюю губу, пытаясь нащупать исчезнувшие усы.

Только два месяца назад его вес достигал более ста пятидесяти четырех фунтов.

От полученного результата у него голова пошла кругом. Потянулся за журналом, но листал страницы, не вникая в смысл.

А с ребенком будет трое.

Чарльз Фримен обратил внимание на то, что с ним творится, полтора месяца назад, вскоре после того, как подтвердилась беременность Элизабет.

Бреясь в ванной на следующее утро, он обнаружил, что усы у него поределели, стали мягкими и волнистыми. Волосы на подбородке также стали мягче и теперь поддавались легкому нажиму бритвы, оставлявшей после себя нежную и розовую кожу.

Фримен отнес эти признаки омоложения на счет ожидаемого появления ребенка. Ему стукнуло сорок, когда он женился на Элизабет, и Фримен полагал, что слишком стар для отцовства. Тем более, что между ним и Элизабет сложились отношения, похожие скорее на отношения матери и ребенка, чем супружеской пары. И теперь, когда ребенок действительно вошел в их жизнь, он не испытывал к нему никакой ревности. Поздравив себя, он решил, что вступил в новый период зрелости и может с легкой душой играть роль молодого отца.

Этим объяснялось исчезновение усов, пушок на щеках и юношеская упругость походки. Он весело напевал:

— Лиз и я — нас только двое,

А с ребенком будет трое.

Позади, в зеркале, Фримен видел Элизабет, распростершуюся на постели в глубоком сне. Он был доволен, видя, как жена отдыхает. Вопреки ожиданиям, она занималась им больше, чем будущим ребенком, не разрешая даже готовить себе завтрак. Зачесывая назад волосы, чтобы прикрыть лысину на макушке, он размышлял с усмешкой о том, что сказано в книгах по материнству про сверхчувствительность будущих отцов. Элизабет, видно, учла эти советы всерьез.

Будущий отец осторожно пробрался на цыпочках назад,

в спальню, и встал у открытого окна, наслаждаясь прохладой раннего утра. Достал из шкафа на кухне старую теннисную ракетку и, размахивая ею, разбил стекло настенного барометра, разбудив Элизабет.

На первых порах Фримен был в восторге от вернувшихся к нему силы и ловкости. Он катал Элизабет по реке на лодке, яростно работая веслами, переполненный радостью мускульных усилий, которой он не добрал в молодости, когда был целиком занят работой. Он ходил с Элизабет по магазинам, нагруженный кучей покупок для ребенка, осторожно ведя ее под руку сквозь толчею на тротуаре. Он шел гордо, развернув плечи и чувствуя себя на несколько вершков выше.

Но в это самое время он начал осознавать, что происходит с ним на самом деле.

Элизабет была крупной, по-своему привлекательной женщиной, с сильными плечами и широкими бедрами. Она привыкла ходить на высоких каблуках, но Фримен, коренастый мужчина среднего роста, не испытывал раньше от этого никакого неудобства. Когда же он обнаружил, что едва достает ей до плеча, то начал пристальнее приглядываться к себе.

Во время одного из очередных походов по магазинам (Элизабет всегда брала его с собой, предлагая ему высказать свое мнение по поводу покупок, словно ему самому предстояло носить крошечные распашонки и рубашечки), продавщица случайно обратилась к Элизабет как к его мамаше. И Фримен, потрясенный, обратил внимание на их явное несоответствие.

Когда вернулись, принялся бродить по дому, замечая, что кресла и книжные шкафы стали больше и массивнее. Пройдя в ванную, он впервые решил взвеситься; оказалось, что похудел на восемь килограммов.

Раздевшись на ночь, Фримен сделал еще одно любопытное открытие — Элизабет ушивала его куртки и брюки.

В течение последующих дней и кожа, и волосы, и вся мускулатура, казалось, начали постепенно изменяться — смягчился овал лица, челюсть стала уже, нос — менее массивным, щеки покрылись нежным пушком.

Рассматривая в зеркале рот, Фримен заметил, что металлические пломбы исчезли, вместо них на зубах появилась прочная белая эмаль.

Помолодевший, он продолжал ходить на службу, ловя на себе удивленные взгляды коллег. Но однажды, не сумев дотянуться до справочника, стоявшего на верхней полке шкафа за его столом, он остался дома, сославшись на грипп.

Элизабет, по-видимому, отнеслась к болезни мужа с полным пониманием. Фримен не открывал ей правду, опасаясь, что она из страха может выкинуть какую-нибудь глупость. Закутавшись в старый халат, с шарфом на шее и груди, делавшим его чуть посolidнее, он сидел на диване в гостиной, подложив под себя подушку, чтобы казаться немного выше.

Он старался не вставать с дивана, когда жена была в комнате. А если этого нельзя было избежать, держался за мебель, поднимаясь на цыпочки. Однако через неделю его но-

ги перестали доставать до пола под обеденным столом. Обед с того дня Элизабет подавала мужу прямо в спальню. Все это время она ласково и спокойно наблюдала за Фрименом, безмятежно готовясь к материнству.

Проклятый Хэнсон, думал Фримен, без четверти двенадцать, а он так и не появился.

Фримен листал журнал, не глядя в него, вместо этого по-минутно посматривал на свои ручные часы. Ремешок был теперь слишком велик и уже дважды приходилось протыкать в нем дополнительные отверстия.

Терзаясь сомнениями и страхом, он еще не решил, как расскажет Хэнсону о метаморфозе, произошедшей с ним. Конечно, он теряет в весе — до восьми-девяти фунтов ежедневно, и в росте — по несколько дюймов за день, но, в общем, это ведь никак не отражается на состоянии его здоровья. Он просто как бы вернулся к возрасту и телосложению четырнадцатилетнего мальчишки.

В самом деле, чем же объяснить все это? — спрашивал себя Фримен. Может быть, это омоложение вызвано какими-то нарушениями в психике? Как знать, хотя он не испытывает к ребенку враждебных чувств, но, может быть, подсознательно охвачен жадной мести?

Все же, наверное, лучше помолчать, чтобы избежать перспективы оказаться в обитой войлоком палате с охранниками в белых халатах. Лечащий врач Элизабет, грубая и бесчувственная скотина, тотчас же объявит Фримена неврастеником и симулянтom, замыслившим хитрый план занять место собственного ребенка. Кроме того, имелись и другие мотивы, смутно осознаваемые и неуловимые, признаться в которых он боялся даже самому себе. Чтобы отвлечься от мыслей, он снова принялся листать журнал.

Это оказался детский комикс. Просмотрел стопку других журналов, полученных от киоскера по заказу Элизабет. Они все были комиксами.

Теперь Фримен спал один в комнате, отведенной под детскую. Здесь можно и подумать без помех, и скрыть от жены свое усыхающее тело, как что-то постыдное и нелепое.

Вошла Элизабет, держа в руках подносик с чашкой теплого молока и двумя печеньями. Хотя Фримен терял в весе, у него был здоровый детский аппетит. Он взял печенье маленькими руками и с удовольствием сжевал его. Присев на кровать, Элизабет вытащила из кармана фартука рекламную брошюру.

— Хочу заказать детскую кроватку, дорогой, — не можешь ли ты выбрать какой-нибудь образец?

Фримен отмахнулся.

— Выбирай любую. Лишь бы она была прочной и высокой, чтобы он не мог легко выбираться из нее.

Жена кивнула, задумчиво посматривая на него. Всю вторую половину дня она гладила и прибиралась, складывая стопки белья на полки встроенных шкафов, дезинфицировала тазы и ведра.

Супруги заранее решили, что Элизабет будет рожать дома.

Двадцать семь килограммов!

Фримен открыл рот от удивления, увидев, что показывает стрелка весов. За прошедшие два дня он потерял около восьми килограммов и теперь избегал смотреться в зеркало, зная, что выглядит шестилетним ребенком с узкой грудью и цыплячьей шеей. Он с усилием продевал ослабевшие руки сквозь громадные рукава, а тяжелые полы халата волочились за ним, как шлейф.

Когда Элизабет вошла в комнату, неся завтрак, она прежде всего оглядела супруга критическим взглядом, потом поставила поднос и вышла на лестничную площадку. Вскоре она вернулась с маленькой тенниской и вельветовыми шортами.

— Не лучше ли тебе надеть все это, дорогой? — мягко спросила она. — В них гораздо удобнее.

Вместо ответа Фримен затряс головой — он теперь неохотно говорил, опасаясь выдать себя писклявым дискантом. Однако, когда жена вышла, скинул с себя тяжелый халат и облачился в принесенную одежду.

Подавляя в себе страхи и сомнения, он ломал голову над тем, как связаться с доктором, не спускаясь вниз к телефону. До сих пор Фримену удавалось скрывать от жены свое уродство, не вызывая подозрений, но теперь не оставалось никакой надежды — ведь он едва доставал Элизабет до талии. Заметь она однажды его на ногах, тут же упадет в обморок.

К счастью, Элизабет оставила его в покое. Правда, через некоторое время прибыл фургон с двумя грузчиками из универмага, доставившими синюю кровать и манеж для ребенка, но Фримен притворялся спящим, пока они не ушли. При всех своих переживаниях, он легко засыпал и, почувствовав усталость после завтрака, уснул на самом деле, а когда проснулся, увидел, что Элизабет управляет кроватью, покрывая голубое одеяло и подушечку целлофановой пленкой.

Под ней виднелись привязные ремни, пристегнутые к деревянным перилам кровати.

На утро следующего дня Фримен решил бежать. Его вес достиг двенадцати килограммов с небольшим, и одежда, которую Элизабет дала ему только накануне, была уже велика на три размера. Из зеркала в ванной на Фримена смотрел, широко раскрыв глаза, маленький мальчик, смутно напоминающий его детские фотографии.

После завтрака, когда Элизабет вышла в сад, он на цыпочках прокрался вниз. Из окна увидел, как жена открыла мусорный бак и сунула туда его рабочий костюм вместе с черными кожаными туфлями.

Фримен беспомощно потоптался на месте и удрал назад в свою комнату. Карабкаться по высоченным ступеням оказалось совсем не простым делом, и когда он наконец добрался до кровати, сил залезть на нее уже не хватило. Задыхаясь, мальчик припал к ней на несколько минут. Даже если он доберется до больницы, как убедить врачей в том, что случилось, без помощи Элизабет? Ведь только она и сможет подтвердить его слова?...

Хотя ум ведь еще оставался при нем. При помощи ка-

рандаша и бумаги Фримен докажет, что он взрослый мужчина, обладающий обширными познаниями в общественных проблемах, которые недоступны для понимания любого из вундеркиндов.

Первым делом ему надо добраться до больницы, а в случае неудачи — до любого полицейского участка. Да это и не составит труда — достаточно пройтись по соседнему проспекту, чтобы первый же постовой задержал малыша, гуляющего без родителей.

Он услышал, как Элизабет поднимается по лестнице, поскрипывая корзиной для белья. Фримен еще раз попытался вскарабкаться на кровать, но вместо этого ему удалось только стащить на пол простыни. Когда жена открыла дверь, малыш бежал вокруг кровати и спрятался за ней, упершись подбородком в матрас.

Элизабет остановилась на пороге, разглядывая его пухленькое личико. На минуту они встретились глазами. Сердце у Фримена бешено стучало: не может быть, чтоб она не понимала, что с ним происходит. Но благодушная Лиз только улыбнулась и прошла в ванную.

Используя тумбочку у кровати как опору, он залез на постель и лег, отвернувшись от двери. Спустя несколько минут Элизабет вернулась, нагнулась над ним, подоткнула одеяло и выскользнула из комнаты, плотно прикрыв дверь.

Остаток дня Чарльз Фримен провел, изыскивая способы побега, а с наступлением сумерек, как ни противился сну, заснул и спал крепко, без сновидений.

Проснулся он в большой белой комнате. Пятна голубого света прыгали и играли по стенам, образуя фигурки диких зверей. Оглядевшись, он понял, что все еще находится в детской. На нем была новая пижамка в горошек — неужели Элизабет передела его, пока он спал? Крошечный халатик лежал в ногах кровати, на полу — тапочки, Фримен сполз с постели и надел их, чувствуя себя на ногах неуверенно. Дверь была закрыта, но он подтащил к ней стул и, встав на него, повернул ручку своими маленькими ладонями.

На лестничной клетке он подождал, напряженно прислушиваясь. Элизабет была на кухне, напевая про себя. С трудом одолевая одну ступеньку за другой, Фримен спускался по лестнице, следя сквозь перила за женой. Она стояла у плиты, разогревая какую-то молочную смесь, и ее широкая спина почти полностью загоразивала плиту. Фримен подождал, пока Элизабет вернется к раковине, затем маленькими шажочками проследовал через прихожую на веранду, а оттуда — в сад.

Толстые подошвы войлочных тапочек приглушали шаги и как только Фримен оказался в тени деревьев садика, отделявшего дом от проспекта, он бросился бежать. Калитка не поддавалась его усилиям и не хотела открываться. А тут еще какая-то женщина остановилась снаружи и стала глазеть на него, пока он возился с тяжелым засовом, пытаясь открыть его, затем сердито взглянула на окна, словно собираясь позвать кого-нибудь из обитателей дома.

Фримен, внешне полуторагодовалый мальчонка, сделал вид, что бежит назад домой, от всей души надеясь, что Элизабет еще не обнаружила его исчезновения. Когда женщина двинулась дальше, он открыл калитку и торопливо направился к торговому центру.

Вокруг него был огромный мир. Двухэтажные здания возвышались, подобно склонам ущелья, конец улицы, в ста ярдах от него, скрывался за горизонтом, камни мостовой были массивными и неровными, вершины гигантских платанов упирались в небо. Огромный автомобиль с подфарниками меж колес поравнялся с ребенком, замедлил ход и промчался мимо.

До угла оставалось пройти еще пятьдесят ярдов, когда Фримен вдруг споткнулся о плиту на тротуаре и вынужден был остановиться — у него подкашивались ноги. Тяжело дыша, он прислонился к дереву.

Калитка сзади хлопнула, и через плечо Фримен увидел, как Элизабет выглянула на улицу, озираясь по сторонам. Он поспешно отступил за дерево, подождал, когда она вернется в дом, и отправился дальше.

Вдруг откуда-то с неба на него опустилась огромная рука и подняла в воздух. Задохнувшись от удивления, он очутился лицом к лицу с мистером Саймондсом, управляющим банка, где он работал.

— Рановато вышли погулять, молодой человек! — тот опустил Фримена на землю, однако крепко держал за руку. Рядом стоял автомобиль. Не заглушив мотора, бывший начальник повел Фримена назад по улице. — Ну-ка, посмотрим, где ты живешь.

Фримен пытался вырваться, яростно дергая руку, но Саймондс будто и не замечал его попыток. Элизабет в фартуке вышла из калитки и торопливо направилась им навстречу. Фримен хотел было спрятаться меж ног Саймондса, но почувствовал, как сильные руки управляющего банком подняли его и передали прямо в руки Элизабет. Она крепко обняла его, прижав голову к своему широкому плечу, поблагодарила Саймондса и понесла его домой. Фримен беспомощно висел у нее на руках, потеряв всякое желание жить.

Чарльз рассчитывал, что в детской Лиз посадит его на кровать и он сразу же нырнет под одеяло, но вместо этого Элизабет осторожно опустила его на пол, и он оказался в детском манеже. Покачиваясь, карапуз уцепился за перильца манежа, а Элизабет наклонилась над ним и поправила ему халатик. Когда жена повернулась и ушла, Чарльз почувствовал облегчение.

Целых пять минут Фримен стоял у перил в оцепенении, озаренный страшной догадкой: по какому-то странному извращению психики Элизабет уподобила его ребенку в своем чреве! Она не выразила никакого удивления при превращении мужа в годовалого ребенка, а восприняла это как нормальное явление, сопутствующее беременности. В ее представлении Чарльз воплотился в еще не родившегося ребенка. По мере того, как усыхало и уменьшалось его тело, пропор-

ционально росту ребенка внутри нее, своим внутренним взором она видела обоих в каком-то общем фокусе, слившем их в единый образ.

Занятый мыслями о побеге, Фримен вдруг обнаружил, что не может выбраться из манежика. Прочные деревянные перильца не поддавались усилиям его слабых детских рук, а приподнять все сооружение он не смог бы тем более. Утомившись, он уселся на пол, раздраженно вертя в руках большой разноцветный мяч.

Теперь он принял решение не избегать Элизабет, как раньше, а наоборот, привлечь к себе ее внимание, добиваясь, чтобы она признала в нем своего мужа. Поднявшись, он принялся энергично раскачивать манеж и топтать ногами.

Элизабет вышла из спальни.

— Ну, что за шум, милый? — спросила она с улыбкой. — Хочешь печенье? — Женщина опустилась на колени возле манежа так, что ее лицо оказалось рядом с лицом ребенка.

Собравшись с духом, он посмотрел на Элизабет, стараясь удержать взгляд ее больших немигающих глаз. Взял печенье у нее из рук, прокашлялся и сказал как можно членораздельнее:

— Я н ле-блонк.

Элизабет взъерошила его светлые волосики и рассмеялась.

— Не ребенок, милый? Вот как, ай-ай-ай!

Фримен сердито топнул ногой, скривил губы и закричал:

— Я н ле-блонк! Я той мус!

Продолжая смеяться, Элизабет стала опорожнять гардероб у кровати. Пока Чарльз, с трудом преодолевая стьжки согласных, убеждал ее, что он ее муж, странная супруга вытащила из шкафа смокинг и фрак, выгребла из комода рубашки и носки, завернула все это в простыни и унесла. Вернувшись в спальню, она убрала постель Фримена с кровати и передвинула ее в угол. На освободившееся место она поставила детскую кроватку.

Уцепившись за перила манежа, Фримен, ошеломленный, наблюдал, как исчезают последние следы его взрослой жизни.

— Лизбет, помози мне, я той мус!

Отчаявшись заставить ее понять себя, маленький Фримен стал лихорадочно искать на полу в манеже что-нибудь пригодное для письма. С большим трудом он придвинул манежик к стене и слюной написал на обоях крупными буквами:

ЭЛИЗАБЕТ, ПОМОГИ МНЕ! Я НЕ РЕБЕНОК!

Тарабания по двери кулачками, привлек к себе внимание Элизабет, но, когда указал на надпись на стене, буквы уже высохли. Заплакав от отчаяния, Чарльз проковылял к стене и начал выводить мокрым пальцем новое послание, но не успел начертить две-три буквы, как Элизабет взяла его под бока и вынула из манежа.

Во главе обеденного стола стоял один-единственный стул, а рядом с ним — новый стульчик на высоких ножках, куда Фримена и втиснули, повязав на шею большой слюнявчик

и совершенно не слушая его, хотя он продолжал что-то лопотать в попытке произнести внятную фразу. Во время обеда он пристально следил за выражением лица Элизабет, но не мог уловить на нем ни малейших признаков беспокойства. Фримен баловался с кашей, рисуя на подносе, где стояла чашка, аляповатые буквы своего послания, но когда он указывал Элизабет на них, она хлопала в ладоши, очевидно, в восторге от его успехов, и вытирала поднос. Измучившись, Фримен позволил отнести себя в спальню и уложить в кроватку под одеяльце, прижатое ремнями.

Время было его врагом. Теперь он большую часть дня спал. Выспавшись, он первые часы чувствовал себя бодрым, но энергия быстро истощалась, и после каждого кормления его охватывала сонная летаргия. Смутно он осознавал, что метаморфозы, происходящие с ним, продолжаются непрерывно. Как-то он проснулся и обнаружил, что сесть может лишь с большим трудом. Попытка подняться и стоять на подгибающихся ножках утомила его сразу же.

Способность членораздельной речи полностью покинула его — он мог только потешно гукать или невнятно лопотать. Лежа на спине с бутылочкой теплого молока во рту, он чувствовал, что единственная надежда его — Хэнсон. Когда-нибудь он появится и увидит, что Фримен исчез; а все следы его существования тщательно уничтожены.

Опираясь спиной о подушку, лежавшую на ковре в гостиной, он заметил, что Элизабет опорожнила ящики его стола, убрала все книги с полки у камина. По всей видимости, она теперь считала себя одинокой матерью годовалого сына, покинутой мужем после медового месяца.

В эту роль она вошла легко и естественно. Когда они следовали на прогулку по утрам, Фримен лежал в коляске, пристегнутый ремнями, а у его носа болтался целлулоидный зайчик, что больше всего выводило младенца из себя. По пути они встречали многих знакомых и те принимали Чарльза за сына Элизабет. Наклонившись над коляской и тыча ему в живот пальцами, они поздравляли Элизабет с таким крупным и развитым ребенком, а когда некоторые из них спрашивались о ее муже, Элизабет отвечала, что он уехал в длительную командировку. Очевидно, она уже выбросила прежнего Фримена из ума и сердца, забыв о его существовании.

Насколько тщетны его надежды на Хэнсона, Чарльз Фримен понял только во время их последней, как оказалось, прогулки.

Когда они уже возвращались и были недалеко от дома, Элизабет кто-то окликнул издали и, пока Фримен вспоминал, кому принадлежит этот знакомый голос, Элизабет нагнулась и закрыла верх коляски. Фримен вертел головой, пока наконец не увидел высокую фигуру Хэнсона, возвышающегося над коляской как башня. Он стоял перед Элизабет, сняв шляпу.

— Миссис Фримен, я всю неделю пытался дозвониться до вас. Как поживаете?

— Спасибо, хорошо, мистер Хэнсон. — Она рывком отка-

тила коляску за спину, чтобы загородить ее собой. Чарльз Фримен заметил, что она смутилась: — Бойсь, у нас телефон испорчен.

Хэнсон обогнул коляску, с интересом глядя на Элизабет.

— А что случилось с Чарльзом в субботу? Уехал по делам?

Элизабет кивнула:

— Он очень извинялся, но подвернулось что-то спешное по службе. Будет в отъезде еще некоторое время.

Она знала, отметил про себя Фримен механически. Хэнсон заглянул в колясочку.

— Гуляем, малыши? Умница! — И в сторону Элизабет: — Отличный ребенок. Я люблю таких сердитых и серьезных малышей. Соседский?

Элизабет покачала головой:

— Нет, сын приятеля Чарли. Нам нужно идти, мистер Хэнсон.

— Называйте меня Робергом. Скоро увидимся, не возражаете?

Элизабет, успокоенная, слегка улыбнулась.

— Наверняка увидимся, Роберт.

— Всего хорошего! — Хэнсон зашагал прочь с лукавой улыбкой на губах.

Она знала!

Измученный, Фримен стянул с себя ногами одеяло, чтобы увидеть удаляющуюся фигуру Хэнсона. Один раз он обернулся, махнув Элизабет рукой, которая помахала ему в ответ и повернула к калитке.

Фримен попытался сесть, сердито глядя в лицо Элизабет, надеясь, что та заметит его гнев, но женщина быстро и невостуживо катила коляску по дороге, затем остановилась, расстегнула ремни и взяла его на руки.

Когда поднимались по лестнице, Чарльз глянул через плечо бывшей жены на телефон и заметил, что трубка снята с рычажка аппарата. Знала она, все время знала, что с ним происходит, и только притворялась, что не замечает ничего особенного. Все предусмотрела: полный комплект одежды для всех возрастов был приобретен и кроватка с манежем были заказаны не для будущего ребенка, а для него...

Фримен начал сомневаться в том, была ли она вообще беременна. Ведь располневшая фигура еще ни о чем не говорила. Когда Лиз сказала ему, что ожидает ребенка, Чарльзу и во сне бы не приснилось, что на самом деле она имеет в виду его.

Элизабет небрежно затолкала малыша под одеяло и привязала к постели ремнями. Спустившись вниз, она поворотно передвигалась по дому, очевидно, готовясь к какому-то важному событию, не терпящему отлагательства: спешно, против обыкновения; закрывала окна и двери. Фримен почувствовал холод, несмотря на то, что был закутан шальями. Гнев, досада и страх сменились сонным оцепенением. Яркий свет утомлял зрение, и как только Чарльз закрыл

глаза, он сразу же погрузился в мутные воды сна, крича каждой клеточкой своего существа об облегчении.

Чуть позже Элизабет сняла с ребенка одеяло, взяла на руки и понесла через прихожую: и пока они шли, мистера Фримена покинуло ощущение своей личности, память о доме... Беспомощным клубочком он прижался к телу своей новой матери, опустившейся на широкую кровать. Скрытый в подсознании, яркий и красочный мир младенчества явился ему вновь, и новорожденный даже вскрикнул от радости и изумления, прежде чем наступил конец.

Когда ребенок внутри успокоился, пошевелившись в последний раз, Элизабет откинулась на подушки, чувствуя, как боль постепенно отступает. Силы медленно возвращались по мере того, как целая вселенная постепенно сжималась в ней и успокаивалась...

Через три дня Элизабет поднялась с постели совершенно здоровой, скрыв под свободной сорочкой все последствия беременности, и сразу же принялась за работу.

Еще через пару дней все следы пребывания в доме Чарльза Фримена были уничтожены, даже его любимые цветные репродукции были сорваны со стен, а пустая кровать опять поставлена в центре спальни.

Единственным, что осталось у нее от мужа и ребенка, был небольшой комочек внутри, маленький, вцепившийся в нее кулачок. Когда Элизабет перестала его ощущать, она сняла обручальное кольцо и положила его в специальную шкатулку.

Возвращаясь из магазина на другое утро, Элизабет увидела, как кто-то машет ей из машины, стоящей у тротуара.

— Миссис Фримен! — Хэнсон выскочил из машины и тепло поздоровался с ней. — Как приятно видеть вас в добром здравии.

Элизабет подарила ему сердечную улыбку, припухлость миловидного лица придавала ей еще больше привлекательности. На ней было цветастое шелковое платье.

— Где Чарльз? — спросил Хэнсон. — Еще не приехал?

Элизабет улыбнулась еще шире, обнажая крупные белые зубы. Лицо ее было странно неподвижным, а глаза устремились к далекому горизонту позади Хэнсона.

Хэнсон недолго ждал ответа. Словно поняв какой-то намек, он откинулся на сиденье и выключил мотор. Затем подошел к Элизабет и толкнул калитку.

Так Элизабет нашла себе мужа. Спустя три часа метаморфозы Чарльза Фримена пришли к своему завершению. В эту последнюю секунду он приблизился к своему истинному началу, когда момент зачатия совпал с моментом его кончины, а его новое зарождение положило начало его первой смерти.

Перевод с английского В. ТОМИЛОВА.

На обложке рисунок **Сергея ПАКА**

Технический редактор **Елена РОМАН**

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию ИПК «Шарк» по адресу: 700000, Ташкент, ул. Буюк Турон, 41.

Адрес редакции: 700000, Ташкент, ГСП, ул. Буюк Турон, 41.
Телефоны: главного редактора и отв. секретаря — 33-42-68; отделов: прозы, поэзии, публицистики, литературной критики — 33-07-78.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Перепечатка без соглашения с редакцией не допускается, ссылка на «ЗВ» обязательна.

Сдано в набор 20.05.94 г. Подписано к печати 21.06.94 г. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага газетная. Офсетная печать. Усл. п. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 11,76. Уч.-изд. л. 15,75. Тираж 14821. Зак. № 2819. Цена договорная.

**Типография издательско-полиграфического концерна «Шарк»,
700083, Ташкент, ул. Буюк Турон, 41.**